

ШАРЛОТТА БРОНТЕ



УЧИТЕЛЬ



КАМЕРУН
ТЕКСТ

Annotation

Шарлотта Бронте (1816–1855) — классик английской литературы XIX века, автор известных всему миру произведений «Джейн Эйр», «Шерли», «Городок», которые вот уже более полутора столетий неизменно пользуются читательской симпатией. Роман «Учитель» — первый литературный опыт Ш. Бронте. Как и во многих других ее работах, в нем легко угадывается биография самой писательницы.

- [Шарлотта Бронте](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ГЛАВА VII](#)
 - [ГЛАВА VIII](#)
 - [ГЛАВА IX](#)
 - [ГЛАВА X](#)
 - [ГЛАВА XI](#)
 - [ГЛАВА XII](#)
 - [ГЛАВА XIII](#)
 - [ГЛАВА XIV](#)
 - [ГЛАВА XV](#)
 - [ГЛАВА XVI](#)
 - [ГЛАВА XVII](#)
 - [ГЛАВА XVIII](#)
 - [ГЛАВА XIX](#)
 - [ГЛАВА XX](#)
 - [ГЛАВА XXI](#)
 - [ГЛАВА XXII](#)
 - [ГЛАВА XXIII](#)
 - [ГЛАВА XXIV](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)

- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)

- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [comments](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)

- [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
-

Шарлотта Бронте
УЧИТЕЛЬ
Роман

ГЛАВА I

Разбирая на днях свои бумаги, я обнаружил в конторке черновик письма, год назад отправленного моему школьному приятелю:

«Любезный Чарлз, помнится, в бытность нашу в Итоне всеобщим расположением ни ты, ни я не пользовались; ты неизменно отличался редкой проницательностью и хладнокровием, цепким умом и извечным сарказмом; себя изобразить не буду и пытаюсь, во всяком случае, не припомню, чтобы персона моя была в Итоне особо популярной. Каким магнетизмом притянуло нас друг к другу — не знаю; я, определенно, никогда не питал к тебе тех чувств, что Пилад к Оресту, и уверен, что ты в отношении меня тоже далек был от чрезмерной чувствительности. Впрочем, это ничуть не мешало нам с тобой после занятий подолгу прогуливаться вдвоем и беседовать; во мнениях о школьных товарищах и учителях мы, как правило, были единомышленны; когда же я, случалось, пускался в сантименты, выказывая восторг к чему-либо изысканному, прекрасному — не важно, одушевленному или нет, — твоя сардоническая холодность в ответ нисколько меня не трогала. Я ощущал себя выше этого — как, впрочем, и теперь.

Долго я не писал тебе, не видел же тебя еще дольше. Но вот недавно в руки мне попала газета вашего графства, и тут же я наткнулся на твое имя. Я пустился вспоминать былое; все произошедшее с той поры, как мы расстались, пронеслось передо мной — и я сел и взялся писать это письмо. В какой мере ты сейчас занят, не знаю, но ежели изволишь уделить мне некоторое время, то узнаешь в подробностях, как обстоят мои дела.

Начну с того, как по окончании Итона я встретился с дядюшками по материнской линии — лордом Тайнделлом и достопочтенным Джоном Сикомбом. Меня спросили, намерен ли я принять духовный сан, и мой дядя-лорд тут же предложил мне курируемый им сикомбский приход (если, конечно, я изъявлю согласие сделаться духовником); другой же мой дядя, мистер Сикомб намекнул, что, когда я приму сей приход, мне позволено будет заполучить в качестве хозяйки дома и первой леди прихода одну из шести моих

кузин, его дочерей (которые, признаться, все как одна внушают мне великую неприязнь).

Я отказался и от сана, и от брака. Хороший священник — дело хорошее, вот только из меня он определенно выйдет прескверный. Что же насчет жены... О, одна мысль, что я навеки привяжусь себя к одной из этих кузин, — сущий кошмар! Конечно, они миловидны и недурно воспитаны; однако их обаяние и прочие достоинства не задевают в моем сердце ни единой струны. Представить только, что долгие зимние вечера я буду просиживать в сикомбском приходе, в гостиной у камелька, один на один с какой-нибудь из них — например, с большой и мастерски изваянной статуей, с Сарой... Нет, плохим я буду мужем, да и священником, при таких-то обстоятельствах, тоже.

Когда я отверг предложения дядюшек, они поинтересовались, чем же тогда я намерен заняться. Я отвечал, что еще поразмыслю. Тогда мне напомнили, что я не имею ни состояния, ни каких-либо видов на наследство, и, выдержав многозначительную паузу, лорд Тайнделл сурово спросил, не собираюсь ли я пуститься по отцовским стопам и сделаться коммерсантом. Разумеется, ни о чем подобном я не помышлял. Вряд ли при моем характере и образе мыслей из меня мог выйти дельный коммерсант; мои вкусы, воззрения, мои пристрастия совершенно не сочетаются с этим поприщем. Но в том, как лорд Тайнделл выговорил слово „коммерсант“, звучало такое презрение, столько высокомерного сарказма было в его тоне — что я тотчас решил. Да, отец оставил мне одно только имя — однако я не выношу, когда это имя произносят с пренебрежением. С горячей поспешностью я отвечал, что „да, я не вижу для себя ничего лучшего, как двинуться по отцовской стезе, что я займусь коммерцией“.

Дядюшки не стали мне ничего возражать, и мы простились, уже испытывая друг к другу глубокое отвращение.

Вспоминая теперь ту встречу, я нахожу, что поступил совершенно правильно, сбросив с себя бремя тайнделловской опеки; однако в то же время я глупо подставил свои плечи под не меньшую тяжесть, которой, конечно, прежде никогда не подымал.

Я немедленно написал Эдварду — ты, кажется, знаешь Эдварда, — единственному моему брату, который старше меня на десять лет. Тот женился на дочери весьма состоятельного

фабриканта, теперь имеет свое предприятие и занимается тем же, чем занимался и отец, пока не прогорел. Кстати сказать, отец, слывший в округе Крезом, незадолго до кончины лишился всего состояния, и моя мать шесть месяцев по его смерти жила в непрестанной нужде, не получая никакой помощи от своих братьев-аристократов, которых она смертельно оскорбила, сочетавшись с Кримсвортом, ***ширским фабрикантом. По истечении этих шести тяжелых месяцев она произвела меня на свет, сама же его покинула, причем, полагаю, без особого сожаления, ибо могла надеяться на какое-то успокоение в том мире.

Родственники отца взяли на попечение как Эдварда, так и меня, и пеклись обо мне девять лет. К тому времени случилось, что место представителя одного значительного городка нашего графства оказалось вакантным, и мистер Сикомб выставил свою кандидатуру. Кримсворт, мой дядя, человек расчетливый и хитрый, воспользовался удобным случаем и написал кандидату довольно свирепое письмо, где предупреждал его, что, если мистер Сикомб и лорд Тайнделл откажутся как-либо вспомоществовать детям своей покойной сестры, он предаст огласке их жестокосердное отношение к вышеупомянутой сестре и сделает все возможное, чтобы воспрепятствовать избранию мистера Сикомба. Мистер Сикомб и лорд Тайнделл прекрасно знали, что Кримсворты из той породы людей, представители которой в намерениях своих непреклонны, а в средствах не слишком щепетильны; знали они также, что Кримсворты имеют немалое влияние в городке К***; посему, делая из нужды добродетель, они согласились взять на себя расходы по моему обучению. Меня отправили в Итон, где пробыл я десять лет, и за все это время мы с Эдвардом ни разу не виделись. Он, повзрослев, занялся коммерцией, и, поскольку помимо призвания у него было в то время больше усердия и ловкости, больше удачи, нежели теперь, на тридцатом году, он довольно быстро преуспел. О его делах я узнавал из редких, скудных посланий, которые Эдвард отписывал мне три-четыре раза в год; письма эти неизменно заканчивались выражением неиссякаемой враждебности к дому Сикомбов; щедроты же их, как утверждал Эдвард, — позор для меня на всю жизнь. Поначалу, будучи еще ребенком, я все не мог понять, почему, росший без родителей, я должен чувствовать себя должником перед дядюшками Тайнделлом и

Сикомбом за свое обучение; когда же я подрос и узнал мало-помалу, какая жестокая неприязнь, какая смертельная ненависть стояла между ними и моими родителями, когда узнал обо всех неудачах, постигших наш дом, — вот тогда я устыдился той зависимости, в которой жил все это время, и решил никогда более не принимать никакой помощи из рук, отказавших в куске хлеба моей умирающей матери. Именно под влиянием этих чувств я и отказался от сикомбского прихода и от женитьбы на одной из кузин-аристократок.

Таким вот образом порвав окончательно с дядюшками, я написал Эдварду, изложил все произошедшее и сообщил о своем намерении избрать то же, что и он, поприще. Кроме того, я спросил в письме, не сможет ли он дать мне какую-либо работу. В ответе Эдварда никакого одобрения моим действиям не выражалось, однако он писал, что если я желаю, то могу приехать в ***шир, и он „посмотрит, что можно предпринять, дабы обеспечить меня работой“. Я подавил в себе внутренний протест, заглушил возмущенный этим посланием внутренний голос, сложил чемодан и саквояж и двинулся на север.

Двое суток проведя в пути (железных дорог тогда ведь еще не было), в один дождливый октябрьский день я прибыл в К***. Прежде я считал, что Эдвард живет в этом городе, однако, порасспросив людей, выяснил, что здесь только фабрика мистера Кримсворта, а также огромные склады, видневшиеся сквозь туман на окраине города, в Бигбен-Клоузе; резиденция же мистера Кримсворта была в четырех милях за городом.

Уже поздно вечером я выбрался из дилижанса близ поместья моего брата. Перейдя дорогу, я увидел сквозь сумеречные тени огромный дом за воротами, окруженный обширным участком земли. Я задержался на лужайке напротив и, прислонясь спиной к дереву, раскинувшемуся в самом ее центре, с интересом взгляделся в Кримсворт-Холл.

„Эдвард весьма богат, — сказал я себе. — Я знал, что он процветает, но не подозревал даже, что у него такой гигантский особняк“.

Постояв так в раздумьях некоторое время, я прошел через калитку, приблизился к парадной двери и позвонил.

Открыл мне слуга; я назвал свое имя, после чего тот принял мой чемодан и мокрый плащ и проводил в библиотеку с пылающим камином и зажженными свечами на столе; слуга сообщил, что хозяин еще не вернулся из К***, но в течение получаса непременно будет.

Предоставленный самому себе, я устроился у камина в мягком кресле с красной сафьяновой обивкой и, глядя, как мечутся над раскаленными угольями языки пламени, как просыпается сквозь колосник зола, пытался вообразить предстоящее свидание. В предположениях моих одно было несомненно: жестокое разочарование мне определенно не грозило; скромность моих надежд мне это гарантировала. Я не предвкушал бурных изъявлений братской нежности: все письма Эдварда были точно специально написаны так, чтобы во мне не зародилось никаких иллюзий на этот счет. Тем не менее, пока я сидел в ожидании его прибытия, нетерпение мое все усиливалось; не знаю почему, рука моя, столь непривычная к рукопожатиям родственников, сжалась в кулак, чтобы унять дрожь волнения.

Вспомнив о Тайнделле и Сикомбе, я заключил, что безразличие ко мне Эдварда будет, пожалуй, сравнимо с оказываемым ими холодным пренебрежением. Тут я услышал, как открыли ворота и к дому подкатил экипаж. Итак, мистер Кримсворт прибыл; небольшая заминка, краткий разговор в холле — и шаги его послышались у двери в библиотеку — шаги, возвещавшие о появлении богатого и преуспевающего хозяина дома.

Я смутно помнил, каким был Эдвард десять лет назад — высоким, худощавым, не вполне оформившимся юношей, — теперь же, поднявшись с кресла и оборотясь к двери, я увидел светловолосого человека атлетического сложения, с красивым властным лицом: в каждом его движении, в осанке, в глазах, в выражении лица сквозили практичность и расчетливость. Эдвард коротко приветствовал меня и, пожимая руку, смерил взглядом; затем он опустился в сафьянное кресло и указал, куда мне сесть.

— Я ожидал вас у себя в конторе, — сказал он; голос его был резковат; кроме того, говорил Эдвард с гортанным северным акцентом, не радовавшим мой слух, привыкший к серебристому говору юга.

— Я справился о вас в гостинице, и хозяин направил меня сюда, — сказал я. — Признаться, я поначалу усомнился в его словах, не зная, что у вас за городом такая резиденция.

— Все это хорошо, — ответил он, — только я полчаса потратил, вас ожидая. Я полагал, вы будете с восьмичасовым дилижансом.

Я выразил сожаление, что ему пришлось ждать; Эдвард ничего не ответил, вместо этого, явно чтобы скрыть раздражение, помешал в камине, затем он снова оглядел меня.

Я рад был, что в первый момент нашей встречи не проявил ни восторженности, ни особой теплоты, что встретил этого человека с холодным, невозмутимым равнодушием.

— Вы совершенно порвали с Тайнделлом и Сикомбом? — спросил он раздраженно.

— Едва ли у нас с ними будет еще какая-либо связь; надо думать, мой отказ от всего ими предложенного исключает возможность дальнейшего общения.

— Хочу предупредить вас с самого начала, — сказал Эдвард, — на двух господ, как говорится, не послужишь. Любые контакты с лордом Тайнделлом исключают содействие с моей стороны. — Высказав это, Эдвард взглянул на меня с неожиданной и, казалось, ничем не вызванной угрозой.

Не чувствуя в себе ни малейшего желания ему возразить, я утешился мыслью о том, сколь по-разному устроены людские умы. Не знаю уж, что заключил мистер Кримсворт из моего молчания — принял его за проявление упрямства или же решил, что запугал меня своей властью и непреклонностью.

Опустив на меня долгий, тяжелый взгляд, Эдвард резко поднялся с кресла.

— Завтра, — сказал он, — мы обсудим с вами прочие вопросы; теперь же время ужинать, миссис Кримсворт, наверно, меня заждалась. Вы соблаговолите пройти?

И он размашистым шагом вышел из библиотеки; я проследовал за ним. Идя через холл, я попытался представить миссис Кримсворт. „Из того ли она разряда людей, что Тайнделл, Сикомб и его дочери, или этот вот любящий родственник, вышагивающий впереди? Может, она окажется выше их? Может, в ней я найду родственную душу и смогу раскрыть истинную мою сущность; или, может

статься...” Тут размышления мои были прерваны: я вошел в столовую.

Светильник под матовым стеклянным колпаком освещал уютную, обшитую дубом комнату. Ужин уже подали. У камина, явно в ожидании нашего прихода, стояла молодая женщина, высокая и недурно сложенная, облаченная в красивое, модного покроя платье, — все это я отметил, едва вошел. Встретились они с мистером Кримсвортом весело и оживленно; при этом миссис Кримсворт полуигрово, полуобиженно поборнила его за опоздание; голос ее (а для меня голос всегда немаловажен, когда я сужу о чьем-либо характере) — голос ее был живой и звонкий, указывал он, как я тогда заключил, на легкость и жизнерадостность обладателя. Мистер Кримсворт умерил ее наигранный гнев поцелуем — поцелуем первой поры супружества (семейной их жизни не было еще и года), — и миссис Кримсворт уселась за стол в превосходном расположении духа.

Обнаружив наконец мое присутствие, она извинилась, что не заметила меня прежде, и пожала мне руку с тою радостной порывистостью, каковую юные леди в минуты душевного подъема проявляют ко всем, даже к самым безразличным к их расположению. Я отметил про себя, что стан ее и впрямь красив, черты лица излишне крупны, однако приятны; волосы же ее были рыжие — совершенно рыжие. Супруги Кримсворт болтали без умолку, и все в том же игривом духе; она сердилась (вернее, изображала рассерженность) на то, что он велел заложить в кабриолет норовистого коня, чем заставил ее немало поволноваться; время от времени миссис Кримсворт обращалась ко мне:

— Не правда ли, Уильям, это просто нелепо. Эдвард утверждает, что будет запрягать только Джекки, а не другую лошадь, при том что это чудовище уже дважды опрокинуло его экипаж.

Говорила она с легкой шепелявостью (впрочем, не раздражающею слух), по-детски. В лице ее, с отнюдь не детскими чертами, также было нечто младенчески наивное; эта шепелеватость и детские гримаски были, без сомнения, очаровательны в глазах Эдварда, да и многим мужчинам показались бы довольно милыми — только не мне. Я ловил ее взгляд, надеясь обнаружить в глазах этой женщины ум, которого не ощущалось в чертах и в речи; взгляд был весел и быстр, в

его переменчивости мелькали оживленность, тщеславие, кокетство — но тщетно искал я хоть просвета ее души. Признаться, я не особый ценитель восточных прелестей; белоснежная кожа, карминные губы и нежный румянец, гроздь блестящих локонов — ничто для меня, если при этом нет прометеевой искры, что будет жить, когда розы и лилии увянут, а вместо блеска в волосах останется лишь пепел седины. Когда солнце и удача улыбаются, хорошо распускаться и цвести; но сколько в жизни дождливых дней, дней ноябрьской тоски, когда в доме и в сердце человеческом холодеет без чистого, живого блеска души и ума.

Итак, взглядевшись в пустую страницу лица миссис Кримсворт, я, разочарованный, невольно вздохнул; она же, надо полагать, приняла это как дань своей красоте, и Эдвард, который, очевидно, гордился богатой и миловидной избранницей, метнул в меня насмешливо-сердитый взгляд.

Я отвернулся от них и скучающе обвел взглядом столовую. На стене по обе стороны от камина я увидел по картине. Оставив мистера и миссис Кримсворт поддразнивать друг друга в их веселой беседе, я целиком сосредоточился на портретах. Изображенные на них леди и джентльмен одеты были по моде где-то двадцатилетней давности. Портрет джентльмена был затенен, и я не мог хорошо его рассмотреть. Леди же в смысле освещения имела преимущество за счет чуть приглушенного абажуром светильника. Я тотчас узнал ее, ибо видел эту картину еще в детстве; на ней написана была моя матушка. Эта и вторая картина составляли фамильные наши ценности, которые единственные удалось спасти, когда все отцовское имущество пошло с молотка.

В детстве я, помнится, любовался этим лицом, потом не понимал его красоты; теперь же я знал, как редко встречается такой тип лица, и только сейчас сумел понять и оценить его задумчивую прелесть и душевность. Столько очарования и неподдельной нежности было в этих серьезных серых глазах, в светлых и выразительных чертах... Я пожалел, что передо мной всего лишь картина.

Довольно скоро я оставил мистера и миссис Кримсворт, и слуга проводил меня в отведенную мне комнату; вот тогда, затворив дверь, я тем самым разом затворился от всех, уйдя в себя и надолго

отдалившись от какого бы то ни было общества — и от твоего, Чарлз, в том числе.

На сем пока прощаюсь, Уильям Кримсворт».

Ответа на свое письмо я не получил; приятель мой, как выяснил я позже, получил назначение в одну из колоний и уже отправился к месту своей службы. Что случилось с ним после, даже и не знаю. Ту историю, что я собирался изложить в частной переписке, теперь посвящаю аудитории более широкой. Тех читателей, что подвизались на том же поприще, что и я, она непременно заинтересует, и мои наблюдения они найдут созвучными своему опыту. Письмо же, приведенное выше, послужит вступлением к моему повествованию. Теперь продолжаю...

ГЛАВА II

Первый встреченный мною день в Кримсворт-Холле выдался ясным. Спозаранку я был уже на ногах и прогуливался близ дома. Осеннее солнце поднялось над ***ширскими холмами, высветив радующую взор картину; по-осеннему буроватые рощицы и колки разнообразили сжатые поля; река, скользящая меж рощами, отражала холодное октябрьское солнце и небо; местами по берегам ее, точно стройные башни, высились трубы полускрытых деревьями фабрик; там и сям, словно облюбовав получше местечки на склонах холмов, расположились строения вроде Кримсворт-Холла; в целом пейзаж сей внушал ощущение кипучей деятельности и изобилия — существование же фабрик, паровых машин и прочей техники лишало его романтической первозданности. За пятью милями лежащая меж низких холмов долина вместила в свою чашу большой город К***, над которым сейчас нависала густая, неподвижная пелена — там-то и располагалось предприятие Эдварда.

Довольно долго я рассматривал открывшуюся мне картину; и, когда я понял, что сердцу моему она не приносит ни малейшей радости, что вид этот не пробуждает во мне никаких надежд, естественных для человека, видящего пред собой арену своей будущей карьеры, — я сказал себе: «Уильям, чего роптать на обстоятельства; ты глупец и сам не знаешь, чего хочешь; ты сам избрал для себя этот путь и — никуда не денешься — будешь коммерсантом. Взгляни! — продолжал я. — Видишь черный дым вон в той ложбине? Так знай, что там и будет твое поле деятельности! Там ты уже не сможешь мечтать, не сможешь подолгу предаваться размышлениям — там ты погаснешь душою и будешь только работать».

Наставив себя таким образом, я вернулся в дом. Брат вышел уже в столовую. Поздоровался я с ним довольно холодно; Эдвард стоял у камина спиной к огню — сколько неприязни прочитал я в его глазах, когда подошел пожелать доброго утра! Он кивнул, буркнул в ответ: «Доброе утро», затем схватил со стола газету и принялся изучать ее с видом высокопоставленной особы, ищущей любой предлог, чтобы только избавиться от докучливой мелкой сошки. Хорошо, я настроился

перетерпеть некоторое время, иначе я едва ли смог бы заглушить в себе все возраставшую неприязнь к Эдварду.

Я смерил взглядом его крепко сбитую, внушительных размеров фигуру. Потом посмотрел на собственное отражение в зеркале над камином — и занялся сопоставлением двух этих особ. Лицом я был несколько похож на Эдварда, хотя и не был красив: черты лица у меня были неправильные. Намного уступал я и телосложением: я был худощав и не столь высок. В отношении физическом Эдвард, безусловно, меня обошел; но сумеет ли он утвердить верховенство в плане умственном, как человек, у которого мне предстоит служить, — ибо от него не следует ожидать львиного великодушия к слабому; холодность и расчетливость, сквозящие в его глазах, его жесткая, отталкивающая манера держаться говорили о том, что пощады не будет. Победил ли я его умом в итоге? Не знаю. Да я никогда особенно и не пытался...

Появление миссис Кримсворт на время отвлекло меня от этих мыслей. Она была удивительно хороша в белом платье и вся благоухала утренней свежестью. Я заговорил с ней с легкой непринужденностью, оправдываемой, как мне казалось, ее вчерашней беззаботной веселостью; однако ж миссис Кримсворт отвечала мне холодно и весьма сдержанно: разве могла она допустить какие-либо фамильярности со служащим своего мужа.

Только покончили с завтраком, как мистер Кримсворт объявил, что экипаж вот-вот подадут и что через пять минут он ждет меня, чтобы отправиться в К***. Я не заставил долго себя ждать, и вскоре мы уже были в пути. В кабриолет впрягли именно то несносное животное, так пугавшее миссис Кримсворт. Пару раз Джек пытался было выказать свой непокорный нрав, однако сильные и точные удары хлыстом в безжалостной руке хозяина быстро заставили его смириться; Эдвард в ярости раздувал ноздри и явно гордился одержанной им в этом состязании победой. За всю дорогу он ни разу не заговорил со мной, лишь время от времени сквозь зубы проклинал коня.

Когда мы добрались до К***, в городе царили оживление и суэта; мы прокатились по чистым улочкам с жилыми домиками и магазинами, церквями и трактирами; затем въехали в скопление фабричных построек, складов и, наконец миновав массивные ворота,

оказались на огромном мощеном дворе — это и был Бигбен-Клоуз. Перед нами была фабрика, извергавшая копоть из высоких труб и дрожавшая толстыми кирпичными стенами от напряженной работы чугунных котлов. На дворе туда и сюда, мимо тележки с материалом, сновали рабочие. Мистер Кримсворт оглядел двор хозяйским оком, разом ухватив все в малейших подробностях; он выбрался из кабриолета, передал коня с экипажем на попечение человека, поспешно принявшего у него вожжи, и велел мне пройти за ним в контору.

Интерьером контора разительно отличалась от апартаментов Кримсворт-Холла — помещение, предназначенное исключительно для работы, с голым деревянным полом, шкафом, двумя конторками с высокими табуретами и несколькими стульями. Восседавший на табурете за одной из конторок джентльмен при появлении мистера Кримсворта снял шляпу и тут же снова погрузился в работу.

Мистер Кримсворт снял макинтош и сел поближе к огню. Я остался стоять; наконец он произнес:

— Стейтон, сообразовите удалиться, мне надо обсудить с этим джентльменом кое-какие дела. Возвращайтесь, как услышите звонок.

Человек за конторкой мигом встал и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Мистер Кримсворт пошевелил в камине, затем скрестил руки на груди и минуту сидел в раздумье, поджав губы и нахмурясь. От нечего делать я стал его разглядывать. С каким изяществом вырезаны его черты! Сколько красоты в этом облике — и какой контраст с тяжестью и тупой ограниченностью в глазах и выражении лица.

Обернувшись ко мне, Эдвард резко заговорил:

— Итак, вы прибыли в ***шир, чтобы научиться предпринимательству?

— Да.

— И что, вы настроены решительно?

— Да.

— Что ж, ладно. Помогать вам я не обязан, но у меня есть вакантное место, может вы окажетесь для него пригодны. Я возьму вас с испытанием. Что вы умеете делать? Знаете ли вы хоть что-нибудь, кроме того вздора, которому вас обучили в Итоне, вроде греческого да латыни?

— Я изучал и математику.

— О да! С позволения сказать, изучали.

— Я умею читать и писать по-французски и по-немецки.

— Гм...

Минуту он подумал, затем выдвинул ящичек ближайшей к нему конторки, извлек оттуда письмо и подал мне.

— Вот это прочтете? — спросил он.

Письмо было деловое, коммерческое, на немецком; я перевел его; затрудняюсь сказать, остался ли удовлетворен мистер Кримсворт моим переводом, — лицо его ничего не выражало.

— Хорошо, — сказал он, немного помолчав, — что вас познакомили хоть с чем-то полезным, что сможет обеспечить вам пропитание и жилье; поскольку вы знаете французский и немецкий, я приму вас к себе клерком, будете вести иностранную корреспонденцию. Я положу вам неплохое жалованье — девяносто фунтов в год. А теперь, — продолжал он, возвысив голос, — хочу сказать вам раз и навсегда по поводу нашего родства и прочей подобной чепухи: никаких недоразумений на этот счет быть не должно; мне это совершенно ни к чему. Я не буду снисходителен к вам потому только, что вы мне приходитесь братом; если я обнаружу у вас недостаток ума, небрежность, рассеянность, леность или другие пороки, идущие в ущерб интересам моего предприятия, я рассчитаю вас, как любого другого служащего. Девяносто фунтов в год — деньги немалые, и за них я ожидаю получить от вас сполна; помните также, что действительную ценность здесь имеют лишь деловые качества — привычки, чувствования и образ мыслей исключительно делового человека. Вы меня понимаете?

— Отчасти, — отвечал я. — Я полагаю, вы хотите сказать, что за получаемое жалованье я обязан выполнять определенную работу, не смею ожидать от вас благоволения и не смею рассчитывать ни на какую помощь, а должен буду довольствоваться лишь тем, что сам я заработаю; это вполне меня устраивает, и на этих условиях я согласен служить у вас.

Тут я круто развернулся и прошел к окну; теперь я не видел Эдварда, не видел, что отразилось на его лице после моих слов; впрочем, мнение мистера Кримсворта меня тогда мало беспокоило. Выдержав довольно долгую паузу, он сказал:

— Возможно, вы рассчитываете устроиться в Кримсворт-Холле и ездить на работу со мной в кабриолете. Между тем, да будет вам известно, это весьма меня стеснит. Я предпочел бы иметь в экипаже свободное место на случай, если из каких-либо деловых соображений мне понадобится, к примеру, пригласить к себе какого-нибудь джентльмена. Вы подыщете квартиру в К***.

Я оторвался от окна и вернулся к камину.

— Разумеется, я подыщу квартиру в К***, — ответил я. — Для меня и самого было бы неудобно жить в Кримсворт-Холле.

Произнес я это, как обыкновенно, спокойным, ровным голосом; тем не менее голубые глаза мистера Кримсворта тут же вспыхнули, и отыгрался он довольно странно. Повернувшись ко мне, он произнес грубоватым тоном:

— Надо думать, средств у вас нет никаких; и как вы рассчитываете прожить, пока вам не выплатят квартальное жалованье?

— Проживу.

— Как вы рассчитываете прожить? — повторил он громче.

— Как сумею, мистер Кримсворт.

— В долги забирайтесь на собственный риск, ясно? Насколько мне известно, у вас привычки мота. Если так, избавляйтесь от них. Ничего подобного я здесь не потерплю, и вы никогда не получите от меня ни шиллинга сверх жалованья, в каких бы долгах вы ни обретались, — запомните это раз и навсегда.

— Да, мистер Кримсворт, сами убедитесь: у меня хорошая память.

Это все, что я сказал. Для переговоров посерьезнее было еще не время. Инстинктивно я чувствовал, что не стоит подолгу испытывать самообладание такого человека, как Эдвард. И мысленно я сказал себе: «Я готов принять это испытание. Когда чаша наполнится — хлынет через край, а пока — терпение. Вне сомнения две вещи: первое — я способен справиться с работой, предоставленной мне мистером Кримсвортом; второе — я могу честно заработать некоторые средства, и средств этих хватит мне на жизнь. А что братец мой усвоил себе манеры надменного и строгого господина — ему упрек, не мне. Неужели его несправедливость заставит меня свернуть с однажды избранного пути? Нет. А если, в конце концов, я когда-нибудь и отступлю, то к тому времени пройду уже достаточно, чтобы видеть,

куда этот путь меня ведет. Поскольку пока что я лишь толкусь у входа, то для начала миную нужду; хуже начала конец уж точно не будет».

Пока я размышлял таким образом, мистер Кримсворт позвонил; клерк — упомянутый выше субъект, предусмотрительно «освобожденный» от наших переговоров, — вернулся.

— Мистер Стейтон, — сказал Кримсворт, — выдайте мистеру Уильяму корреспонденцию от «Братьев Восс» и наши письма им на английском — он переведет.

Мистер Стейтон, человек лет тридцати пяти, с лицом мрачным и вместе с тем хитроватым, поспешил исполнить приказание; он выложил бумаги на стол, и я тут же засел за них и принялся переводить на немецкий деловые письма Кримсворта. Радость от этой первой моей попытки самому заработать на хлеб не угасала даже от присутствия надсмотрщика, который то и дело становился у меня над душой и наблюдал, как я пишу. Мне казалось, он хотел испытать мой характер, но под его проникающим взглядом я ощущал себя в такой безопасности, точно на мне был шлем с опущенным забралом; или же я приоткрывался ему — но с невозмутимой уверенностью человека, который показывает неграмотному сугубо личное письмо, писанное по-гречески; тот увидит строки, даже, может быть, разберет какие-то буквы — но он ничего не сможет прочесть; моя натура была Стейтону чужда, и проявления ее были для него, что слова из незнакомого языка. Очень скоро, очевидно, осознав тщету своих потуг, он резко развернулся и вышел из конторы; в тот день Стейтон еще пару раз появлялся; он разбавлял и быстро опрокидывал в себя стакан бренди (все необходимое он извлекал из шкафчика, висевшего сбоку от камина); затем, глянув на мои переводы — а читал он и по-французски, и по-немецки, — он в молчании покидал контору.

ГЛАВА III

Так стал я служить у Эдварда клерком. Работником я был честным, пунктуальным и весьма прилежным. Все, что мне поручалось, я выполнял безукоризненно. Мистер Кримсворт старательно выискивал огрехи в моей работе, но безуспешно; присматривать за мною он наказал также и Тимоти Стейтону, своему любимцу и правой руке; однако Тим попал впросак: в работе я был, как и он, точен, зато куда проворнее. Мистер Кримсворт время от времени спрашивался, как я живу, не влез ли в долги, — но нет, касательно расчетов от квартирной хозяйки не было ни малейших нареканий. Я нанимал маленькую квартирку, платить за которую ухитрялся из своих скудных, еще итонских сбережений. Поскольку мне давно уже претило просить у дядюшек дополнительных денег, я рано усвоил принципы самоограничения и жесткой экономии и расходовал ежемесячное содержание с неизменной бережливостью, чтобы даже в случае острой необходимости мне не пришлось вызывать к ним о помощи. Помню, многие тогда называли меня скрягой, и на упрек этот я про себя возражал тем, что лучше быть непонятым сейчас, чем униженным в будущем. Теперь я был за это вознагражден; впрочем, вознагражден я был и раньше — при свидании с моими вспыльчивыми дядюшками: когда один из них бросил передо мной на стол банкноту в пять фунтов, которой я не взял, сказав, что дорожные расходы мною уже предусмотрены.

Далее, мистер Кримсворт поручил Тиму выяснить, нет ли у моей квартирной хозяйки каких-либо жалоб на предмет моей нравственности; та отвечала, что не сомневается в моей добропорядочности и благочестии, и в свою очередь спросила, не кажется ли мистеру Стейтону, что я подумываю когда-нибудь стать священником, ибо, сказала она, в ее доме одно время жили молодые священники, которые и сравниться не могли со мною в степенности и спокойном, тихом нраве. (Тим сам был «человеком религиозным», точнее, приверженцем методистской церкви, что, разумеется, не мешало ему быть одновременно и первостатейным плутом.) Ушел

мистер Стейтон, весьма озадаченный столь лестным отзывом о благопристойности моего образа жизни.

Услышанное он передал мистеру Кримсворту, и сей джентльмен, который в церковь особо не частил и не поклонялся никаким богам, кроме как золотому тельцу, решил использовать выведенное у квартирной хозяйки как средство взорвать мою невозмутимость. Начал он атаку серией чуть завуалированных издевок, цели которых я поначалу не понимал, пока хозяйка однажды не передала мне свой разговор с мистером Стейтоном. Для меня сразу все прояснилось; теперь в контору я пришел уже внутренне подготовленным и отражал богохульный сарказм хозяина-фабриканта непрошибаемым безразличием. Скоро Эдварду наскучило осаждать статую, однако стрел он не выкинул, а до поры до времени приберег в колчане.

Однажды меня пригласили в Кримсворт-Холл на большой званый вечер, устроенный по случаю дня рождения хозяина; на подобные торжества он имел обыкновение приглашать служащих и посему обойти меня не мог. Впрочем, держали меня строго в тени. Миссис Кримсворт, в элегантном атласном с кружевом платье, цветущая, пышущая молодостью и здоровьем, удостоила меня сухим, холодным кивком — не более; Кримсворт конечно же не перемолвился со мною ни словом; из стайки юных леди, в облачках белого газа и муслина сидевших по другую сторону огромной залы, меня никому не представили. Таким образом, меня совершенно изолировали, и я только издали созерцал сияющих гостей да, утомившись столь ослепительным зрелищем, разнообразил свое времяпрепровождение изучением узора на ковре.

Мистер Кримсворт тем временем стоял, облокотясь о мраморную каминную полку, в обществе хорошеньких девиц, с которыми оживленно беседовал. И вот он воззрился на меня — я выглядел измученным, одиноким и подавленным, как какой-нибудь жалкий, несчастный учитель; он остался удовлетворен.

Начались танцы. Как хотелось мне быть представленным какой-нибудь милой и умной девушке, показать, что я способен на подлинное чувство и могу быть приятен в общении, что я не камень или предмет мебели, но деятельный, мыслящий, глубоко чувствующий человек. Мимо меня скользили улыбающиеся лица и грациозные фигурки, но улыбки эти расточались другим, фигурки поддерживались в танце

другими, не мною. Наконец, не вынеся этих танталовых мук, я покинул залу и побрел в дубовую столовую.

Ни малейшая симпатия, ни какое бы то ни было взаимопонимание не связывали меня ни с одним живым существом в этом доме. Оглядевшись в столовой, я увидел портрет матери. Высвободил из подсвечника восковую свечку, поднял повыше. Долго и пытливо всматривался я в портрет, тянулся сердцем к этому образу. От матушки моей, понял я, вместе с многими ее чертами — широким лбом, темными, глубоко посаженными глазами, темными волосами — передалась мне задумчивая выразительность лица.

Никакая совершенная красота не в силах так умирить эгоистичное человеческое существо, как приукрашенный портрет его особы; по этой именно причине отцы с таким самодовольством любят ликами дочерей, в коих видят собственное отражение, облагороженное мягкостью тонов и утонченностью линий. Только я задался вопросом, как эта, столь значимая для меня картина действует на человека постороннего, — прямо за моей спиной чей-то голос произнес:

— Гм! В этом облике ощущаю глубину.

Я обернулся; рядом со мной у камина стоял высокий мужчина, молодой, хотя, возможно, лет на пять-шесть меня старше. Наружность его во всех отношениях была чужда всякой банальности; впрочем, сейчас я не стану выписывать его портрет во всех деталях, так что читателю придется удовольствоваться лишь беглым наброском — тем, что сам я разглядел в первый момент. Я, признаться, не уловил ни оттенка его глаз, ни цвета бровей и волос — только рост и очертания фигуры, и еще — колоритный нос *retrousé*.^[1] Человека этого я не мог не узнать.

— Добрый вечер, мистер Хансден, — пробормотал я, слегка поклонившись, и тут же непроизвольно, точно забитое, бесправное существо (каким я в общем-то тогда и был), стал потихоньку ретироваться. И почему? Потому только, что мистер Хансден был процветающим фабрикантом, я же — всего лишь клерком в конторе и инстинктивно боялся персоны более высокого ранга. Я частенько видел Хансдена в Бигбен-Клоузе — наезжал он едва ли не каждую неделю, поскольку вел какие-то сделки с мистером Кримсвортом, — но ни я с ним ни разу не говорил, ни он со мной; более того, я относил его к своим тайным недоброжелателям: он не одиножды оказывался

свидетелем обид и оскорблений, наносимых мне Эдвардом. Я был убежден, что во мне он видел лишь малодушного раба, и теперь мне хотелось поскорее избавиться от его общества.

— Куда ж вы? — спросил он, когда я бочком отодвинулся в сторону.

Я давно уж заметил, что мистер Хансден позволяет себе в общении непочтительно обрывистые реплики, и я с упрямством подумал: «Он считает, что может как угодно говорить с бедным клерком; но я все ж не так аморфен, как ему кажется, а эта его грубоватая манера общения не так уж мне и приятна».

Я что-то ответил Хансдену — без особой учтивости, скорее с полнейшим безразличием, — и двинулся было дальше. Но он невозмутимо преградил мне путь.

— Побудьте здесь, — сказал он. — В зале слишком жарко, к тому ж вы не танцуете — вы же на этом вечере без дамы.

Хансден был прав; кроме того, ни взгляд его, ни интонация, ни то, как он держался, не внушили мне неприязни; да и самолюбие мое было польщено: обратился он ко мне не из снисхождения, но потому, что, зайдя освежиться в прохладную столовую, захотел с кем-нибудь перекинуться словом. Я терпеть не мог, когда ко мне милостиво снисходили — любезность же оказать я всегда был готов. Так что я остался.

— Хорошая картина, — продолжал он, вернувшись к портрету.

— Вы находите это лицо миловидным? — спросил я.

— Миловидным?! Ну как оно может казаться миловидным? Запавшие глаза, ввалившиеся щеки. Хотя лицо своеобразно, в нем чувствуется мысль. С этой женщиной, будь она жива, можно было бы беседовать на многие предметы помимо нарядов, визитов и комплиментов.

Я мысленно согласился, однако промолчал. Хансден же продолжил:

— Меня нисколько не восхищает такой тип лица; в нем недостает характера, силы; оно слишком чув-стви-тель-но, особенно рот. Кроме того, у нее на лбу написан аристократизм, она аристократка всем своим обликом; я же не выношу аристократов.

— Вы полагаете, значит, мистер Хансден, что благородное происхождение проглядывает в отточенности черт лица и в фигуре?

— К черту это благородное происхождение! Кого волнует, что у ваших лордов есть эта «отточенность черт лица и фигура», когда у нас, у ***ширских коммерсантов своя красота? Только чья лучше? Уж точно, не их. А насчет ваших женщин — есть, знаете ли, маленькая разница: с самого детства они пекутся о своей красоте и манерах и благодаря уходу и соответствующему воспитанию могут добиться определенной степени превосходства — прямо как восточные одалиски. Хотя и это превосходство их сомнительно. Сравните изображенную на этом портрете леди с миссис Эдвард Кримсворт — кто лучше?

— Сравните себя с мистером Кримсвортом, мистер Хансен, — парировал я спокойно.

— О, Кримсворт обошел меня, я знаю. Прямой нос, брови дугой и все такое; но эти преимущества — если это вообще преимущества — он унаследовал не от матери-аристократки, а от отца, Кримсворта-старшего, который, как говорит мой отец, «был первокласснейшим ***ширским красильщиком, когда-либо клавшим в бак индиго», и вдобавок красивейшим мужчиной на три райдинга.^[1] А вот вы, Уильям, аристократ в своем семействе, — вы далеко не такой славный малый, как ваш братец-плебей.

В столь резкой, категорической манере мистера Хансена было что-то, мне понравившееся: все это говорилось мне напрямик, в лицо.

— Как случилось вам узнать, — продолжил я беседу, — что мы с мистером Кримсвортом братья? Я думал, во мне видят лишь бедного клерка.

— Да так оно и есть. А кто ж вы, как не бедный клерк? Вы работаете на Кримсворта, и он вам за это платит — жалкие, кстати, деньги.

Я промолчал. Речи мистера Хансена уже граничили с наглостью, однако его манера говорить по-прежнему ничуть меня не задевала, лишь возбуждала любопытство. Мне хотелось, чтобы он продолжал.

— Нелеп этот мир, — изрек он.

— Почему так, мистер Хансен?

— Вы еще спрашиваете! Вы сами — убедительнейшее доказательство той нелепости, о которой я говорю.

Я хранил молчание, ожидая, что Хансен объяснится.

— Сделаться коммерсантом — собственное ваше намерение? — осведомился он, минуту помолчав.

— Да, притом вполне серьезное намерение.

— Гм, тем больший вы глупец... Да, вы просто вылитый коммерсант! И какое лицо у вас — лицо делового, предприимчивого человека!

— Мое лицо такое, каким Бог сотворил, мистер Хансен.

— И лицо ваше, и голову Бог творил явно не для К***. Что хорошего вам принесут здесь эти ваши глупые идеалы, достоинства, совесть и прочий бред. Хотя, если вам нравится в Бигбен-Клоузе, оставайтесь — мое дело сторона.

— Может, у меня нет выбора.

— Ну, мне, знаете ли, без разницы, что вы делаете и к чему идете. Однако я уж освежился — хочу снова танцевать; к тому же я заметил такую милую девицу — сидит возле маменьки на краешке софы; будь я проклят, если сейчас же ее не приглашу! Там уж Сэм Уэдди к ней подбирается — или я его не обставлю?

И мистер Хансен зашагал прочь. Я следил за ним через раскрытые двухстворчатые двери; я видел, как он опередил Уэдди и, подойдя к довольно миловидной юной леди, вскоре торжественно повел ее в центр залы. Это была высокая, хорошо сложенная, с развитыми формами особа, броско одетая — весьма в стиле миссис Эдвард Кримсворт. Хансен вдохновенно кружил ее в вальсе. Весь оставшийся вечер он держался возле этой девицы, и по ее оживленному и радостному лицу я заключил, что Хансен понравился ей совершенно. Маменька ее (дородная дама в тюрбане), миссис Луптон, вид имела тоже вполне довольный, и мысленный ее взор, вероятно, уже ласкали разные пророческие видения. Хансен происходил из старинного рода; и хотя Йорк (так звали недавнего моего собеседника) с насмешкой отвергал преимущества благородного происхождения, в глубине души, подозреваю, он прекрасно знал и безусловно ценил свою принадлежность к древнему и знатному роду, выделявшую его в этом молодом, стремительно разросшемся городке К***, среди жителей которого дай Бог если один из тысячи знал собственного деда. Более того, Хансены некогда были весьма богаты; Йорк же, по слухам, обещал в случае процветания его дела вернуть былое благоденствие своему несколько захиревшему дому. Так что

вполне естественно, что широкое лицо миссис Луптон расплывалось в счастливой улыбке, когда она созерцала, как наследник Хансден-Вуда увивается за ее драгоценной Сарой Мартой. Я же, беспристрастный наблюдатель, вскоре догадался, что почва под этими материнскими радостями на самом-то деле зыбкая; сей джентльмен явно был куда более жаждущим произвести впечатление на юную деву, нежели способным ею впечатлиться.

Было нечто необычное в мистере Хансдене, что, пока я издали его разглядывал (а ничего более занимательного мне не представлялось), навело на мысль, будто он иностранец. Судя по его наружности, по отдельным чертам лица Хансдена можно было назвать англичанином, хотя и здесь улавливалось что-то галльское; однако английской сдержанности в нем не было ни капли — не знаю уж, где он научился держаться столь непринужденно. Он не допускал, чтобы какая-то робость, какие-то условности этикета встали препятствием ему на пути к выгоде или удовольствиям. Утонченностью Хансден не отличался, хотя не был и вульгарен; он не казался странным типом, не выглядел чудаком, хотя подобного человека мне встречать еще не приводилось; то, как он обычно вел себя, указывало на полное игнорирование чужих мнений, на почти что безграничную самоуверенность. Впрочем, бывало, лицо его окутывалось какой-то угрюмой тенью, в чем видел я признак внезапного и глубокого сомнения Хансдена в себе, в своих речах и действиях, признак неудовлетворенности собой, жизнью или общественным положением, или возможными перспективами — уж не знаю чем; возможно, наконец, так всего лишь проявлялась непредсказуемая изменчивость его натуры.

ГЛАВА IV

Мало кому нравится признавать, что избрал для себя не то поприще, и каждый уважающий себя человек долго будет грести против ветра и течения, прежде чем выкрикнет: «Я проиграл!» и покорится волнам, что отнесут его обратно к берегу. С первых дней моего пребывания в К*** я томился от скуки. Сами по себе переписывание и перевод деловых писем — работка довольно нудная; но если бы этим все и исчерпывалось, я долго еще мог бы мириться с такой неприятностью; желая обеспечить себя и оправдать перед собой и всеми свой выбор, — я молча сносил бы то, как суживаются и притупляются лучшие мои способности; я даже в мыслях не высказал бы, как страстно желаю свободы; я удержал бы в себе всякий вздох, в котором душа моя отважилась бы выразить, как страдает она от духоты, дыма, однообразия и безрадостной сутолоки Бигбен-Клоуза и как тоскует по вольности и чистоте. В маленьком своем жилище я поставил бы двух идолов — Обязанность и Упорство, — что стали бы моими хранителями, моими ларами и пенатами, благодаря которым драгоценное, тайно лелеемое Воображение, утонченное и могущественное, никогда не причинило бы мне боли... Однако это было не все; неприязнь, зародившаяся между мною и моим хозяином-фабрикантом, с каждым днем все глубже пускала корни и отбрасывала тень все мрачнее, лишая меня и просвета жизни; я прозябал, как убогое растеньице в сырой темноте за скользкими стенами колодца.

Отвращение — единственное, пожалуй, слово, способное выразить, какое чувство питал ко мне Эдвард Кримсворт, — чувство это, скорее неосознанное, возбуждалось всяким, даже самым незначительным моим жестом, взглядом или словом. Мой южный акцент Эдварда раздражал; образованность, проявлявшаяся в моей речи, выводила его из себя; свойственные мне пунктуальность, трудолюбие и аккуратность только усиливали его нерасположение и придавали последнему резкий и мучительный привкус зависти; Эдвард опасался, что, может статься, я тоже сделаюсь состоятельным, удачливым фабрикантом. Если бы я хоть в чем-то уступал ему характером или умом, он не так бы глубоко ненавидел меня; но я знал

все, что знал он, и, более того, он подозревал, что под замком молчания во мне хранятся сокровища, ему недоступные. Если б ему удалось однажды поставить меня в чрезвычайно смешное и унижительное положение, он многое бы мне простил, но меня хранили Осторожность, Такт и Внимательность; злоба Эдварда, на какие бы хитрости ни пустилась, не сумела бы обмануть этих зорких моих стражей. День за днем злоба его караулила мой такт в надежде, что он уснет и она сможет напасть на него во сне; но подлинный такт неусыпен, и потому все происки были тщетны.

Как-то раз, получив первое жалованье за три месяца, я возвращался домой; в душе у меня был осадок, оттого что хозяин, выплачивая мне заработанные с таким трудом скудные деньги, жался с каждым пенни (тогда я еще считал мистера Кримсворта своим братом — он же был лишь суровым, чрезмерно требовательным хозяином и неумолимым тираном). Мною владели не слишком разнообразные, однако настойчивые мысли; во мне говорили два голоса; снова и снова они твердили одно и то же. Один все повторял: «Уильям, такая жизнь невыносима». Другой же: «А что ты можешь сделать, чтобы ее изменить?» Я шел очень быстро. Был морозный январский вечер; дойдя до дома, я отвлекся от своих навязчивых мыслей, подумав, горит ли у меня в камине огонь. Подняв глаза, я не увидел в окне кабинета приветливого красноватого отсвета.

— Эта растяпа-служанка, как всегда, забыла про камин, — сказал я, — и увижу я в нем лишь бледную золу. Сегодня чудный звездный вечер — пройдусь еще немного.

Был и впрямь чудный вечер, и улочки были сухими и — для К*** — очень чистыми; из-за колокольни приходской церкви выглядывал светящийся лунный серпик, и сотни звезд разливали яркое сияние по всему небу.

Непроизвольно я двинулся к окраине города; оказавшись на Гров-стрит и увидев в конце ее размытые очертания деревьев и загородных домиков, я обрадованно поспешил туда. Неожиданно над железной калиткой одного из садов, что выходил на эту узенькую и опрятную улицу, показался человек и, поскольку я шел большими быстрыми шагами, заинтересовался:

— И чего такая спешка? Так Лот, должно быть, покидал Содом, ожидая, что с раскаленных небес прольются огонь и сера.

Резко остановившись, я взглянул на говорящего. Я различил аромат сигары и увидел над калиткой горящую красную точку; неясная в темноте фигура чуть пригнулась ко мне через калитку.

— Видите ли, вечерней порою я люблю на свежем воздухе поразмышлять о высоких материях, — заговорила эта тень. — Одному Богу известно, какое это неблагодарное занятие! Особенно обидно, когда вместо Ребекки на верблюде, с браслетами на руках и кольцом в носу, Судьба посылает мне в награду простого конторщика в сером твидовом пальтишке.

Голос этот с самого начала показался знакомым, при второй же реплике я мигом узнал говорящего.

— Мистер Хансден! Добрый вечер.

— Добрый, вот уж точно! Однако вы пронеслись бы мимо, не изволив меня признать, если б я не был столь воспитан, чтобы заговорить первым.

— Я не узнал вас.

— Известная отговорка! Вы должны были меня узнать — я же вас узнал, хотя вы и мчались, как паровоз. За вами, что, гонятся полисмены?

— Для них я не представляю интереса: не столь важная птица.

— Убогий странник! Увы и ах! Да, об этом стоит пожалеть; и в каком вы, должно быть, пребываете унынии, судя по вашему голосу! Однако раз уж вы убегаете не от полисменов, то от кого? От дьявола?

— Напротив, я собирался бежать к нему.

— Прекрасно, вам повезло: на исходе вторник, и с базара в Диннефорд возвращается множество телег и двуколок; так что либо он собственной персоной, либо кто-то из его сподручных непременно в одной из них сидит; если вы зайдете ко мне и полчаса посидите в моей холостяцкой гостиной, вы без особых хлопот с ним состыкнетесь, когда он будет проезжать мимо. Хотя, думаю, лучше вам не обременять его своей особой: у него и без вас масса клиентов; вторник, знаете ли, напряженный день. В общем, заходите.

И Хансден распахнул калитку.

— Вы в самом деле желаете, чтобы я зашел? — удивился я.

— Сделайте милость. Я одинок, и ваше общество на час-другой будет очень кстати; впрочем, если вы не склонны оказать мне такое

почтение, не буду настаивать. Терпеть не могу кому-либо навязываться.

Я предпочел принять неожиданное предложение Хансдена. Пройдя в калитку, я последовал за ним к дому. Хансден открыл дверь; мы прошли по коридору и оказались в гостиной. Хозяин указал мне на кресло у камина, я сел и огляделся.

Это была уютная комната, чистенькая и красивая; в камине трещал щедрый ***ширский огонь — не жалкий южноанглийский, что еле поднимается над скученными в углу тлеющими угольями. На столе стоял светильник с абажуром, рассеивавший кругом мягкий, спокойный свет; обстановка, включавшая в себя также кушетку и пару мягких кресел, казалась, пожалуй, даже роскошной для молодого холостяка; в нишах по обе стороны от камина виднелись книжные полки, отделанные с безупречным вкусом. Опрятность хансденовской гостиной пришлась мне по душе: я не выношу беспорядка и неряшливости. Из увиденного я заключил, что в этом мы с Хансденом солидарны.

Пока он переносил со стола в центре комнаты на маленький столик брошюры и журналы, я обежал взглядом полки в ближайшей ко мне нише. Большею частью там были французские и немецкие сочинения; были и старые французские драматурги, и нынешние авторы — Тьер, Поль де Кок, Жорж Санд, Эжен Сю; из немецких — Гете, Шиллер, Цшокке, Рихтер; обнаружил я и английские труды по политэкономии. Больше я ничего не успел высмотреть: мистер Хансден обратился ко мне.

— Думаю предложить вам что-нибудь, — сказал он, — что подкрепит вас после такой гонки Бог весть куда; только предложу я вам не грог и не бутылку портвейна или хереса. Такой отравы не держу. Я обыкновенно употребляю рейнвейн, так что можете выбрать между ним и кофе.

В этом Хансден тоже мне понравился: я и сам испытываю исключительное омерзение к спиртному и крепленным винам. Однако его кислый германский «нектар» мне не нравился, кофе же я любил.

— Мне лучше кофе, мистер Хансден, — попросил я. Я почувствовал, что ответ мой его удовлетворил, хотя он наверняка ожидал совсем иной реакции, решительно объявив, что не даст мне ничего крепкого; Хансден пронзил меня взглядом, словно убеждаясь,

что отвечал я искренно, а не отдавая дань приличиям. Я улыбнулся, ибо понял его великолепно, недоверчивость эта меня позабавила. Хансден, по-видимому, остался мною доволен; он позвонил и распорядился насчет кофе, который вскорости подали; для себя же он велел принести гроздь винограда и полпинты своей кислятины. Кофе был превосходный, и я не замедлил похвалить его вслух; я даже осмелился выразить Хансдену соболезнование по поводу холостяцкого стола.

Хансден ничего не ответил; похоже было, что он меня и не слышал. В тот момент на лицо его набежали те быстрые, неожиданные тени, о которых я уже упоминал; улыбка погасла, и обычно цепкий, насмешливый взгляд сделался вдруг рассеянным и отчужденным. Поддержав молчание, я изучающе взгляделся в его лицо.

Прежде я ни разу не видел Хансдена так близко; к тому же, будучи намного ниже ростом, я имел лишь общее представление о его наружности; и теперь я пораился, какими мелкими, скорее даже женскими, были черты, хотя раньше линия рта, длинноватые темные волосы, голос и манера держаться всегда ассоциировались у меня с чем-то солидным и властным; мало того, теперь мне казалось, что мои черты намного правильнее и выгляжу я, пожалуй, даже представительнее. Я понял, что между его внутренним миром и оболочкой должен быть контраст; и борьба тоже — ибо я подозревал, что воли и честолубия в Хансдене больше, чем в теле мускулов и жил. Возможно, в этой несовместимости физического с духовным и лежала тайная причина стремительно набегающей на лицо и вдруг рассеивающейся мрачности. Определенно, некие свои желания и устремления Хансден не мог реализовать, и сильный ум его презрительно глядел на своего слабого спутника.

Что ж насчет красоты — я предпочел бы смотреть на Хансдена глазами женщины. Думаю, наружность его должна была производить на женщину такое же точно впечатление, как интересное своей необычностью, хотя едва ли миловидное, женское личико — на мужчину. Темные волосы, зачесанные на сторону, открывали белый обширный лоб; на щеках проступал несколько болезненный румянец. В целом облик Хансдена хорошо отразился бы на полотне, но совершенно иначе в мраморе: черты его были пластичны, и каждая носила отпечаток характера; выражение лица переиначивало эти

женские черты по своему произволу, и от такой вот странной метаморфозы Хансден теперь напоминал скорее угрюмого быка, нежели миловидную озорную девицу; чаще же всего мужское и женское сливалось в его облике, создавая довольно странное, неоднозначное впечатление.

Страхнув наконец оцепенение, Хансден заговорил:

— Знаете, Уильям, по-моему, глупо жить в таком мрачном, давящем на душу доме миссис Кингс, когда вы могли бы нанять комнаты здесь, на Гров-стрит, и иметь сад, как у меня!

— Мне было б далеко до фабрики.

— Ну и что, что далеко? Пару раз в день прогуляться туда и обратно пошло б вам только на пользу; да и неужто вы так окаменели, что у вас никогда даже не возникает желания увидеть цветок или зеленые листочки?

— Я не окаменел.

— Ой ли? День за днем, неделю за неделей вы просиживаете в кримсуортской конторе, царапая пером бумагу, точно заведенный; вы никогда не подниметесь и не пройдетесь, никогда не признаетесь, что устали; вы никогда не попросите себе выходной; вы не знаете ни разнообразия, ни передышки; и вне работы, вечером никогда ничего лишнего себе не позволите; и в компаниях буйных не бываете, и крепкого не пьете.

— А вы, мистер Хансден?

— Не надейтесь загнать меня в угол своими репликами; ваш случай и мой диаметрально противоположны, и просто нелепо пытаться провести какую-либо параллель. Я говорю: когда человек терпеливо сносит то, что определено невыносимо, он окаменел.

— Когда это вы успели так убедиться в моей терпеливости?

— О юноша! Уж не мните ли вы себя загадкой? Однажды вас, помнится, немало удивило, что я осведомлен о вашем происхождении; теперь вы нашли повод для удивления в том, что я назвал вас терпеливым. Для чего, как вы думаете, мне глаза и уши? Я не раз бывал у вас в конторе и видел: Кримсворт обращается с вами, точно с собакой; требует, например, книгу, и, когда вы подаете ему не ту (или просто ему угодно принимать ее за «не ту»), он швыряет вам ее чуть ли не в лицо; он требует, чтобы вы открывали перед ним и закрывали двери, будто вы его лакей. А что уж говорить о званом вечере месяц

назад, когда вам не нашлось ни места, ни пары и вы болтались как жалкий, ничтожный приживальщик, — и с каким терпением вы все это переносили!

— Хорошо, мистер Хансден, и что дальше?

— Вряд ли я скажу вам, что дальше; вывод мой относительно вашей личности зависит от тех мотивов, что вами руководят; если вы терпеливы, потому что намерены со временем развернуть свое дело вопреки тирании Кримсворта (а то и воспользовавшись ею), — тогда вы человек корыстный, расчетливый, хотя, возможно, очень даже благоразумный; если же вы, юноша, терпеливы, потому что считаете своим долгом с покорностью принимать оскорбления, — вы дурак, каких поискать, и потому мне неинтересны; если вы терпеливы оттого, что вы вялый флегматик, что вас ничем не растормошить и вы вообще не способны на сопротивление, — значит, созданы вы на погибель; тогда что ж, ложитесь на дорогу покорно и безропотно, и пусть Джаггернаут^{2} вас переедет.

В красноречии мистера Хансдена не было и намека на деликатность, и мне это едва ли могло понравиться. Казалось, он был из тех людей, что, будучи чувствительными и ранимыми, грубы и безжалостны к чувствам других. Более того, хотя вообще у Хансдена было мало общего с Кримсвортом и с лордом Тайнделлом, он, как они, был резок и язвителен и, похоже, в этом отношении их превзошел. В настойчивости его тона, в самих упреках, которыми он подстрекал притесненного восстать против притеснителя, ощущался деспотизм. Глядя на него куда внимательнее, чем когда-либо прежде, я увидел в его глазах, в выражении лица самонадеянную претензию на столь неограниченную свободу, что она грозила вторгнуться в чужие владения. Когда все это промелькнуло у меня в уме, я рассмеялся произвольным тихим смешком. Хансден, судя по всему, ожидал, что я спокойно выслушаю его некорректные, обидные для меня домыслы, его едкие, надменные колкости, и мой смех — который был не громче шепота — явно его взбесил. Брови его сгустились, и тонкие ноздри чуть раздулись.

— Да, — снова заговорил он, — однажды я уже сказал, что вы аристократ, — и как аристократ вы сейчас посмеиваетесь и смотрите на меня. Смешок натянуто-презрительный и взгляд лениво-возмущенный, с иронией джентльмена и патрицианским

негодованием. Какой пэр из вас бы вышел, Уильям Кримсворт! Но вы отрезаны от этого: жалкая Фортуна обошла великую Природу! Лицо, фигура ваша, даже руки — на всем лежит несоответствие, отталкивающее несоответствие. Да и владей вы сейчас имением с дворцом и парком, высоким титулом — сумели бы вы сохранить привилегии своего класса и заставить своих арендаторов почитать сословие пэров? Могли бы противостоять каждому шагу прогресса и, защищая свой прогнивший строй, быть готовым по колено зайти в кровь черни? Если нет — вы не могущественны; вы ничего не сможете сделать; сейчас вот вы потерпели крушение и выброшены на отмель коммерции; вы столкнулись с дельцами, с которыми вам не совладать, и *никогда вы не станете коммерсантом.*

Начало этой тирады Хансдена меня не взволновало, я только удивился, как исказился в его предвзятом суждении мой характер; заключительная же сентенция не просто взволновала, но потрясла меня. Удар был метким и жестоким: у Истины оказалось хорошее оружие. Так что если я и улыбнулся в тот момент, то лишь от презрения к самому себе.

Поняв, что одержал верх, Хансден решил, по-видимому, укрепить положение.

— Вы ничего не добьетесь на этом поприще, — продолжал он, — ничего, кроме сухой хлебной корки да воды, на чем вы и сейчас живете; единственный ваш шанс обзавестись состоянием — это жениться на богатой вдове или бежать с богатой наследницей.

— Подобные приемы пусть используют те, кто их изобретает, — сказал я, поднимаясь.

— Так ведь и это слабый шанс, — продолжал он, нимало не смутившись. — Какой вдове вы приглянетесь? А уж тем более, какой наследнице? Для первой вы не настолько дерзки и самоуверенны и не настолько обворожительны для второй. Может, вы изволите надеяться покорить кого-то умом и изысканностью? Отнесите эти свои совершенства на рынок и отпишите мне потом, какую за них дадут цену.

Мистер Хансден взял этот тон на весь вечер и ударял по одним и тем же струнам, причем расстроенным. Не перенося подобного диссонанса, которого мне и без того хватало каждый день, я понял, что

тишина и одиночество предпочтительнее столь резкой и неприятной беседе; я решил пожелать спокойной ночи и откланяться.

— Как, вы уходите, юноша? Ладно, спокойной ночи. Выход найдете сами. — И он сел неподвижно против огня.

Продолав уже большую часть пути к дому, я вдруг заметил, что чуть ли не бегу, что дышу очень тяжело, что кулаки у меня сжаты и ногти впились в ладони, а зубы мелко стучат; сделав это открытие, я замедлил шаг, усилием воли сбросил это дикое напряжение, однако сдержать стремительное течение мыслей, полных обвинения и раскаянья, я был не в силах. Зачем я силюсь сделать из себя коммерсанта? Зачем пошел сегодня к Хансдену? И зачем завтра чуть свет я должен буду идти на фабрику Кримсворта?

Всю ночь я терзал себя этими вопросами и всю ночь яростно требовал от себя ответа. Мне не спалось, голова горела, в ногах был ледяной холод; наконец послышался фабричный гудок, и я, как и другие рабы Кримсворта, вскочил с постели и стал собираться на работу.

ГЛАВА V

Все когда-то достигает своей кульминации, крайней точки — как любое чувство, так и всякая жизненная ситуация. Эта избитая истина вертелась в голове у меня, когда в январских, морозных предрассветных сумерках я несся вниз по обледенелой улице, что вела от дома миссис Кингс прямо к фабрике. Когда я добрался до конторы, вся фабрика была уже освещена и вовсю работала.

Я, как обычно, направился к своему месту; камин едва горел; Стейтона не было. Я закрыл дверь и подсел к конторке; руки у меня после мытья в ледяной воде и морозного воздуха окоченели, и писать я пока не мог; потому я сидел, погрузившись в мрачные мысли, которые вились все вокруг этой «крайней точки», вселяя в меня все большую неудовлетворенность собой.

«Ну-с, Уильям Кримсворт, — заговорил во мне внутренний голос, — выясните же для себя наконец, чего вы желаете, а чего нет. Вы изволили тут говорить о „крайней точке“; сделайте милость, ответьте: выносливость ваша ее уже достигла? А ведь и четырех месяцев не прошло. Каким, помнится, славным, решительным молодым человеком воображали вы себя, когда заявили Тайнделлу, что „двинетесь по отцовской стезе“, — и как замечательно вы продвинулись! А как хорошо живется вам в К***! Как отрадны вашему взору его улицы, лавки, склады и фабрики! До полудня письма, затем обед в пустом, одиноком жилище, снова письма — уже до вечера — и одиночество. Вы не можете развлечься в обществе Брауна, или Смита, или Николла, или Энкла; а Хансден — вы уж имели удовольствие быть выдворенным из его дома... Да, Хансден! Как он пришелся тебе по вкусу давешним вечером? Не сладко ли показалось? Он одаренный, оригинально мыслящий человек — но даже он тебя недолюбливает, и твое самолюбие, естественно, восстает; Хансден всегда видел тебя в невыигрышном свете, и дальше так будет; вы в неравном положении, и, пока это не изменится, вам не найти общего языка. Так что не надейся собрать нектар дружбы с этого защищенного шипами цветка... Кримсворт, на что ты замахиваешься? Для тебя Хансден, что камень для пчелы и пустыня для птицы.

Устремления твои возносятся к стране мечты, и сейчас — в рождающемся дне, в К*** — ты отваживаешься искать духовного сродства, единения и гармонии. Ничего подобного ты не встретишь в этом мире, не увидишь ангелов. Души людей праведных, совершенных, возможно, и встретятся на небесах — но твой дух никогда не станет идеальным. Однако бьет восемь! Руки согрелись — давай за работу!»

«За работу? А почему, собственно, я должен работать? — возразил я мрачно. — Надрываюсь как проклятый — и все равно не угодить».

«Работай, работай!» — снова раздался внутренний голос.

«Могу и поработать, только это не поможет», — проворчал я; тем не менее извлек из конторки пачку писем и приступил к своему занятию — неблагодарному и изнурительному, и столь же безнадежному, сколь участь евреев в Египте, искавших соломю для кирпича в выжженной солнцем пустыне.

Около десяти часов послышалось, как во двор вкатился экипаж мистера Кримсворта, и через пару минут Эдвард вошел в контору. По прибытии он имел обыкновение одарить долгим взглядом Стейтона и меня, затем повесить свой макинтош, минуту постоять спиной к огню и удалиться. На сей раз он не отступил от своих привычек; единственная разница была в том, что, когда он воззрился на меня, взгляд был не просто тяжелым, как обычно, а сердитым, и вместо прежней холодности теперь в нем полыхала ярость. Кримсворт смотрел на меня минуты на две дольше обычного, однако вышел из конторы, так ничего и не произнес.

В полдень прозвонили к перерыву. Рабочие разошлись обедать; Стейтон также отбыл, наказав мне закрыть контору и ключи взять с собой.

Я скреплял и раскладывал по местам бумаги, чтобы запереть конторку, когда снова появился Кримсворт и, войдя, плотно закрыл двери.

— Извольте задержаться, — произнес он низким неровным голосом, при этом ноздри его раздувались и глаза выстреливали зловещие искры.

Оказавшись с Эдвардом наедине, я сразу вспомнил о нашем родстве, забыв о различии в положении и отбросив осторожность и необходимую почтительность простого служащего.

— Пора домой, — сказал я, поворачивая ключ.

— Нет, вы задержитесь. И оторвитесь от ключа, оставьте его в замке.

— Почему? — спросил я. — С чего вдруг я должен нарушить свой обычный распорядок?

— Делайте, как я приказал, — последовал ответ, — и без вопросов! Вы у меня служите и извольте подчиняться! Чем это вы занимались... — Он не договорил, словно задохнувшись гневом.

— Можете взглянуть, если желаете, — ответил я. — Конторка открыта, бумаги в ней.

— Поразительная наглость! Чем вы занимались...

— Работал на вас — и, кстати, безупречно.

— Лицемер и пустослов! Подлый нытик! Масляный рожок! — (Сие последнее, мне думается, чисто ***ширское ругательство и происходит от рожка с черной прогорклой ворванью, который подвешивается для смазывания к колесу повозки.)

— Ну, Эдвард Кримсворт, довольно. Пора нам с вами подвести счета. Я выдержал у вас трехмесячную каторгу, и эту, так сказать, службу нашел самым что ни на есть отвратительным рабством. Poiщите себе другого клерка. Я здесь больше не останусь.

— Что?! И вы еще осмеливаетесь мне это говорить! Сейчас я подведу с вами счета! — И он достал хлыст, висевший у него за спиной.

В ответ я презрительно рассмеялся. Услышав этот смех, Эдвард разъярился и, испустив полдюжины грубых ругательств — не решаясь, однако, поднять на меня хлыст, — продолжал:

— Я вывел вас на чистую воду, теперь я знаю, кто вы такой. Подлый, скулящий по углам мерзавец! Что вы разнесли обо мне по всему К***? Отвечайте немедленно!

— О вас? У меня и в мыслях не было вообще о вас говорить.

— Лжец! Вы плакались всем и каждому на то, что я с вами будто бы дурно обращаюсь. Вы ходили повсюду и жаловались, будто я плачу гроши и обхожусь хуже, чем с собакой. Да лучше б вы были собакой! Я тотчас взялся б за вас и не успокоился, пока этим вот хлыстом не ободрал бы до костей.

И он взмахнул хлыстом, слегка задев мне лоб. Меня точно обдало горячей волной, сердце заколотилось, кровь стремительно понеслась

по жилам.

Я живо подскочил к Эдварду, оказавшись лицом к лицу.

— Убери свой хлыст, — проговорил я, — и сейчас же объяснись.

— Эй! Ты с кем вообще говоришь?!

— С тобой. Больше, кажется, здесь никого нет. Ты сказал, что якобы я клеветал на тебя, жалуясь на низкое жалованье и дурное обращение. Докажи!

Когда я столь решительно потребовал объяснений, Кримсворт, забыв о собственном достоинстве, отвечал резким, скандальным тоном:

— Доказать! Я тебе докажу! Только повернись сначала к свету, чтоб я видел твою бесстыжую физиономию! Чтоб видел, как она побагровеет: я докажу тебе, что ты лгун и лицемер. Вчера в городском совете я имел удовольствие слышать, как мой противник в дебатах оскорбляет меня, ссылаясь на частные мои дела; как вопиял он о чудовище без сердца и естественных человеческих привязанностей, о домашнем деспоте и прочей чепухе. И когда я поднялся, чтоб ему ответить, откуда-то поблизости раздались выкрики; а поскольку упоминалось твое имя, я сразу понял, откуда ветер дует. Всмотревшись, я увидел этого предателя, негодяя Хансдена — он-то ими и верховодил. А тебя я раскусил еще месяц назад, поговорив однажды с Хансденом, и знаю также, что ты вчера вечером был у него в доме. Попробуй-ка это опровергнуть!

— О, этого я и не собираюсь отрицать. А если Хансден кого-то на тебя натравливал, то был абсолютно прав. Ты достоин всеобщего презрения и ненависти; ты безжалостный угнетатель, а уж такого жестокосердного брата, пожалуй, еще свет не видел.

— Ну, ты! — вскричал Кримсворт и опустил хлыст мне на голову.

Я мигом вырвал у него хлыст, разломал пополам и швырнул в камин. Эдвард двинулся было ко мне, но я ускользнул от него и произнес с деланным хладнокровием:

— Только тронь меня — и я обращусь в ближайший суд.

Люди типа Кримсворта, встретив уверенное сопротивление, всегда умеряют свою ярость: Кримсворту совсем не улыбалось быть привлеченным к суду — а он, думаю, понял, что я сделаю, как обещал. Одарив меня долгим, хмурым и вместе с тем изумленным взглядом, он, вероятно, вспомнил, что в конце концов деньги дают ему немалое

превосходство над нищим вроде меня и что у него в арсенале есть более эффектный способ мести, нежели чреватая неприятными последствиями собственноручная расправа.

— Забери свою шляпу и вообще все, что тут твое, и убирайся, — прорычал он. — Отправляйся к своим нищим: попрошайничай, воруй, умри с голоду или попади на каторгу — что угодно. Но бойся снова попасться мне на глаза! Узнаю, что ты ступил хоть на дюйм моей земли, — найму человека и тебе не поздоровится.

— Вряд ли тебе представится такой случай; уж если я отсюда вырвусь — что может заманить меня обратно? Я уйду из тюрьмы, уйду от тирана; и позади я оставляю самое худшее, что может встретиться. Так что не бойся: я не вернусь.

— Немедленно убирайся или я сам тебя вышвырну! — вскричал Кримсворт.

Я не спеша прошел к конторке, отобрал из содержимого ящичка все, мне принадлежавшее, положил в карман, затем запер конторку и ключ оставил наверху.

— Ты что там вытащил? — спросил Кримсворт. — Все оставь на месте, или я пошлю за полисменом, чтобы тебя обыскали.

— Осмотри все хорошенько, — отозвался я и, надев шляпу, натянув перчатки, неторопливо вышел из конторы, чтобы никогда более туда не вернуться.

Еще до обеденного перерыва — то есть до появления мистера Кримсворта и разыгравшейся затем сцены — я чувствовал страшный аппетит и с нетерпением ждал звонка. Теперь же я напроць об этом забыл; жареная баранина с картошкой вытеснились бурными событиями последнего получаса. Я думал только о том, что вот я иду по дороге и двигаюсь столь же легко, сколь легко и свободно у меня на душе. Да и могло ли быть иначе? С сердца спала тяжесть, я покидал Бигбен-Клоуз с достоинством и без малейших сожалений. Пусть я не смог преодолеть обстоятельств — зато обстоятельства эти освободили меня. Жизнь опять открылась мне; больше ее горизонты не загораживались высокой закопченной стеной вокруг кримсуортской фабрики.

За два часа ноги занесли меня так далеко, что я мог в полной мере оценить, сколь широки, светлы и многообещающи просторы, на которые я променял эту грязную фабричную удавку. Я посмотрел

вперед — вот чудо! Прямо передо мной оказался Гровтаун, городок вилл, от которого до К*** было едва ли не пять миль. Короткий зимний день, как понял я по низко склонившемуся солнцу, почти был на исходе. Над рекой, на которой где-то позади меня стоял К*** и вдоль которой лежал мой путь, расстилалась морозная дымка; чуть затуманив землю, она не задержала прозрачной холодной голубизны январского неба. Повсюду стоял великий покой; людей не было, рабочий день на фабриках еще не кончился. И слышался лишь шум бегущей реки, реки глубокой и обильной, подпитанной стаявшим снегом.

Я постоял некоторое время, глядя то на фабричную ограду, то на реку; я наблюдал стремительный натиск потока и молил, чтобы память моя запечатлела это чистое и захватывающее зрелище и сохранила на долгие годы. С гровтаунской церкви зазвонили; было уже четыре. Подняв голову, я увидел красноватые вспышки заходящего солнца, пробивавшиеся сквозь оголенные ветви древних дубов вокруг церкви — и отрадная для меня картина сделалась еще живее и великолепнее. Я замер; и когда благостный, медленный звон растворился в воздухе, я почувствовал в себе несказанное умиротворение. Тогда я снова оборотился к К***.

ГЛАВА VI

В город я вернулся изрядно проголодавшись; я вспомнил наконец, что так и не обедал, и быстро поднимался по узкой улице к своему дому, подгоняемый разыгравшимся аппетитом. Уже стемнело, когда я открыл парадную дверь и прошел в дом. «Интересно, как там мой камин», — подумал я; ночь выдалась холодной, и, представив в нем лишь холодный, безжизненный пепел, я содрогнулся.

К радостному моему удивлению, войдя в кабинет, я обнаружил, что огонь горит, старая же зола тщательно выметена. Едва успел я отметить столь необычайное явление, как возник другой повод изумиться: кресло, в котором я обычно сживал у камина, оказалось занятым; в нем, скрестив руки на груди и вытянув ноги, устроился некто. Хотя и близорукий, я быстро узнал в этом человеке моего знакомого — мистера Хансдена. Конечно, я не очень-то рад был его видеть, памятуя, как расстался с этим господином накануне, и в том, с каким видом я прошел к камину и помешал в нем, с какой холодностью произнес: «Добрый вечер», выказывалось мало радушия.

Мысленно же я спрашивал, что привело ко мне Хансдена и что вообще побудило его так активно вмешаться в наши с Эдвардом отношения. Судя по всему, именно Хансдену я был обязан столь благотворным для меня увольнением. Тем не менее я не хотел его расспрашивать и тем самым выказывать нетерпение и любопытство; решит он объясниться — хорошо, но объяснение это должно последовать только по собственной воле Хансдена. Пока я обо всем этом думал, ему явно наскучило молчание.

— Вы передо мною в долгу, — были его первые слова.

— Да? — отозвался я. — Надеюсь, долг этот не очень большой, а то я слишком беден, чтобы обременять себя обязательствами любого рода.

— Тогда объявите себя банкротом, поскольку этот долг довольно велик. Явившись сюда и увидев потухший камин, я развел огонь и заставил эту вашу брюзгливую неряху стоять и раздувать его, пока хорошенько не разгорится; так что скажите «Спасибо!».

— Прежде чем кого-либо благодарить, я, пожалуй, перекушу: я умираю с голоду.

Я позвонил и приказал принести чаю и холодного мяса.

— Холодного мяса! — воскликнул Хансен, когда служанка закрыла дверь. — Ну и чревоугодник! Мясо и чай! Вы ж умрете от переедания.

— Нет, мистер Хансен, не умру. — Меня так и подмывало ему противоречить: меня раздражал голод, раздражало присутствие Хансена и раздражала эта непрекращающаяся грубоватость его тона.

— Это от переедания у вас такое скверное расположение духа, — заметил он.

— Как это вы узнали? — вскинулся я. — Похоже, вы из тех людей, что вмешиваются в чужие дела, не разобравшись в обстоятельствах. Я не обедал.

Проговорил я это достаточно резко и сердито, и Хансен, выразительно взглянув на меня, рассмеялся.

— Бедняга! — простонал он. — Он не пообедал, а? Что такое? Надо думать, начальство не отпустило его домой. Уж не приказал ли вам Кримсворт немного попоститься в виде наказания, Уильям?

— Нет, мистер Хансен.

К счастью, в эту тягостную минуту внесли ужин, и я тут же набросился на хлеб с маслом и холодную говядину. Опорожнив тарелку, я подобрел настолько, что пригласил мистера Хансена: дескать, чем сидеть и смотреть, лучше подсесть к столу и присоединиться к трапезе, если, конечно, он этого желает.

— Нет, есть мне не хочется, — ответил он; затем, энергично дернув за шнурок звонка, вызвал служанку и потребовал гренков в вине. — И еще угля, — добавил он, — чтобы, пока я здесь сижу, у мистера Кримсворта был хороший огонь.

И, отдав эти распоряжения, он протащил кресло вдоль стола, чтобы сесть напротив меня.

— Итак, — заговорил он, — вы, надо полагать, остались без работы?

— Да, — ответил я; и, не желая показать, что мне это только на руку, я решил сделать вид, будто весьма удручен тем, как все сложилось. — Да, премного вам благодарен: я уволен. Кримсворт меня

выставил — и причиной было ваше поведение в городском собрании, как я понимаю.

— Да что вы! Он сослался на это? Значит, видел, как я подбивал ребят, да? И что он сказал о своем друге Хансдене? Что-нибудь очень лестное?

— Он назвал вас предателем и негодяем.

— Ну, плохо он меня знает! Я человек осторожный и сразу не раскрываюсь; но он еще найдет во мне положительные качества — превосходнейшие качества! Хансдены испокон веков не имели себе равных по части выслеживания подлецов; отъявленный плут и негодяй — их неперемнная жертва; они не выпускают его из виду, где бы ни встретили; сейчас вот вы изволили употребить выражение «вмешиваться в чужие дела» — так оно означает едва ли не основное свойство нашей фамилии; оно передавалось из поколения в поколение. У нас прекрасный нюх на зло — подлеца чуем за милю; мы рождены для преобразований, для радикальных преобразований мира, и для меня невыносимо было жить в одном городе с Кримсвортом, еженедельно с ним общаться и видеть, как он обращается с вами (до кого мне, собственно, особого дела нет; я только имею в виду ту жестокую несправедливость, с которой он попирает ваше естественное право на равенство), — так вот, оказавшись в такой ситуации, я не мог не почувствовать, как во мне пробудился наш родовой ангел — или дьявол, если хотите. Я инстинктивно пошел против тирана и разбил вашу цепь.

Все это меня весьма заинтересовало, ибо, с одной стороны, раскрывало характер Хансдена, а с другой — проясняло мотивы его действий; я забыл даже поддержать разговор и сидел молча, взвешивая услышанное.

— Так вы благодарны мне? — спросил он вдруг.

В самом деле, я был ему благодарен, в тот момент я даже мог бы почувствовать к Хансдену симпатию, если б не заявление, что все сделанное им ко мне лично не относилось. Вообще, человек — существо упрямое; потому утвердительно ответить я не мог и вместо благодарности посоветовал: если он ожидает награды за свое поборничество, поискать ее в лучшем мире, когда ему не посчастливится найти ее в этом. В ответ Хансден назвал меня

«бесчувственным бездельником-аристократом», на что я обвинил его в том, что он вырвал у меня изо рта кусок хлеба.

— У вас грязный хлеб, молодой человек! — вскричал Хансен. — Грязный и вредный. Ваш хлеб из рук тирана — я ведь говорил вам уже, что Кримсворт тиран. Тиран к своим рабочим, тиран к клеркам и когда-нибудь сделается тираном по отношению к своей жене.

— Ерунда какая! Хлеб есть хлеб и жалованье есть жалованье. Я потерял его — причем с вашей помощью.

— В ваших словах есть смысл, однако, — ответил Хансен. — Должен сказать, я приятно удивлен этим столь дельным замечанием. Я уж было вообразил, исходя из прежних моих наблюдений, что восторг от вновь обретенной вольности на какое-то время лишит вас благоразумия и предусмотрительности. Теперь я о вас лучшего мнения: вы не забываете о насущном.

— «Не забываете о насущном»! Еще бы! Мне надо жить, и для этого я должен иметь то, что вы называете «насущным», которое я могу лишь заработать. Повторяю: вы лишили меня работы.

— И что вы намерены предпринять? — невозмутимо продолжал Хансен. — У вас влиятельные родственники; надо полагать, они скоро приищут вам другое место.

— Влиятельные родственники? Кто? Хотел бы я знать, кого вы имеете в виду!

— Сикомбов.

— Вздор! Я порвал с ними.

Хансен глянул на меня с недоверием.

— Да, — подтвердил я. — Да, и это бесповоротно.

— Вернее сказать, они порвали с вами, Уильям?

— Это уж как изволите. Они предложили мне свое покровительство при условии, что я поступлю в духовное звание; я отверг и такое соглашение, и их деньги; я расстался с моими суровыми дядюшками и счел за лучшее кинуться к старшему брату, из чьих любящих объятий я теперь вырван бессердечным вмешательством постороннего — вас, иначе говоря.

Сказав это, я не мог сдержать улыбку; такое же едва заметное выражение появилось и на губах у Хансена.

— О, понимаю! — сказал он и, заглянув мне в глаза, казалось, проник прямо в душу. Минуту-две он сидел, подперев рукой

подбородок, усердно вчитываясь в выражение моего лица, затем спросил: — Вам, серьезно, нечего ждать от Сикомбов?

— Только отвержения и презрения. Почему вы переспросили? Да разве могут они допустить, чтобы руки, перепачканные конторскими чернилами, в жире от фабричной шерсти, когда-нибудь соприкоснулись с их аристократическими дланями?

— Без сомнения, допустить такое трудно; но тем не менее вы истинный Сикомб и в наружности, и в речах, и, можно сказать, в поведении — неужели они отреклись бы от вас?

— Они не признают меня — и довольно об этом.

— Вы сожалеете, Уильям?

— Нет.

— Почему нет, молодой человек?

— Потому что к этим людям я никогда не питал симпатии.

— Как бы то ни было, вы из их породы.

— Это еще раз доказывает, что вы мало обо мне знаете; я сын своей матери, но не племянник дядюшек.

— Это пока; один из ваших родственников — лорд, хотя, пожалуй, ничем себя не прославивший и не слишком-то могущественный; зато другой — достопочтенная особа; вы можете от этого немало выиграть.

— Ничего подобного, мистер Хансен. Да будет вам известно, даже когда я и хотел покориться своим дядюшкам, я не мог гнуться перед ними с достаточной грациозностью, чтобы снискать их любовь. Я скорее пожертвую своим покоем и благополучием, нежели попытаюсь вернуть покровительство родственников.

— Допустим; и ваш мудрый план изначально состоял в том, чтобы рассчитывать на собственные средства?

— Совершенно верно. Я должен рассчитывать лишь на себя — до самой смерти, потому как я не могу ни понять, ни перенять, ни придумать тех средств и способов, которыми пользуются некоторые.

Хансен зевнул.

— Ладно, — сказал он, — во всем этом для меня ясно только одно: меня это не касается. — Он потянулся и снова зевнул. — Интересно, который час, у меня на семь условлена встреча.

— По моим часам без четверти семь.

— Ну, тогда я пойду. — Он поднялся. — Больше вы не сунетесь в коммерцию? — поинтересовался он, задержавшись у камина и облокотясь о полку.

— Нет, не думаю.

— Глупость сделаете, ежели сунетесь. Может, при всем при том вам лучше передумать насчет предложения дядюшек и стать пастором?

— Для этого мне надо полностью переродиться — и внешне и внутренне. Истинный священник должен быть лучшим из людей.

— Неужели! Вы так считаете? — оборвал он меня с издевкой.

— Да. Но во мне нет тех особенных качеств, что потребны для хорошего пастора; и чем братья за то, к чему у меня нет призвания, я лучше пойду на крайние лишения.

— Да, на такого заказчика чрезвычайно трудно угодить! Вы не желаете быть ни коммерсантом, ни пастором; вы не можете стать ни адвокатом, ни доктором; для праздного же существования у вас нет средств. Я рекомендовал бы вам выехать за границу.

— Как! Без денег?

— В поисках денег, молодой человек. Вы говорите по-французски — с отвратительным английским акцентом, разумеется, но все ж таки говорите. Отправляйтесь на континент — может, там вам что-нибудь подвернется.

— Видит Бог, как хотелось бы мне отсюда уехать! — воскликнул я с жаром.

— Вот и поезжайте! Какой черт вас тут держит? До Брюсселя, например, вы можете добраться за пять-шесть фунтов, если умеете экономить.

— Нужда научит, если еще сам не научился.

— Тогда отправляйтесь, и да поможет вам ваша смекалка. Брюссель я знаю, почти как К***, и уверен: вам он больше подойдет, нежели, к примеру, Лондон.

— Но работа, мистер Хансен! Мне надо ехать туда, где я смогу получить место; а в Брюсселе — где я найду работу и у кого раздобуду рекомендацию?

— В вас говорит осторожность. Шага ступить не можете, если не знаком каждый дюйм пути. У вас найдется лист бумаги, перо и чернила?

— Надеюсь.

Я с живостью все это раздобыл, догадавшись, что он намерен сделать.

Хансден сел, черкнул несколько строк, сложил лист, запечатал и надписал письмо, затем вручил мне.

— Итак, мистер Осторожник, у вас будет первопроходец, который обрубит первые сучья трудностей на вашем пути. Я уже понял, юноша, вы не из тех, кто кинется куда-то очертя голову, не зная, как оттуда выбраться, — и вы правы. Безрассудство мне претит, и ничто никогда не заставит меня принять какое-либо участие в таком человеке. Тот, кто безрассуден в собственных делах, в десять раз безрассуднее по отношению к друзьям.

— Это рекомендательное письмо, полагаю? — спросил я, повертев в руках конверт с его посланием.

— Да. С ним в кармане вы не рискуете впасть в абсолютную нищету, что было бы для вас все равно что полная деградация, — я бы, во всяком случае, считал именно так. Человек, которому вы передадите это письмо, обычно знает два-три вакантных места, куда возьмут по его рекомендации.

— Это вполне меня устроит, — сказал я.

— Прекрасно; так где ж ваша благодарность? — потребовал мистер Хансден. — Вы вообще знаете, как сказать: «Спасибо»?

— У меня есть пять фунтов и еще часы, которые моя крестная, которой я никогда не видел, подарила мне восемнадцать лет назад, — с достоинством ответил я; и тогда, и в дальнейшем я считал себя счастливым оттого, что не завидовал никому в христианском мире.

— Но ваша благодарность?..

— Я очень скоро уеду, мистер Хансден; если все будет хорошо — уеду завтра; ни дня не останусь дольше, чем вынудят дела.

— Все это прекрасно, но с вашей стороны было бы приличнее сначала отдать должное моему участию. Торопитесь! Сейчас пробьет семь — и я жду, когда меня поблагодарят.

— Будьте так любезны, посторонитесь, мистер Хансден: мне нужен ключ, что лежит с краю на камине. Прежде чем лечь спать, я сложу чемодан.

В доме пробило семь.

— Молодой человек, оказывается, невежа, — сказал Хансен и, забрав с полки шляпу, вышел из комнаты, тихонько посмеиваясь.

Я чуть не бросился за ним вдогонку: я действительно собирался следующим утром выехать из К***, и, конечно, уже никак не мог с ним попрощаться.

— Ну ничего, — сказал я себе. — Когда-нибудь мы еще повстречаемся.

ГЛАВА VII

Читатель! Возможно, вы никогда не бывали в Бельгии? И вам не случилось узнать облик этой страны? И в вашей памяти не запечатлены черты ее, как в моей? Три — нет, четыре картины висят по стенам той кельи, где, как полотна, хранятся мои воспоминания. Первая — Итон. В этой картине все — в перспективе, все — отдаленное, миниатюрное, но свежее, зеленое, росистое, с весенним небом, полным сияющих облачков; впрочем, не все мое детство было солнечным — в нем были свои тучи, своя стужа и бури.

Вторая картина — К*** — огромная, закоптелая; полотно растрескавшееся и продымленное; желтое небо, черные от копоти тучи; ни солнца, ни лазури; даже зелень предместья грязная, отравленная. На редкость унылая картина!

Третья — Бельгия; и на этой картине я задержусь. Что же касается четвертой — она скрыта занавесом, который я, может статься, впоследствии отдерну — а может, и нет: зависит от того, сочту ли я это уместным и возможным. Как бы то ни было, сейчас он должен висеть в неприкосновенности.

Бельгия! Лишенное поэзии и романтики название, хотя, где бы ни произнесли его, находит в моем сердце такой отклик, которого никакие сочетания звуков — будь они сама гармония — не смогут вызвать.

Бельгия! Это слово тревожит мир моего прошлого, извлекая на свет почти забытые образы, будто на кладбище прах давно усопших; могилы вскрыты, мертвые подняты; мысли, чувства, воспоминания, что долго пребывали в небытии, видятся мне встающими из праха — и многие в ореоле; но пока я вглядываюсь в их призрачные очертания, словно пытаюсь в них удостовериться, — звук, пробудивший их, умирает, и они все до единого исчезают легкими завитками дыма, поглощенные могилами и придавленные памятниками. Прощайте, светлые видения!

Это и есть моя Бельгия, читатель. Только смотри не называй эту картину скучной и безрадостной! Когда я впервые ее увидел, она не показалась мне ни безрадостной, ни скучной. Когда мягким февральским утром, выехав из Остенде, я был на пути в Брюссель, мне

ничто не могло показаться скучным. Все тогда казалось прекрасным, недостижимо совершенным, все вызывало во мне радость жизни. Я был молод, здоров, не пресыщен удовольствиями. Я впервые держал в руках свободу, и улыбка ее, и объятия, словно солнце или освежающий ветер, возродили во мне жизнь. Да, тогда я был точно путник на заре, который уверен, что с горы, куда он взбирается, увидит победоносный восход. Что из того, что путь его крут и каменист? Он этого не замечает; взгляд его прикован к вершине, уже подкрашенной заревом и позолоченной, и, достигнув ее, путник увидит раскинувшиеся перед ним безбрежные просторы. Он знает, что солнце непременно встретит его, что сияющая колесница уже выкатывается из-за восточного горизонта и вестник-ветер, чье дуновение ласкает ему лицо, уже расчищает на пути у божества ясную лазурь меж жемчужных облаков.

Всевозможные испытания выпали на мою долю, но, обретя силу и энергию в мечтах — сверкающих и зыбких, — я не считал сей жребий невыносимым. На свою гору я карабкался с теневой стороны; на пути моем были тернии и камни, но взгляд был устремлен вверх, к малиновой от зари вершине, и воображение уносилось к сияющему вдали небосводу — и я не думал о камнях, перекатывающихся под ногами и о шипах, раздирающих руки и лицо...

Я все выглядывал — с неизменным восхищением — из окна дилижанса (тогда еще, вы помните, не было железных дорог). И что ж я видел на пути? Зеленые, обросшие камышом болота; плодородные, но унылые поля, точно разрезанные на лоскуты и похожие на большие огороды. Полосы подрезанных деревьев, похожих на чинные, обстриженные ивы, опоясывали горизонт; вдоль обочин тянулись узкие канавы; крашенные дома фламандских фермеров — и кое-где ужасно грязные лачуги; серое безжизненное небо; мокрая дорога, мокрые поля, мокрые крыши — не такой уж отрадный вид представал моему взору на протяжении всего пути. Мне, однако же, все казалось красивым и радующим глаз.

День был ясный, хотя за долгие дождливые дни все кругом отсырело; когда стемнело, пошел дождь, и вот сквозь его завесу, сквозь беззвездный мрак я уловил первые вспышки огней Брюсселя. Так что все увиденное мною тем вечером на подъезде к городу — одни эти огни.

Высидившись из дилижанса, я нанял фиакр, и меня доставили к «Отель де ***», остановиться в котором мне советовал недавний попутчик. Поужинав с аппетитом истого путешественника, я улегся в кровать и провалился в сон.

Полуночью я пробудился в полной уверенности, будто все еще нахожусь в К***; увидев, что времени уже много, я было решил, что опоздал в контору. Однако это болезненное ощущение оков мгновенно исчезло перед воскресшим и вместе с тем воскрешающим осознанием свободы, и, откинув белые занавески над кроватью, я огляделся.

Комната была просторная, с высоким потолком — как отличалась она от тесного и грязноватого (впрочем, нельзя сказать, что неудобного) номера дешевой лондонской гостиницы, где я провел пару ночей, ожидая пакетбота. Хотя стоит ли чернить память о той маленькой неопрятной комнатке! Она тоже дорога моему сердцу, ибо там, лежа в ночной тишине, я впервые услышал великий колокол собора Св. Павла, оповещавший весь Лондон, что наступила полночь. Как запечатлелись во мне те глубокие, неторопливые звуки, полные силы и бесстрастия. И утром первое, что я увидел из узенького окошка той каморки, был купол собора, неясно вырисовывавшийся в лондонском тумане. Должно быть, чувства, всколыхнувшиеся от тех первых звуков, от тех первых образов, могут быть пережиты лишь однажды; храни их как сокровища, Память; запрячь их поглубже в свои надежные ниши!

Итак, я встал поздним утром в брюссельской гостинице. Об иностранных апартаментах путешественники нередко отзываются, как об унылых и неудобных; я же подумал тогда, что моя комната жизнерадостна и даже, пожалуй, величава. В ней были огромные двухстворчатые окна, с обширными чистыми стеклами; на туалетном столике стояло большое зеркало, а еще одно висело над камином; крашеный пол был свежим и блестящим.

Когда, одевшись, я спустился по лестнице — едва ли не благоговение внушили мне широкие мраморные ступени, а потом и великолепный вестибюль, куда они вели. На первой площадке лестницы я повстречал горничную-фламандку в деревянных башмаках, в короткой красной юбке и в сорочке из набивного ситца, с широким и на редкость глупым лицом; я заговорил с ней по-французски — она же ответила по-фламандски, причем тоном, отнюдь

не учтивым; невзирая на все это я посчитал сию особу очень милой; она не отличалась ни красотой, ни воспитанием — зато столько колорита я нашел в ней; она напомнила мне женские образы на нидерландских картинах, что я видел некогда в Сикомб-Холле.

Я вошел в общую залу; она тоже была очень просторной и высокой, к тому же хорошо натопленной; пол, печь и почти вся обстановка были черного цвета, тем не менее мне никогда не приводилось испытывать более легкого, светлого настроения, чем когда я устроился за длинным черным столом с белыми салфетками и, заказав завтрак, стал потягивать кофе, наливая его из маленького черного кофейника. Кому-то, быть может, черная печь в этой зале и показалась бы мрачной, но не мне — она, без сомнения, была очень теплой и уютной, возле нее сидели два джентльмена и разговаривали по-французски; хотя я не успевал за их скорой речью и не мог понять все содержание разговора, язык этот в устах французов или бельгийцев (а тогда меня не ужасал еще бельгийский акцент) звучал для меня, точно музыка. Один из этих джентльменов быстро распознал во мне англичанина (вероятно, когда я обратился к слуге, ибо я упрямо продолжал говорить по-французски с отвратительным южноанглийским выговором, хотя человек понимал и по-английски). Джентльмен, глянув на меня пару раз с интересом, подошел и очень вежливо поздоровался на превосходном английском (как молил я небеса, чтобы так же хорошо владеть французским); его правильное произношение навело меня на мысль о космополитическом духе этой столицы; так я впервые столкнулся с подобным мастерством по части языков, потом же обнаружил его вполне обычным для Брюсселя.

Я растягивал завтрак как мог дольше; и пока я сидел за столом и слушал незнакомого господина, я ощущал себя досужим путешественником, вольной птицей. Но стоило мне остаться одному, как все переменилось. Иллюзия рассеялась, и всплыла действительность с ее проблемами. Я — раб, только вырвавшийся из двадцатилетней неволи, должен был из бедности снова надеть оковы. Не успел я насладиться жизнью без хозяина, без господина, как нужда приказала: «Ищи другую службу».

Я никогда не мешкаю с неотложным делом, как бы ни было оно мне в тягость; так и в свой первый день в Брюсселе я не мог празднать, неспешно пройтись по городу (хотя утро было превосходным), пока

сначала не передал бы рекомендательное письмо Хансдена и не ступил бы на свою новую стезю. А посему, лишив себя удовольствия прохладиться в гостинице, я схватил шляпу и буквально заставил себя выйти из «Отель де ***» на незнакомую иностранную улицу.

Погода выдалась чудная, но я не заглядывался на голубое небо и величественные здания вокруг меня; думал я лишь о том, чтобы отыскать адресата хансденовского письма — «Mister Brown Numéro ***, Rue Royale», как значилось на конверте. Расспрашивая встречных, я наконец нашел нужный дом, позвонил, спросил мистера Брауна и был приглашен войти.

Меня проводили в небольшую столовую, где меня принял почтенный джентльмен, с очень важной и респектабельной наружностью. Я подал ему письмо от мистера Хансдена; он прочитал послание с видом весьма почтительным. Поговорив со мною о предметах совершенно незначительных, он спросил, не требуется ли мне его совет в каком-либо деле. Я ответил положительно и принялся рассказывать о себе: что я не богач, путешествующий забавы ради, но недавний конторский служащий, ищущий работу, и что дело это не терпит отлагательств. Он отвечал, что как друг мистера Хансдена он желал бы мне помочь, насколько это в его силах. Немного поразмыслив, он предложил одно место в торговом доме в Льеже, другое — в книжной лавке в Лувене.

— Клерк и лавочник! — пробурчал я. — Нет, — и решительно мотнул головой. Я уже насиделся на высоком конторском табурете и ненавидел его. Несомненно, были и другого рода занятия, которые больше бы мне подошли; к тому же мне не хотелось уезжать из Брюсселя.

— В Брюсселе я не знаю ни одного вакантного сейчас места, — отвечал мистер Браун, — разве только вам угодно будет заняться преподаванием. Я знаком с директором одного солидного заведения, где требуется учитель английского и латыни.

Недолго думая, я горячо ухватился за это предложение.

— Это самое лучшее, сэр! — воскликнул я.

— Но, — заметил он, — достаточно ли хорошо вы изъясняетесь по-французски, чтобы учить бельгийских мальчиков английскому?

К счастью, я мог с уверенностью отвечать утвердительно; изучив этот язык под началом француза, я мог изъясняться на нем более чем

сносно, хоть и не слишком бегло. Читал и писал по-французски я также прилично.

— В таком случае, — продолжал мистер Браун, — я, вероятно, могу обещать вам это место: мсье Пеле не откажется от professor'a, рекомендованного мною; соблаговолите прийти сюда к пяти часам пополудни, и я вас друг другу представлю.

Слово «professor» меня несколько смутило.

— Я ведь не «professor», как вы сказали, — заметил я.

— О, здесь, в Бельгии, это значит «учитель» — только и всего, — возразил мистер Браун.

Это меня успокоило, и, поблагодарив мистера Брауна, я удалился.

С легким сердцем вышел я на улицу; все, что поручил я самому себе на тот день, было выполнено, и можно было побродить по городу. Теперь я шел с поднятой головой; я любовался искристой прозрачностью воздуха, бездонной голубизной неба, веселым, опрятным видом беленых и крашенных домов; лишь теперь я обнаружил, как красива рю Рояль, и, шествуя по широкому тротуару, я разглядывал исполненные достоинства здания, пока появившаяся в отдалении ограда с воротами и деревья за нею не предложили моему взору новое развлечение. Помню, прежде чем пройти в парк, я долго рассматривал статую генерала Бельярда, затем поднялся по ступеням позади нее и глянул вниз на узкую темную улочку, которая, как я потом выяснил, называлась рю д'Изабель. Помнится еще, взгляд мой остановился тогда на зеленой двери аккуратного строения напротив, где на медной табличке значилось: «Pensionnat de Demoiselles».^[2] Пансион! Слово это встревожило меня; казалось, в нем слышалась несвобода. Несколько воспитанниц — вероятно, externats^[3] — как раз выходили оттуда; разглядывая этих школьниц, я все высматривал хорошенькое личико, но видел лишь узкие маленькие капоры, скрывавшие от меня юные черты; очень скоро девушки разошлись.

Я сделал добрый круг по Брюсселю и к назначенному времени был уже на рю Рояль. Снова приглашенный в столовую, я, как и в первый раз, увидел мистера Брауна сидящим за столом. На сей раз он был не один: у камина стоял некий господин. Как тут же выяснилось, им оказался будущий мой директор. «Мсье Пеле — мистер Кримсворт; мистер Кримсворт — мсье Пеле», — представил нас друг другу мистер Браун, и поклон каждой из сторон завершил сию церемонию.

Не знаю уж, какой поклон у меня вышел — обычный, полагаю, поскольку пребывал я в безмятежнейшем состоянии духа; во мне не было того нетерпения, что когда-то сопровождало первую нашу встречу с Эдвардом Кримсвортом. Господин Пеле поклонился с большой учтивостью, причем без наигранности, совсем не по-французски. Усадили нас друг против друга.

Приятным низким голосом, отчетливо и неторопливо (даже для моих ушей иностранца) господин Пеле сообщил, что полученный им отзыв «le respectable M. Brown» о моей учености, а также и о моем нраве не оставляет сомнений в целесообразности приглашения меня в качестве учителя английского и латыни в его заведение; однако же, из пустой формальности, он задаст несколько вопросов, дабы испытать мои силы, — что он и сделал, после чего в самой лестной форме выразил свое удовлетворение. Следующий вопрос касался жалованья; мне назначили тысячу франков в год, не считая квартиры и стола.

— К тому же, — предложил господин Пеле, — поскольку у вас ежедневно будут выдаваться несколько свободных часов, вы вольны давать уроки в других заведениях, тем самым с пользой и выгодой проводя время.

Я подумал, что все это очень щедро с его стороны (и в самом деле, впоследствии я понял, что господин Пеле обошелся со мной весьма великодушно для Брюсселя; учителей было там великое множество, и потому работа их ценилась крайне дешево).

Далее мы условились, что к обязанностям своим я приступлю на следующий же день.

Что за человек был этот мсье Пеле? и какое произвел на меня впечатление? Мужчина под сорок, среднего роста, худощавый; лицо у него было бледное, осунувшееся, с запавшими глазами; черты его казались приятными и правильными, характерными для французов (господин Пеле не был фламандцем: он и родился во Франции, и имел французские корни), хотя некоторая резкость, свойственная галльским лицам, была у него сглажена мягкими голубыми глазами и меланхолическим, почти даже страдальческим выражением лица; весь облик его был «fin et spirituel».^[4] Я специально использовал эти французские слова: они лучше английских способны выразить тот склад личности, который выдавали все черты Пеле. Его особа возбуждала любопытство и сразу располагала к себе. Удивило меня

только, что профессия Пеле никак не отразилась на его наружности, — я даже заподозрил, что для директора школы он недостаточно требователен и настойчив. И наконец, внешне господин Пеле представлял собой полную противоположность бывшему моему хозяину Эдварду Кримсворту.

Как же был я удивлен, когда, явившись на следующий день к своему нанимателю и впервые обозрев арену будущей деятельности — то есть просторные и светлые классы, — я увидел огромное собрание учеников (разумеется, только мальчиков), чей внешний вид в целом являл все признаки процветающего учебного заведения с блестящей дисциплиной. Когда мы с господином Пеле проходили по классам, везде воцарялась тишина; если же и слышался где-то шепот или приглушенные возгласы, один взгляд задумчивых, печальных глаз этого мягчайшего педагога обрывал их в момент. Удивительно, думал я, как столь спокойное воздействие могло произвести такой эффект.

Когда мы уже завершали обход классов, господин Пеле обернулся и сказал:

— Не изволите ли вы сейчас проверить, насколько сильны мальчики в английском?

Предложение это застало меня врасплох: я полагал, что мне хотя бы день будет отпущен на подготовку. Тем не менее начинать любое дело с колебаний я считал предзнаменованием скверным, а потому решительно шагнул к учительскому столу и оборотился к ученикам. Я мгновенно собрался с мыслями и составил по-французски предложение покороче, с которым мне предстояло выйти на новое поприще:

— Messieurs, prenez vos livres de lecture.^[5]

— Anglais ou Français, Monsieur?^[6] — спросил круглолицый, упитанный юный фламандец в форменной блузе.

Ответ был, к счастью, прост:

— Anglais.^[7]

Я решил как можно меньше говорить на этом уроке; не следовало пока доверять моему неопытному языку пространных объяснений; мое произношение с заметным акцентом было бы слишком уязвимым для критики сидящих предо мною юных джентльменов, по отношению к которым — я уже чувствовал — необходимо было сразу занять положение превосходства.

— Commencez!^[8] — велел я, когда все достали книги. Первым взялся читать уже упомянутый луноликий юнец — Жюль Вандеркелков, как я потом узнал. «Livre de lecture» был «Векфильдский священник», весьма употребительная тогда в школах книга, ибо считалось, что в ней содержатся лучшие образцы разговорного английского; однако выговариваемые Жюлем слова настолько походили на нормальную речь уроженцев Англии, что казалось, будто он разбирает руническое письмо. О Боже! Как он гнусавил, пыхтел и присвистывал! Звуки точно застревали у него в глотке и в носу, что вообще характерно для фламандцев. Тем не менее я терпеливо дослушал до конца абзаца, ни разу не поправив, отчего юнец этот был непомерно доволен собой и убежден, несомненно, что произвел впечатление истого англичанина, рожденного и вскормленного на британской земле. В таком же неподвижном молчании я прослушал дюжину учеников, и, когда последний с шипением и хрипом добрался наконец до точки, я с мрачным видом отложил книгу.

— Arrêtez!^[9] — сказал я и молча обвел класс суровым взглядом.

Если долго и тяжело смотреть на собаку, она непременно обнаружит признаки замешательства — подобное действие оказал на бельгийцев мой осуждающий взгляд. Заметив, что у одних лица сделались зловеще угрюмыми, у других — пристыженными, я медленно сложил руки и низким, утробным голосом изрек:

— Comme e'est affreux!^[10] Ученики переглянулись, набычились, покраснели и заерзали; поведение мое явно произвело на них впечатление, притом именно такое, как я хотел. Осадив таким образом этих самонадеянных юнцов, следующим шагом я должен был возвысить себя в их глазах — что было не так-то просто, поскольку я едва осмеливался говорить, опасаясь предательства собственного языка.

— Écoutez, Messieurs!^[11] — сказал я, попытавшись произнести это сочувственным тоном существа превосходящего, тронутого чьей-то крайней беспомощностью, что поначалу вызвала у него лишь презрение, и наконец снисошедшего до благодеяния.

Затем я начал с самого начала «Векфильдского священника» и медленно, членораздельно прочитал страниц двадцать; дети же все это время безмолвствовали, слушая меня с напряженным вниманием.

Так пролетел час. Закончив, я поднялся и проговорил:

— C'est assez pour aujourd'hui, Messieurs; demain nous recommencerons, et j'espère que tout ira bien.^[12]

После этой пророческой сентенции я слегка поклонился и вместе с господином Пеле покинул класс.

— C'est bien! c'est très bien! — воскликнул мой директор, когда мы вошли в его кабинет. — Je vois que Monsieur a de l'adresse; cela me plaît, car, dans l'instruction, l'adresse fait tout autant que le savoir.^[13]

Затем господин Пеле проводил меня в мое теперешнее жилище, мою «chambre»,^[14] как с достоинством произнес он. Это была совсем небольшая комнатка с довольно узкой кроватью, но господин Пеле дал мне понять, что проживать в этой комнате я буду совершенно один и что, бесспорно, она очень удобна. Несмотря на скромные размеры комнаты, в ней тем не менее было два окна. Вообще, в Бельгии никто никогда не возражал против естественного освещения своего жилища — здесь же, однако, это мое наблюдение оказалось некстати, потому как одно из окон было заколочено. Открытое окно выходило на школьный двор. Я посмотрел на другое: интересно было, какой вид оно откроет, если освободить его от досок. Г-н Пеле, вероятно, прочитал в моих глазах этот вопрос и объяснил:

— La fenêtre fermée donne sur un jardin appartenant à un pensionnat de demoiselles, et les convenances exigent... enfin, vous comprenez, n'est-ce pas, Monsieur?^[15]

— Oui, oui,^[16] — ответил я, изобразив, конечно, удовлетворенность таким объяснением; но стоило г-ну Пеле выйти и закрыть дверь, первое, что я сделал, — кинулся осматривать прибитые доски в надежде найти между ними щелку или трещину в дереве, которую я мог бы увеличить и проникать хотя бы взором на священную территорию. Поиски мои ни к чему не привели: доски были добротны, хорошо пригнаны и крепко-накрепко приколочены.

Не передать, до чего я был тогда раздосадован! Ведь как чудесно было бы выглядывать порой в соседний сад, любоваться цветами, наблюдать игры воспитанниц и, укрывшись за муслиновой занавесью, изучать женский характер в разнообразии возрастов — а вместо этого из-за чьего-то нелепейшего предубеждения мне оставалось лишь глядеть на огромную голую земляную площадку, окруженную однообразными, унылыми стенами школы мальчиков.

Не только тогда, а и много позже, особенно в минуты усталости и скверного настроения, взирал я страждуще на эти доски, причинявшие мне воистину танталовы муки, и желал отодрать их и увидеть наконец то пространство, что представлял я за окном. Я знал, что деревья подбирались к самым окнам — ночами ветки их тихонько постукивали по стеклу. Днем же, прислушавшись, я мог уловить даже сквозь доски голоса воспитанниц в часы их отдыха — и, признаться, мои сентиментальные домыслы вмиг разрушались, когда из невидимого рая в них врывались отнюдь не чистые серебряные, а медные, грубые звуки. Вскоре я уже не сомневался, чьи легкие крепче — воспитанниц м-ль Рюте или питомцев г-на Пеле; по части визга и криков девочки уж точно обставили бы мальчиков. Кстати сказать, м-ль Рюте и была та престарелая леди, что распорядилась забить окно в моей комнате. Я говорю «престарелая», ибо иначе просто не мог представить себе эту чрезмерно бдительную блюстительницу нравов; к тому же я не слышал, чтобы кто-либо говорил о ней как о молоденькой. Помню, как поразился я, узнав ее имя — Зораида, мадемуазель Зораида Рюте. Впрочем, на континенте позволяют себе подобные причуды в выборе имени, во что мы, здравомыслящие англичане, никогда не впадаем (хотя на самом деле выбор у нас, возможно, слишком ограничен).

Чем дальше, тем жизнь моя становилась все ровнее. В считанные недели я преодолел разного рода досадные препятствия, неминуемые в начале всякого пути. Очень скоро я достиг такой легкости владения французским, что с учениками чувствовал себя уверенно и свободно. Поскольку с самого начала я продемонстрировал им силу и несокрушимость и цепко удерживал утвержденное однажды превосходство, мальчики даже и не пытались взбунтоваться (все, кто хоть немного наслышан о состоянии брюссельских школ, где слишком часто враждуют ученики с наставниками, оценят необычайность и значимость этого обстоятельства).

Прояснить для себя особенности брабантских юнцов я смог и без долгого, тщательного наблюдения — зато сколько такта требовалось, чтобы как-то приложить к этим детям свои мерки. Умственные их способности, как правило, были слабыми; в моих учениках сосуществовали и бессилие, и какая-то сила инерции; они казались вялыми, но вместе с тем были на редкость неподатливы и тяжелы на подъем. При этом было бы глупо требовать от них умственного

напряжения; со слабой памятью, скудоумием, ничтожными мыслительными возможностями, они испытывали ужас и отвращение перед тем, что нуждалось в непосредственном тщательном изучении и глубине мысли. Но если б ненавистные мальчикам мыслительные усилия вытягивались из них непродуманными, деспотическими мерами со стороны учителя — они сопротивлялись бы, пожалуй, как упрямая, визгливая, доведенная до отчаянья свинья; к тому же не храбрые поодиночке, *en masse* они были силой.

Я догадался, что до моего поступления к г-ну Пеле всеобщее непослушание воспитанников буквально согнало с места не одного и не двух учителей английского. Поэтому я понял, что требовать от этих мало пригодных к учению молодых людей можно лишь самого скромного прилежания, при этом необходимо помогать любым возможным способом умам столь ограниченным и непроходимо тупым, и быть всегда мягким, деликатным, а в некоторых мелочах даже уступчивым с натурами, столь упрямыми. Дойдя же до высшей степени доброты, следует понадежнее укрепить свою позицию, ибо один неосторожный шаг, полшага — и вы полетите вниз головой в пучину глупости и, оказавшись там, очень скоро получите доказательства фламандской признательности и великодушия в виде ливней брабантской слюны и пригоршней бельгийской грязи.

Даже разровняв перед учениками путь, устранив каждый камешек, вы еще должны будете настоять на том, чтобы ученики взяли вас за руки и позволили вести себя по готовенькой дорожке.

Когда я низвел свой урок до нижайшего уровня моих тупейших учеников, когда я показал себя добрейшим и терпеливейшим педагогом — одно дерзкое слово, один жест непослушания мгновенно превратили меня в деспота. Я предложил провинившемуся выбор: подчинение с признанием своей неправоты — или постыдное изгнание.

Сие возымело действие, и мое влияние постепенно укрепилось на твердой, надежной основе. The boy is father to the man, ^[17] и я часто вспоминал эту строку из Вордсворта, глядя на своих мальчишек. Школа г-на Пеле воистину была Бельгией в миниатюре.

ГЛАВА VIII

А что г-н Пеле? Нравился ли мне по-прежнему? О, чрезвычайно! Обходился он со мной необычайно деликатно, вежливо, даже, пожалуй, дружески. Ни холодного пренебрежения, ни бесцеремонности, ни высокомерного превосходства. Боюсь, однако, что два жалких, измученного вида наставника-бельгийца в его заведении такого сказать бы не могли: с ними директор держался сухо, жестко и холодно. Заметив, что меня несколько шокирует то различие, которое он проводит между мной и ими, он как-то раз сказал мне с саркастической улыбкой: — *Ce ne sont que des Flamands — allez!* ^[18]

И Пеле грациозно вынул изо рта сигару и сплюнул.

Конечно, наставники эти были фламандцы, и оба обладали настоящими фламандскими физиономиями, где недалекость так сквозила в каждой черте, что ошибиться было невозможно. Но как бы то ни было, это были такие же, как мы, люди, причем люди достаточно порядочные — и я не понимал, почему, раз они уроженцы этой скучной, невзрачной земли, к ним можно относиться с суровостью и презрением.

Несправедливость эта несколько омрачила удовольствие от мягкого, любезного отношения ко мне г-на Пеле. Но все же, согласитесь, приятно, завершив дневные труды, найти в начальнике умного и веселого собеседника; и если говорил он порой с едким сарказмом, а порой и по-лисьи вкрадчиво, и если я обнаруживал иной раз, что мягкость его, скорее всего, показная, и если я подозревал, что под бархатом его манер спрятаны кремь и сталь — так никто ж из нас не совершенство! И, выбравшись из атмосферы оскорбительного высокомерия и черствости в К***, я вовсе не собирался, бросив наконец якорь в мирных водах, сразу приняться за выискивание изъянов, тщательно сокрытых от моего взора. Я желал принимать Пеле таким, каким ему угодно было казаться, и считать его великодушным и доброжелательным, покамест какое-нибудь происшествие не выставит его в совершенно ином свете.

Пеле не был женат и, как я вскоре убедился, имел истинно французские, парижские взгляды на брак и на женщин. Я чувствовал в

нем некоторую степень безнравственности; когда он заговаривал о ком-нибудь из особ, как он говорил, «le beau sexe»,^[19] в его тоне появлялись цинизм и пресыщение; однако он был достаточно хорошо воспитан, чтобы слишком уж часто затрагивать темы, мне нежелательные, и был действительно умен и любил побеседовать на предметы интеллектуальные — так что мы всегда с ним находили, о чем поговорить. Мне неприятно было, как отзывался он о любви; распушенность же я ненавидел всей душой. Он видел, как разнятся наши взгляды, и по молчаливому взаимному согласию мы избегали щекотливых вопросов.

Управляла домом г-на Пеле и курировала кухню его мать, настоящая француженка преклонных лет; когда-то она была красива — по крайней мере, она это утверждала, и я старался ей верить; теперь же мадам Пеле была безобразна, как большинство старух на континенте; возможно, впрочем, что манера одеваться делала ее ужаснее, чем была эта дама на самом деле. Дома она обыкновенно ходила без чепца, со странно всклокоченными седыми волосами; платье она носила редко, заменяя его изрядно потрепанным капотом; ботинкам тоже почти что не случалось бывать на ее ногах — вместо них обычно красовались просторные домашние туфли со стоптанными задниками. Между тем по воскресеньям или в праздники она любила бывать на людях и уж тогда облачалась в сверкающее, из тонкой материи платье, надевала шелковую шляпку, увитую цветами и довольно миленькую шаль.

Мадам Пеле была отнюдь не скверной, брюзгливой старухой, но, напротив, чрезвычайно живым и неутомимым собеседником. Обреталась она дома, как правило, на кухне, словно избегая своего царственного сына, перед которым, по-видимому, благоговейно трепетала. Когда Пеле, бывало, отчитывал ее, то делал это резко и беспощадно; впрочем, он редко себя этим беспокоил.

У мадам Пеле было свое общество, свой круг избранных, которых мне видеть почти не приводилось, потому как принимала она гостей у себя в «кабинете», как называла она каморку при кухне, на пару ступенек выше. На этих-то ступеньках, кстати сказать, я иной раз находил мадам Пеле, сидящей с хлебной доской на коленях и занятой тремя делами одновременно: она обедала, болтала со своей любимицей-горничной и распекала противницу-кухарку; она крайне редко садилась за стол с сыном, а уж насчет того, чтобы показаться у

стола воспитанников — об этом не могло быть и речи. Все эти подробности, конечно, более чем странны для англичанина, однако Бельгия не Англия, и там свои порядки.

Так, уже имея представление об образе жизни мадам Пеле, я был немало поражен, получив от нее приглашение. Однажды на исходе четверга (а день этот всегда считался полупраздником), когда, уединившись в своей комнате, я просматривал огромную стопку тетрадей по латыни и английскому, в дверь постучали, и служанка, передав поклон от мадам Пеле, сообщила, что мадам счастлива будет видеть меня в своей столовой на «goûter»^[20] (что соответствует нашему английскому «tea»).

— Plaît-il?^[21] — произнес я, решив, что, должно быть, ослышался: и поклон и приглашение были столь неожиданны; мне повторили те же слова.

Приглашение я, разумеется, принял и отправился к мадам Пеле. Поднимаясь по лестнице, я гадал, что это вдруг вспало ей на ум. Сына ее дома не было: вечера он обычно проводил в «Grande Harmonie» или в другом каком клубе. И когда я уже взялся за дверную ручку, чтобы пройти в столовую, у меня вспыхнула дикая мысль.

«Надеюсь, она не собирается меня обольщать, — подумал я. — Я слышал, престарелые француженки склонны к странностям такого рода. И „goûter“?.. Обольщение они, наверное, и начинают с трапезы».

Сие предположение вострепёнувшейся фантазии внушило мне ужасную тревогу, и, если б у меня было еще время подумать, я безусловно проигнорировал бы приглашение, припустил бы обратно в свою комнатку и заперся бы в ней.

Небо праведное! Одного вида мадам Пеле было достаточно, чтобы укрепились мои опасения. Она восседала в светло-зеленом муслиновом платье, в чепце с кружевными оборочками и алеющими в них розами; стол был заботливо накрыт, на нем виднелись и фрукты, и пирожные, и кофе, и бутылка с неясным содержимым. Уже на лбу у меня выступил холодный пот, уже я глянул через плечо на закрытую дверь — как вдруг, к несказанному моему облегчению, я обнаружил вторую особу, сидевшую возле печи в большом кресле.

Это тоже была дама довольно преклонных лет, и настолько толстая и румяная, насколько мадам Пеле была желтая и тощая; наряд

ее был также праздничным, и весенние разноцветные цветы яркой гирляндой окружали ее фиолетовый бархатный чепец.

Едва успел я сделать эти беглые наблюдения, как мадам Пеле выдвинулась мне навстречу грациозной и изящной, как ей, вероятно, представлялось, поступью и проговорила:

— Мсье весьма любезен, что оставил свои занятия по просьбе такой незначительной персоны, как я. Не будет ли мсье столь же добр, что позволит представить ему мою милую подругу мадам Рюте, которая живет по соседству, при пансионе.

«Ага! — подумал я. — Так и знал, что она старуха». Я поклонился и занял место за столом. Мадам Рюте устроилась напротив.

— Как вам у нас в Бельгии, мсье? — спросила она с брюссельским акцентом; тогда я уже прекрасно чувствовал разницу между чистым и ясным парижским произношением мадам Пеле, например, и гортанным выговором фламандцев.

Я отвечал учтиво и с достоинством; мысленно же задавался вопросом, как такая грубая и неуклюжая старуха может управлять пансионом для девиц, в адрес которого я слышал только самые лестные похвалы. И впрямь, тут было чему подивиться. Мадам Рюте с виду скорее казалась жизнерадостной, не стесненной условностями старой фламандской *fermière*^[22] или даже *maîtresse d'auberge*,^[23] чем степенной и грозной директрисой пансиона.

Вообще, на континенте — или, по крайней мере, в Бельгии — престарелые особы позволяют себе такую развязность в манерах, речах, такую небрежность во всем, что наши почтенные *grand-dames* отшатнулись бы от них, как от женщин с дурной репутацией.

Веселый вид мадам Рюте свидетельствовал, что она не исключение в своей стране. Левый ее глаз был горящим и хитрым, правый же она все прикрывала, что казалось мне, в самом деле, весьма странным. После тщетных попыток понять, из каких соображений эти старые забавные создания пригласили меня на *goûter*, я оставил эти усилия и, заранее приговорив себя к какой-нибудь мистификации, сидел, поглядывая то на одну, то на другую, не забывая при этом отдавать должное конфитюрам, пирожным и кофе, которыми был обеспечен в изобилии.

Дамы также вкушали, и с аппетитом отнюдь не вялым; уничтожив добрую порцию сластей, они предложили пропустить по «*petit verre*».

[24] Я отказался; между тем мадам Пеле и Рюте налили себе по стакану очень крепкого пунша и, поставив на столик у печи, передвинули туда свои стулья, дабы устроиться с комфортом, затем пригласили меня присоединиться. Я повиновался. Меня усадили посередке, и в беседе мне приходилось разворачиваться то к мадам Пеле, то к мадам Рюте.

— А теперь поговорим о деле, — сказала мадам Пеле и выступила с тщательно приготовленной речью, которая в переведенном виде примерно такова: она, дескать, искала моего столь приятного для нее общества, чтобы представить дорогой своей подруге мадам Рюте возможность огласить чрезвычайно важное предложение, которое может обернуться к немалой моей выгоде.

— *Pourvu que vous soyez sage*, — добавила мадам Рюте, — *et à vrai dire, vous en avez bien l'air.* [25] Глотните пунша («*ronche*» произнесла она) — после плотной еды это приятно и полезно.

Я вежливо отказался. Она продолжала:

— Я чувствую, — и она с важным видом прихлебнула пунша, — я глубоко чувствую всю значительность поручения, доверенного мне любезной дочерью, — вы ведь знаете, мсье, что моя дочь управляет заведением в соседнем доме.

— О! Я склонен был считать его вашим, мадам. — Тут я, однако, припомнил, что называли его пансионом «*мадемуазель Рюте*», а не «мадам».

— Я?! О нет! Я веду хозяйство и присматриваю за прислугой, как дорогая мадам Пеле в доме мсье Пеле, своего сына, — только и всего. Ха! вы уж решили, что я даю уроки в классе, да?

И она долго и оглушительно хохотала, словно эта мысль ужасно расщекотала ее воображение.

— Мадам не права и напрасно смеется, — заметил я. — Если она и не дает уроки, то, несомненно, не потому, что не может. — И я извлек из кармана беленький платочек и с французским изяществом обмахнулся им, одновременно слегка поклонившись.

— *Quel charmant jeune homme!* [26] — пропела мадам Пеле низким голосом.

Мадам Рюте — не столь утонченная, ибо была фламандкой, а не французенкой, — снова расхохоталась.

— Боюсь, опасный вы человек, — сказала она, отсмеявшись, — если можете выдумывать подобные комплименты, и Зораида уж точно

будет вас избегать. Но если вы будете хорошо себя вести, я сохраню вашу тайну и не скажу ей, как лихо вы умеете подольститься. Ну а теперь послушайте, какого рода у нее предложение. Она наслышана о вас как о превосходном учителе — а в свою школу она приглашает только лучших (car Zoraïde fait tout comme une reine, c'est une véritable maîtresse-femme^[27]), и сегодня она поручила мне пойти и разузнать у мадам Пеле, нельзя ли вас нанять. Зораида осторожный генерал, и никогда не выступит, не разведав заранее местности. Вряд ли она была б довольна, узнав, что я почти что выдала вам ее намерения; она не дала мне указаний заходить так далеко, но я решила, что ничего страшного, если вы будете во все посвящены, да и мадам Пеле была того же мнения. Только осторожно, не выдайте нас Зораиде — моей дочери то бишь; сама она такая строгая, что не понимает, как это другие находят удовольствие в том, чтобы малость посплетничать...

— C'est absolument comme mon fils!^[28] — воскликнула мадам Пеле.

— Как изменился мир с тех пор, когда мы были еще юными! — подхватила вторая. — У молодых теперь головы стариков. Однако вернемся к делу, мсье. Мадам Пеле намекнет своему сыну, что вы могли б давать уроки в школе моей дочери, а тот переговорит с вами; и тогда завтра вы придете к нам, спросите мою дочь и представите все так, будто впервые услышали об этом от мсье Пеле, — и, разумеется, ни в коем случае не упоминайте меня, а то Зораиде это не понравится.

— Bien, bien! — остановил я мадам Рюте, поскольку вся эта болтовня мне уже порядком надоела. — Я посоветуюсь с господином Пеле, и все будет так, как вам угодно. А теперь позвольте откланяться, сударыни, я бесконечно вам признателен.

— Comment! Vous en allez déjà? — вскричала мадам Пеле. — Prenez encore quelque chose, Monsieur: une pomme cuite, des biscuits, encore une tasse de café?^[29]

— Merci, merci, Madame — au revoir.^[30] — И, попятившись, я выбрался наконец из столовой.

Вернувшись к себе, я воспроизвел в памяти весь разговор. Мне это казалось подозрительно устроенным делом, и старухи эти чуть все не провалили; тем не менее во мне успело разрастись всепоглощающее чувство удовлетворения. Во-первых, в моей жизни должно было появиться какое-то разнообразие — преподавать в другой школе; во-

вторых же, учить юных леди — думал я, занятие, должно быть, очень интересное. Иначе говоря, это обещало стать совершенно необычайным событием в моей жизни. И, глядя на заколоченное окно, я радовался, что наконец попаду в этот таинственный сад и буду созерцать ангелов в их раю.

ГЛАВА IX

Г-н Пеле не мог, конечно, возражать против моих уроков у м-ль Рюте: возможность дополнительного заработка была одним из условий, на которых я поступил к нему. Потому уже на следующий день было оговорено, что я волен работать у м-ль Рюте четыре раза в неделю во второй половине дня.

Уже под вечер я собрался нанести визит самой м-ль Рюте, чтобы обсудить этот вопрос: весь день я был предельно занят и не имел возможности к ней зайти. Помню, собравшись наконец отправиться в соседний пансион, я заколебался: не сменить ли мне каждодневное облачение на что-нибудь понаряднее. В конце концов я решил, что это излишний труд. «Она наверняка холодная и чопорная старая дева, — подумал я. — Раз она дочь мадам Рюте, то уж всяко отсчитала добрых сорок годков; а будь это и не так, будь она молодой и милой — я все равно не красавец, и никакие наряды меня им не сделают. Так что пойду в чем есть».

Проходя же мимо туалетного столика, я покосился на свое отражение в зеркале. Узкое некрасивое лицо с глубоко посаженными темными глазами под широким лбом, лишенное красок и привлекательности; лицо молодое, но без юношеской живости — в общем, не такое, что способно завоевать любовь леди, не мишень для Купидона.

Очень скоро я уже дернул звонок у входа в пансион м-ль Рюте; через минуту меня впустили, и передо мной протянулся коридор, выложенный попеременно черным и белым мрамором, стены же выкрашены были в подражание полу; через распахнутую стеклянную дверь в конце коридора я увидел обсаженную кустиками лужайку в солнечном сиянии мягкого весеннего вечера (была тогда середина апреля).

Так я впервые заглянул в тот сад — и заглянул лишь мельком: привратница, утвердительно ответив на вопрос, у себя ли ее госпожа, раскрыла двери справа и, пригласив меня войти в комнату, закрыла за мной. Я очутился в гостиной с красивым, блестящим крашеным полом; кресло и софа в белых драпировках, облицованный зеленым

изразцом камин, на стенах картины в золоченых рамах, золотые часы с маятником и разные украшения на каминной полке, большая люстра, зеркала, тонкие шелковые занавеси; наконец, красивый стол в центре комнаты завершал собою эту беглую опись. Все здесь было красиво и сверкало чистотой — однако неминуемо вселило бы в меня уныние, если б через вторые двери, двухстворчатые, широко раскрытые, не виднелась другая комната, поменьше, но более уютная и приятная глазу. Комната эта была устлана ковром, в ней помещались пианино, кушетка, шифоньер. Но что привлекло мое внимание — это высокое окно с малиновой занавесью, которая, будучи отдернута, позволила еще раз увидеть сад сквозь огромные чистые стекла, обрамленные снаружи листьями плюща и усиками виноградной лозы.

— Monsieur Creemsvort, n'est ce pas?^[31] — раздался голос у меня за спиной и, вздрогнув от неожиданности, я обернулся.

Я так увлекся рассматриванием этой маленькой комнаты, что не заметил, как в соседней появился человек. Это была, однако, м-ль Рюте, чей голос я только что слышал и которая стояла совсем близко от меня. Я поклонился, вмиг обретя sang-froid^[32] — ибо смутить меня было не так-то легко, — и завел разговор, начав с того, сколь чудесна эта комнатка и какое преимущество имеет м-ль Рюте перед г-ном Пеле, владея столь замечательным садом.

— Да, — ответила она, — мы часто так думали. Знаете, мсье, только мой сад и удерживает меня в этом доме; если б не он, я уже давным-давно переехала бы туда, где попросторнее; но, вы ж понимаете, я не могу забрать его с собой, а другой такой мне едва ли удастся сыскать.

Я согласно кивнул.

— Но вы ведь его еще не видели, — сказала она. — Пройдемте к окну.

Я последовал за ней; м-ль Рюте распахнула окно, и я, облокотившись на подоконник, смог обозреть те заповедные земли, что прежде рисовало мне воображение. Я увидел достаточно протяженный, с любовью возделанный участок земли, аллею, окаймленную старыми, развесистыми фруктовыми деревьями, в центре нечто вроде клумбы — цветник с розовыми кустами и цветочным бордюром и, наконец, в дальнем конце сада — свободно посаженные кусты сирени, золотого дождя и акации.

Как умиляла взор эта картина — ведь мне долго не доводилось видеть никаких садов. Налюбовавшись вдоволь деревьями, заботливо ухоженными клумбами и кустиками с набухшими бутонами, я обратил взор на хозяйку — и не торопился его отвести.

Я ожидал встретить высокую, сухопарую, пожелтелую особу монашеского вида в черном, с туго подвязанным под подбородком белым чепцом; между тем рядом стояла маленькая, с округлыми формами женщина; была она явно старше меня, но я решил, что ей не больше двадцати шести или семи; голова была непокрыта, красивые каштановые волосы уложены локонами; черты ее не казались ни миленькими, ни очень нежными, ни безупречно правильными, однако ни в коей мере не были некрасивыми, и я даже склонен был считать их выразительными.

Какое же впечатление вызывали ее черты? Ума? Прозорливости? Да, пожалуй, — впрочем, тогда я не мог еще этого утверждать. Милее всего были безмятежная ясность глаз и свежесть лица. Щеки напоминали крепкое наливное яблоко с сердцевинкой, столь же здоровой и чистой, как и румяная кожаца сверху.

Мы заговорили о деле. М-ль Рюте сказала, что не совсем уверена в мудрости шага, который намерена предпринять, ибо я слишком молод и родители могут возражать против такого учителя для своих дочерей.

— Впрочем, опыт показывает, что лучше действовать по собственному усмотрению, — продолжала она, — нежели идти на поводу у родителей учениц. Пригодность учителя не зависит от возраста; а судя по тому, что я слышала о вас и что мне привелось наблюдать самой, — я бы гораздо больше доверяла вам, нежели мсье Ледрю, учителю музыки, хотя он женат и ему уже под пятьдесят.

Я отвечал, что надеюсь, она найдет меня достойным столь высокого мнения обо мне (насколько я знал себя, я не способен был обмануть любое оказанное мне доверие).

— Du reste, ^[33] — добавила она, — у нас строгий надзор. И она перешла к обсуждению частных моментов.

Предусмотрительная, медлительно-осторожная, она не сразу определила мне жалованье, а попыталась вывести мои ожидания на этот счет; и когда ей так и не удалось что-либо из меня вытянуть, она

рассудила — с быстрой, но спокойной многоречивостью — назначить мне пятьсот франков в год; не слишком много, но я согласился.

Еще не успели мы завершить эти переговоры — стало смеркаться. Я не торопился уходить, мне нравилось сидеть и слушать ее речь. Я, признаться, изумлен был такого рода деловитостью. Эдвард не казался мне настолько практичным, хотя настойчивости и грубости в нем было предостаточно. У м-ль Рюте находилось столько всяких доводов, столько объяснений; и кроме всего прочего, ей удалось утвердиться в моих глазах как человеку совершенно беспристрастному и даже великодушному.

Наконец разговор наш подошел к концу: тема была исчерпана, меня во все посвятили, и м-ль Рюте совершенно ни к чему было попусту упражнять язык. Мне следовало откланяться. Я посидел бы, пожалуй, чуть подольше: что ждало меня в маленькой одинокой каморке? А здесь глаза наслаждались, видя м-ль Рюте, особенно теперь, когда в неясном сумеречном свете черты ее смягчились, и я любовался открытым благородным лбом и ртом, нежным и в то же время четко очерченным.

Поднявшись, я протянул ей руку, хотя и знал, что это идет вразрез с их иностранным этикетом. Она улыбнулась и сказала:

— Ah! c'est comme tous les Anglais!^[34] — однако с теплотой подала мне руку.

— Это привилегия моей страны, мадемуазель, — ответил я, — и помните: я всегда буду на нее претендовать.

Она легко рассмеялась, очень добро и с тем особенным спокойствием, что наблюдалось у нее во всем, — спокойствием, которое умиротворяло меня и было по нраву (по крайней мере, так думал я в тот вечер).

Когда я вышел на улицу, Брюссель показался самым благоприятным для меня местом на свете; чудилось, будто путь мой, светлый, насыщенный событиями и уходящий далеко ввысь, уже открывается предо мной — в этот мягкий, тихий апрельский вечер. Столь впечатлительное существо человек! — во всяком случае, таким я был в те дни.

ГЛАВА X

На следующий день утренние уроки в школе г-на Пеле тянулись нестерпимо медленно; я ждал, когда снова смогу отправиться в соседний пансион и провести первый урок в этой чудесной стране, ибо показалась она мне и впрямь прекрасной. В полдень полагался часовой перерыв в занятиях, в час пополудни был ленч — все это скрасило мое ожидание, — и наконец церковный колокол глубокими, размеренными ударами возвестил два часа.

Спустившись по узкой черной лестнице, что вела из моей комнаты, я встретил г-на Пеле.

— Comme vous avez l'air rayonnant! — воскликнул он. — Je ne vous ai jamais vu aussi gai. Que s'est-il donc passé?^[35]

— Apparemment que j'aime les changements,^[36] — ответил я.

— Ah! je comprends — c'est cela; soyez sage seulement. Vous êtes bien jeune — trop jeune pour le rôle que vous allez jouer; il faut prendre garde — savez-vous?^[37]

— Mais quel danger y a-t-il?^[38]

— Je n'en sais rien; ne vous laissez pas aller à de vives impressions — voilà tout.^[39]

Я засмеялся; радостное возбуждение охватило меня при мысли, что «vives impressions» у меня, похоже, уже возникли; ежедневная пустота и однообразие жизни доселе были мне уделом. Воспитанники г-на Пеле в форменных блузах никогда не будоражили во мне «vives impressions» — разве что порой вызывали гнев.

Я скоро отделался от г-на Пеле и, пока шел по коридору, слышал вслед характерные смешки — чисто французские, ехидные и даже непристойные.

Как и накануне, я остановился перед соседней парадной дверью, позвонил и вскоре оказался в красивом, опрятном коридоре с чистыми, отделанными под мрамор стенами. Вслед за привратницей я прошел по коридору, спустился на ступеньку и, повернув, очутился в другом коридоре; сбоку открылась дверь, и появилась маленькая, грациозная фигурка м-ль Рюте. Теперь я увидел ее при дневном свете; скромное, но изящное, из тонкой шерсти платье делало совершенной ее

компактную округлость; кружевные манжеты и маленький воротничок, аккуратные французские ботинки довершали это впечатление. Но каким строгим было ее лицо, когда она подошла ко мне! Во взгляде, да и во всем облике, сквозила деловитость, директриса казалась едва ли не суровой. Ее «Bonjour, Monsieur» было предельно учтивым, но таким спокойным, таким банальным — и, надо сказать, на мои горячие «vives impressions» оно легло холодным, мокрым полотенцем.

С появлением хозяйки привратница вернулась к себе, и я медленно пошел по коридору рядом с м-ль Рюте.

— Сегодня мсье даст урок в первом классе, — сказала она. — Вероятно, лучше всего начать с диктанта или чтения, поскольку это простейшие способы проведения подобного урока, а в первый раз, естественно, учитель чувствует себя скованно.

Она была абсолютно права — это я знал уже по опыту, — и я выразил согласие. Дальше мы продвигались в молчании. Коридор заканчивался большим, прямоугольным и высоким холлом. Стеклянная дверь с одной стороны вела в длинную и узкую столовую с буфетом, столами и двумя светильниками — там не было ни души. Огромные двери напротив, тоже стеклянные, выходили в сад. И оставались еще большие, двухстворчатые тяжелые двери, закрытые, и ведущие, несомненно, в классы.

М-ль Рюте искоса посмотрела на меня, дабы удостовериться, что я вполне сосредоточился и меня можно ввести в ее святая святых. Надо полагать, вид мой директрису удовлетворил: она открыла двери — и вот мы были уже в классе.

Наше появление ознаменовалось пробежавшим по классу шорохом — ученицы нас приветствовали. Не глядя по сторонам, я сразу прошел между рядами скамей и парт к отдельно стоящему столу на возвышении (площадке на ступеньку выше уровня пола) против одной половины класса; другая половина оставалась под надзором *maîtresse*,^[40] место для которой было на соседнем возвышении. Позади, на разборной перегородке, отделяющей этот класс от соседнего, висела большая деревянная доска, черная и блестящая; на столе лежал толстый кусок мела — для удобства объяснения каких-либо правил, — а рядом с ним влажная губка — для уничтожения записей, когда объяснения мои достигнут цели.

Прежде чем обратить взгляд на скамьи передо мной, я внимательно, не спеша, осмотрел свое место; подержал мел, поглядел на доску, потрогал губку (в нужном ли она состоянии); и вот когда я обрел полнейшую невозмутимость, я воззрился на класс. Первое, что я обнаружил, — м-ль Рюте уже исчезла, ее нигде не было видно; *maîtresse*, словно оставшись за мною присматривать, занимала соседнее возвышение; особа эта сидела немного в тени, а я был близорук — тем не менее я различил, что она худа и угловата, с бледным одутловатым лицом и каким-то сальным видом, со взглядом притворно-апатичным.

Гораздо более яркими, рельефными, прекрасно освещенными за счет большого окна были сидевшие на скамьях ученицы, из которых одни были четырнадцати-, пятнадцати- или шестнадцатилетние, другие же, как мне показалось, приближались к двадцати. Все были в очень скромной одежде, с незамысловато убранными волосами; у и многих милые, румяные, цветущие лица, большие блестящие глаза, развитые и упругие формы. Я не смог стоически вынести такого зрелища; ослепленный, я опустил глаза и голосом натянуто низким произнес:

— Prenez vos cahiers de dicté, Mesdemoiselles. ^[41]

Не так велел я когда-то мальчикам г-на Пеле достать книжки! Раздалось шебуршание, и застучали крышки парт, мигом скрыв от меня головки склонившихся за тетрадами девушек. Тут я услышал шепот и хихиканье.

— Eulalie, je suis prête à pâmer de rire! ^[42] — сообщила одна.

— Comme il a rougi en parlant! ^[43]

— Oui, c'est un véritable blanc-bec. ^[44]

— Tais-toi, Hortense, — il nous écoute. ^[45]

На этом крышки парт опустились, и головки показались снова. Я заметил трех шептуний и не постеснялся одарить их строгим взглядом, когда эти светила появились после недолгого затмения. Удивительно, какую раскованность и храбрость внушили мне их дерзкие реплики; до этого я благоговел перед ними при мысли, что эти юные создания в темной, словно монашеской одежде немного похожи на ангелов. Приглушенное хихиканье, их наглый шепот освободили меня от этого излишне оптимистического и в то же время стесняющего образа.

Троица эта сидела как раз против меня, у самого стола, и относилась к той части класса, что выглядела довольно взросло. Имена их я узнал после, но, опередив повествование, назову теперь: Элалия, Гортензия и Каролина.

Элалия была высокая, белокурая девушка очень красивой наружности; черты ее были в духе местной Мадонны — я видел не одно нидерландское «figure de Vierge»,^[46] точь-в-точь похожей на эту девицу. В лице ее и во всем облике не было ничего ангельского; ни мысли, ни чувства, ни страсти не тревожили ее черт, не вспыхивали румянцем на бледной чистой коже; только величественная грудь, которая равномерно вздымалась и опускалась, да глаза были единственными признаками жизни в этой большой, красивой восковой фигуре.

Гортензия была немного поменьше ее ростом, девица статная, но без грации; лицо впечатляло, будучи подвижнее и ярче, чем у Элалии; волосы у нее были темно-каштановые, цвет лица живой и свежий, глаза играли озорством и весельем; возможно, ей и были свойственны постоянство и рассудительность, но ничего подобного в чертах ее не отражалось.

Каролина представляла собой миниатюрную, хотя явно уже не маленькую особу; волосы цвета воронова крыла, очень темные глаза, безукоризненно правильные черты и бледная, смугловатая, без малейшего румянца кожа, чуть оттененная у шеи, составляли ту совокупность деталей, в которой многие находят совершенную красоту. Как, с блеклой кожей и холодной, классической безупречностью черт, ей удавалось казаться чувственной — не знаю. Наверное, ее глаза и губы сговорились между собой, и результат этого сговора не оставлял сомнений в сущности их хозяйки. Тогда она казалась чувственной, а лет через десять стала бы вульгарной — на лице ясно читалась перспектива многих бесшабашеств в будущем.

Когда я в упор посмотрел на этих девушек, они нимало не смутились. Элалия, устремив на меня неподвижный взгляд, казалось, ожидала — пассивно, но настороженно — невольной дани ее колдовским чарам. Гортензия посмотрела на меня весьма самоуверенно и, посмеиваясь, проговорила с бесстыдной непринужденностью:

— Ditez-nous quelque chose de facile pour commencer, Monsieur.^[47]

Каролина же потрянула небрежными локонами густых, своенравных волос и сверкнула глазами; губы ее, полные, как у горячего марона,^[3] приоткрылись, обнажив ровные, сверкающие зубки, и Каролина подарила мне улыбку «de sa façon».^[48] Прекрасная, как Паулина Боргезе,^[4] в эту минуту она казалась едва ли целомудреннее Лукреции Борджиа.^[5] Происходила Каролина из благородной семьи, но, когда я прознал о некоторых особенностях ее мамы, то перестал удивляться столь скороспелым достоинствам дочери.

Я сразу понял, что эти три девицы мнили себя королевами пансиона и не сомневались, что своим блеском затмевают всех остальных.

Менее чем за пять минут я проник в их натуры и тут же надел латы стального равнодушия и опустил забрало бесчувственной строгости.

— Приготовьтесь писать, — сказал я таким сухим, бесцветным голосом, будто обращался к Жюлю Вандеркелкову и К°.

Диктант начался. Три описанные уже красотки то и дело прерывали меня глупыми вопросами и неуместными замечаниями, одни из которых я пропускал мимо ушей, на другие же отвечал лаконично и невозмутимо.

— Comment dit-on point et virgule en Anglais, Monsieur?

— Semi-colon, Mademoiselle.

— Semi-collong? Ah, comme s'est drôle!^[49] (Смешок.)

— Semi-colon, мадемуазель.

— Semi-collong?

— J'ai une si mauvaise plume — impossible d'écrire!^[50]

— Mais, Monsieur — je ne sais pas suivre — vous allez si vite.^[51]

— Je n'ai rien compris, moi!^[52]

Постепенно поднялся многоголосый ропот, и maîtresse, впервые разомкнув уста, изрекла:

— Silence,^[53] Mesdemoiselles!

Тишины, однако, не последовало — напротив, три леди в центре заголосили:

— C'est si difficile, l'Anglais!^[54]

— Je déteste la dictée!^[55]

— Quel ennui d'écrire quelque chose que l'on ne comprend pas!^[56]

Другие засмеялись; беспорядки начали распространяться по всему классу, и требовалось немедленно принять меры.

— Donnez-moi votre cahier,^[57] — сказал я Элалии довольно резко и, перегнувшись через стол, забрал тетрадку, не дожидаясь, пока мне ее дадут.

— Et vous, Mademoiselle — donnez-moi le vôtre,^[58] — обратился я уже мягче к бледной некрасивой девушке, которая сидела в первом ряду другой половины класса и которую я уже отметил как самую некрасивую, даже безобразную, но притом самую внимательную ученицу.

Она встала, подошла ко мне и с легким реверансом подала тетрадь. Я просмотрел обе работы. Диктант Элалии был написан неразборчиво, с помарками и полон глупейших ошибок. У Сильвии же (так звали ту некрасивую девочку) работа была выполнена аккуратно — никаких серьезных ошибок не было, лишь несколько мелких погрешностей. Я с бесстрастным видом прочитал оба диктанта вслух, останавливаясь на ошибках, затем посмотрел на Элалию.

— C'est honteux!^[59] — произнес я и спокойно порвал ее работу на четыре части, после чего вручил Элалии.

Сильвии я возвратил тетрадь с улыбкой и сказал:

— C'est bien; je suis content de vous.^[60]

У Сильвии на лице появилась сдержанная радость; Элалия же надулась, как разгневанный индюк. Как бы там ни было, мятеж был подавлен: самонадеянное кокетство и тщетный флирт первой скамьи сменились зловещим молчанием; это вполне меня устроило, и оставшаяся часть урока прошла без заминок.

Звонок, донесшийся со двора, объявил об окончании занятий. Почти одновременно я услышал звонок в школе г-на Пеле и, сразу за ним, в общем коллеже неподалеку. Порядок в классе мгновенно нарушился: все посрывались с мест. Я схватил шляпу, поклонился maîtresse и поспешил покинуть класс, пока туда не влился поток воспитанниц из смежной комнаты, где их наверняка содержалась сотня, — я уже слышал их шевеление и возгласы.

Только я пересек холл и проникнул в коридор, навстречу мне снова вышла м-ль Рюте.

— Задержитесь ненадолго, — попросила она, не закрывая двери, и мы зашли в комнату.

Это была *salle-à-manger*,^[61] судя по тому, что часть обстановки в ней составляли буфет и *armoire vitrée*^[62] со стеклянной и фарфоровой посудой. Едва успела м-ль Рюте закрыть дверь, как коридор заполнили приходящие ученицы, которые срывали с деревянных вешалок свои плащи, капоры и сумочки; время от времени раздавался визгливый голос *maîtresse*, что безуспешно силилась навести какой-то порядок. Я подчеркиваю «безуспешно», ибо дисциплины в этих буйных массах не было и в помине, хотя заведение м-ль Рюте слыло одной из лучших школ в Брюсселе.

— Итак, первый урок вы провели, — начала м-ль Рюте совершенно спокойным, ровным голосом, будто не сознавая, от какого хаоса отделяет нас всего лишь стена. — Вы довольны ученицами или же что-либо в их поведении заставит вас пожаловаться? Ничего не скрывайте, вы можете мне полностью доверять.

Я же, однако, чувствовал в себе достаточно сил, чтобы совладать со строптивыми ученицами без посторонней помощи; очарованность, золотой туман в голове, что лишили меня поначалу ясности мысли, большей частью рассеялись. Не могу сказать, будто был я огорчен и подавлен контрастом между неясным образом этого пансиона в моем воображении и тем, чем оказался он в действительности; я был выведен из заблуждения и даже позабавлен — следовательно, вовсе не был расположен жаловаться м-ль Рюте и потому на призыв к откровенности ответил улыбкой.

— Тысячу благодарностей, мадемуазель, все прошло очень гладко. Она посмотрела на меня с большим сомнением.

— Et les trois demoiselles du premir banc?^[63]

— Ah! tout va au mieux!^[64] — был мой ответ, и м-ль Рюте больше об этом не расспрашивала; но глаза ее — не огромные, не сверкающие, не трогательные или воспламеняющие, но умные, цепкие, пронизывающие — показывали, что она прекрасно поняла меня; на миг они вспыхнули, словно сказав: «Что ж, скрывайте, сколько хотите, мне безразлична ваша искренность: все, о чем вы умалчиваете, я и так уже знаю».

Очень плавно и натурально поведение директрисы переменилось, беспокойная деловитость сошла с лица, и м-ль Рюте принялась болтать

о погоде, о городе и по-соседски расспрашивать о мсье и мадам Пеле. Я отвечал ей; она все говорила и говорила, и я следовал за нею по лабиринту разговора; она сидела так долго, говорила так много, так часто меняла тему, что нетрудно было понять: задерживала она меня с особой целью. Простые слова ее не дали мне никакой нити к этой цели — совсем иначе ее лицо; в то время как губы произносили истертые любезности, глаза то и дело обращались на меня. Взглядывала она не прямо, не открыто (хотя и не украдкой), но очень быстро и спокойно. Я не упустил ни единого ее взгляда; я следил за ней так же настороженно, как и она за мной, и скоро догадался, что она прощупывает меня, выискивая сильные и слабые места, выведывая особенности моей природы; она явно рассчитывала в конце концов найти какую-нибудь щель, какую-нибудь ячейку, куда она смогла бы поставить свою маленькую уверенную ножку и, прижав меня, стать владычицей моего внутреннего мира. Не поймите меня превратно, читатель, она отнюдь не добивалась любовной власти — тогда ей требовалось лишь, так сказать, политическое могущество надо мной; я сделался учителем в ее пансионе, и ей необходимо было знать, в чем она меня превосходит и посредством чего может мною управлять.

Мне нравилась эта игра, и я не торопился из нее выйти; иногда я обнадеживал м-ль Рюте, начиная говорить что-либо вяло и неубедительно, и проницательные глаза ее уж загорались: она думала, что наконец поймала меня; и с каким удовлетворением, проведя ее немного по своей дорожке, я внезапно разворачивался и заканчивал фразу с жестким, непоколебимым здравым смыслом, отчего моя собеседница тут же менялась в лице.

Наконец вошла прислуга объявить, что обед подан. Таким образом, противостояние наше как нельзя кстати было нарушено, причем ни одна из сторон не добилась каких-либо преимуществ: м-ль Рюте даже не дала мне возможности ее атаковать, а мне удалось разбить все ее замыслы. Это было настоящее сражение с неясным исходом.

В дверях я снова протянул ей руку, она подала мне свою, маленькую, нежную — и такую холодную! Я устремил глаза на Зораиду, требуя ответного, открытого взгляда; последняя эта проверка была не в мою пользу: я увидел лишь трезвое спокойствие и сдержанность и был разочарован.

«Вот так и становишься мудрее, — размышлял я, возвращаясь в дом г-на Пеле. — Посмотри на эту маленькую женщину — похожа она на женщин из романов и сонетов? Судя по тому, как подана женская натура в поэзии и беллетристике, можно подумать, она сплошь состоит из чувств, и высоких и дурных. Но вот тебе экземпляр — и, надо сказать, весьма характерный и заслуживающий внимания, — чья основная составляющая — чистый рассудок. Талейран не был более бесстрастным, чем Зораида Рюте!» Так думал я тогда; позднее я осознал, что заглушать страсти есть, пожалуй, страсть самая стойкая и сильная.

ГЛАВА XI

Я действительно слишком заговорился с коварным маленьким политиком: по возвращении я обнаружил, что обед уж подходит к концу. Опаздывать к столу было против правил в заведении г-на Пеле, и если б кто-нибудь из наставников-фламандцев явился к столу, когда суп уже унесли и все приступили к следующему блюду, — г-н Пеле непременно отчитал бы этого несчастного при всех и, уж конечно, оставил бы его и без супа, и без второго; теперь же обходительный, но ревностный начальник лишь покачал головой, и, когда я занял свое место и развернул салфетку (при этом я пробурчал под нос свою еретическую молитву), он любезно отослал прислугу на кухню, чтобы тот принес мне тарелку «*pirée aux carottes*»^[65] (ибо день был постный), и, прежде чем убрали первое блюдо, распорядился оставить для меня порцию вяленой рыбы, из которой и состояло второе.

Когда обед закончился, мальчики унеслись играть; Кин и Вандам (наставники-фламандцы), конечно, двинулись за ними. Бедолаги! Если б не были они в моих глазах такими тупоумными, малодушными, такими безразличными ко всему на земле и небесах — я проникся бы к ним безмерной жалостью: ведь они обязаны были всегда и повсюду сопровождать этих несносных мальчишек; однако в данных обстоятельствах я не без самодовольства привилегированной персоны отправился в свою комнату, уверенный, что там меня ожидает если и не развлечение, то, по крайней мере, свобода; но, как это часто бывало и прежде, тем вечером мне не удалось так быстро раскрепоститься.

— *Eh bien, mauvais sujet!* — раздался сзади голос г-на Пеле, когда я уж занес ногу на первую ступеньку. — *Où allez-vous? Venez à la salle-à-manger, que je vous gronde un peu.*^[66]

— Прошу прощения, мсье, что припозднился, — сказал я, последовав за ним в его личную гостиную, — но тут не моя вина.

— Вот об этом мне и хотелось бы узнать, — ответил г-н Пеле, проведя меня в уютную комнату с дровяным камельком (печью они летом не пользовались).

Позвонив, он приказал кофе на двоих, и вскоре мы почти с английским комфортом устроились у камина, между нами стоял

круглый столик, а на нем — кофейник, сахарница и две большие белые фарфоровые чашки. Пока г-н Пеле был занят тем, что выбирал себе сигару из коробки, мысли мои обратились к двоим учителям-париям, чьи голоса слышались и теперь: бедняги взывали к порядку на школьном дворе.

— C'est une grande responsabilité, que la surveillance,^[67] — заметил я.

— Plaît-il?^[68] — отозвался г-н Пеле.

Я сказал, что, надо полагать, г-на Вандама и г-на Кина такие труды порою утомляют.

— Des bêtes de somme, des bêtes de somme,^[69] — пробормотал насмешливо директор.

Я налил ему кофе.

— Servez-vous, mon garçon,^[70] — сказал он ласково, когда я положил в его чашку два огромных куска континентального сахара. — А теперь расскажите-ка, почему вы так долго пробыли у мадемуазель Рюте. Ведь уроки в ее пансионе заканчиваются, как и у меня, в четыре, а сюда вы прибыли уже после пяти.

— Мадемуазель желала побеседовать со мной, мсье.

— В самом деле? А о чем, если позволите?

— Мадемуазель говорила о разных пустяках.

— Благодатная тема! И распространялась она прямо в классе, перед ученицами?

— Отнюдь. Как и вы, мсье, она пригласила меня в гостиную.

— И мадам Рюте — эта старая дуэнья, наперсница моей матушки, разумеется, была там?

— Нет, мсье. Я удостоился чести быть наедине с мадемуазель.

— C'est joli — cela,^[71] — улыбнулся г-н Пеле и уставился на огонь.

— Honni soit qui mal y pense,^[72] — произнес я со значением.

— Je connais un peu ma petite voisine, voyez-vous.^[73]

— В таком случае для мсье не составит труда помочь мне выяснить, из каких соображений мадемуазель заставила меня сидеть перед нею битый час и слушать обширный трактат ни о чем.

— Она зондировала ваш характер.

— Так я и решил, мсье.

— Она нашла ваше слабое место?

— А какое у меня слабое место?

— Как! Сентиментальность. Всякая женщина, вонзая свое копье все глубже, наткнется наконец на бездонный источник чувствительности в любой груди, Кримсворт.

Я почувствовал, как кровь во мне забурлила и прилила к щекам.

— Некоторые женщины, возможно, мсье.

— А мадемуазель Рюте не из их числа? Давайте, говорите как есть, *mon fils. Elle est encore jeune, plus âgée que toi peut-être, mais juste assez pour unir la tendresse d'une petite maman à l'amour d'une épouse dévouée; n'est-ce pas que cela t'irait supérieurement?*^[74]

— Нет, мсье, я бы предпочел, чтобы моя жена была женой, а не наполовину моей матерью.

— Значит, для вас она слишком стара?

— Нет, мсье, ничуть — если б она устраивала меня в вещах совсем иного рода.

— А в чем она вас не устраивает, Уильям? По-моему, она хороша.

— Очень. Ее волосы и цвет лица приводят меня в восхищение, и сложение ее, хотя совершенно бельгийское, исполнено изящества.

— Браво! А лицо ее? Черты? Как они вам?

— Немного суровые, особенно рот.

— О да! Ее рот, — подхватил г-н Пеле и хохотнул себе под нос. — В нем чувствуется характер, твердость. Но у нее очень милая улыбка, вы не находите?

— Скорее лукавая.

— Точно, но лукавое выражение идет у нее от бровей — вы обратили на них внимание?

Я отвечал, что нет.

— Значит, вы не видели ее с опущенными глазами?

— Нет.

— А это любопытно, однако. Наблюдать за ней, когда она вяжет либо занята другим каким рукоделием. Она воплощает собою мир и покой, поглощенная своими спицами или иглой и шелком; между тем вокруг нее протекает какой-то разговор о чем-то животрепещущем. Она не участвует в нем, ее непритязательный женский ум — всецело в вязании; ни черточка не дрогнет; она ни улыбнется в знак одобрения, ни нахмурится осуждающе; маленькие ручки усердно выполняют

незамысловатую работу; закончить кошелек или чепец — кажется, предел ее желаний. Стоит мужчине приблизиться к ее стулу — и по чертам ее разливается глубочайший покой, нежнейшая скромность укрывает обычное их выражение. Вот тогда взгляните на ее брови et dîtes-moi s'il n'y a pas du chat dans l'un et du renard dans l'autre. ^[75]

— При первой же возможности украдкой понаблюдаю, — вставил я.

— Потом веки ее затрепещут, — продолжал г-н Пеле, — ресницы вскинутся, и голубые глаза, выглянув из своего укрытия, быстро и изучающе все осмострят и снова спрячутся.

Я улыбнулся, Пеле тоже, и, немного помолчав, я спросил:

— Как вы думаете, она когда-нибудь выйдет замуж?

— Выйдет ли замуж? Спрячтся ли птички? Разумеется, она выйдет замуж — по своему желанию и решению, — когда найдет подходящую партию; а уж она знает лучше чем кто-либо, какое впечатление она способна произвести; она как никто любит без остатка завоевывать мужчин. И пусть я ошибусь, если она еще не оставила следов своих крадущихся лапок в вашем сердце, Кримсворт.

— Ее следов? Еще чего! Мое сердце не доска, чтобы по нему ходили.

— Но разве мягкие прикосновения *patte de velours* ^[76] могут причинить ему вред?

— Никаких *patte de velours* она мне не предлагает; со мной она — воплощение этикета и церемонности.

— Это поначалу; уважение пусть станет фундаментом, привязанность — первым этажом, любовь же над этим надстроится. Мадемуазель Рюте — искусный зодчий.

— А выгода, мсье Пеле, выгода? Неужто мадемуазель Рюте не учтет этот пункт?

— Да, да, несомненно; это будет цементом между камешками. Ну, директрису мы обсудили — а что ученицы? N'y-a-t-il pas de belles études parmi ces jeunes têtes? ^[77]

— Чудные ли у них головки? Во всяком случае, любопытные, я думаю; впрочем, я мало что могу сказать, единожды с ними пообщавшись.

— Ах, вы всегда осторожничаете! Но скажите хотя бы, сконфузились ли вы хоть немного перед этими цветущими юными

созданиями?

— Сначала — да; но я совладал с собой и хладнокровно со всем справился.

— Я вам не верю.

— Однако это так. Сначала я принял их за ангелов — но они не дали мне долго пребывать в заблуждении. Три девицы — из тех, что постарше, и самые красивые — предприняли попытку поставить меня на место и вели себя так, что в каких-то пять минут я раскусил их: это настоящие кокетки (по крайней мере, такими они были на уроке).

— Je les connais! — воскликнул г-н Пеле. — Elles sont toujours au premier rang à l'église et à la promenade; une blonde superbe, une jolie espiègle, une belle brune. ^[78]

— Именно.

— Великолепные созданыя! Все три — натуры для художников; какую группу они б составили! Элалия (я ведь знаю, как их зовут) с гладко уложенными волосами и безмятежным лбом цвета слоновой кости. Гортензия с роскошными каштановыми кудрями, так небрежно сплетенными, увязанными, перекрученными, словно она не знала, что делать с таким их количеством; с губами, как киноварь, и алыми щечками, и шаловливыми, смеющимися глазками. И еще Каролина de Blémont! Ах, вот где красота! Вот где совершенство! Что за облако черных завитков вокруг лица! Что за прелестные губки! Какие восхитительные черные глаза! Ваш Байрон боготворил бы ее, и вы — холодный, бесстрастный островитянин! — вы изображали суровую бесчувственность в присутствии Афродиты столь совершенной!

Я б рассмеялся такой пылкости, такой порывистости директора, если б верил в ее подлинность, — но что-то в его тоне указывало на деланность этих восторгов. Я чувствовал: он изображает такой жар, чтобы вывести меня из себя, лишит самоконтроля; поэтому в ответ я лишь едва заметно улыбнулся. Он же продолжал:

— Согласитесь, Уильям, что просто милая наружность Зораиды Рюте кажется неэлегантной и лишенной красок в сравнении с изумительным шармом некоторых ее воспитанниц?

Вопрос этот меня взволновал, но теперь я четко знал, что мой директор (по своим каким-то причинам — тогда я не мог их уловить) пытается возбудить во мне желания и помыслы, чуждые тому, что

подобаяще и достойно. Его порочное подстрекательство словно одобрило избранное мною противоядие, и когда он добавил:

— Каждая из этих трех прекрасных девиц способна принести огромное счастье; недолго поухаживав, воспитанный, смысленный молодой человек — вроде вас — может сделаться обладателем руки, сердца и состояния любой из этого трио, — я ответил взглядом в упор и недоуменным «Monsieur?», которое словно отрезвило его.

Он натянуто засмеялся, объявил, что это всего только шутка, и спросил, уж не принял ли я и впрямь это всерьез. Тут прозвенел звонок: время отдыха и игр истекло; в тот вечер г-н Пеле собирался читать своим питомцам отрывки из драм и belles lettres.^[79] Не дожидаясь ответа, он встал и удалился, мурлыкая на ходу веселый куплет из Беранже.

ГЛАВА XII

Всякий раз, бывая в пансионе м-ль Рюте, я находил новый повод сопоставить свой идеал с действительностью. Что знал я о женском характере до приезда в Брюссель? Почти что ничего.

Я представлял его чем-то смутным, хрупким, тонким. Теперь же, столкнувшись с ним, я выяснил, что это очень даже осязаемая материя, порою слишком жесткая и часто тяжелая; в ней чувствовался металл — и свинец, и железо.

Пусть идеалисты, пусть все мечтающие о земных ангелах, о цветах человеческих заглянут сюда — я открою папку и предложу им парочку из набросков, сделанных мною с натуры во втором классе пансиона м-ль Рюте, где собранные вместе около сотни экземпляров вида «jeune fille»^[80] обеспечили щедрое разнообразие объекта.

Разного сорта они были, разнились и родиной и кастой; восседая на своем помосте и обозревая длинные ряды парт, я видел пред собой француженок, англичанок, бельгиек, австриек и пруссачек. Большинство вышли из буржуа, но немало было и юных графинь, были две генеральские дочки и несколько полковничьих, капитанских, чиновничьих; эти леди сидели бок о бок с юными особами, которым уготовано было стать «demoiselles de magasins»,^[81] и несколькими фламандками, уроженками сей страны. Одежанием все были очень схожи, в манерах же наблюдались некоторые различия; случались, конечно, и исключения из общего правила, однако большинство все же задавало тон всему пансиону, и тон этот был грубый, резкий, полный явного пренебрежения и несдержанности по отношению друг к другу и к учителям; каждый индивид энергично преследовал собственные интересы и был предельно равнодушен к интересам других. Многие ничуть не совестились нагло лгать, когда это сулило им какую-то выгоду. Когда нужно было чего-то добиться, все обнаруживали искусство учтивости — но с непревзойденным мастерством умели в мгновение ока напустить холода, когда временная любезность уже не способствовала профиту. Редко когда вспыхивали между ними открытые ссоры, но злоязычие и сплетни были всегда в ходу. Тесная дружба не допускалась школьными правилами, и, похоже, ни одна

девица не поддерживала ни с кем дружеских отношений, пока полное одиночество не делалось совершенно непереносимым.

Далее, я полагал, что воспитывались все они в неведении греха, и мер предосторожности, чтобы держать их в абсолютной невинности, было в достатке. Как же выходило тогда, что лишь единицы из них, достигнув четырнадцати лет, могли смотреть в лицо мужчине скромно и благопристойно. Смелое, бесстыдное заигрывание или дерзкий, откровенный, плотоядный взгляд чаще всего были ответом на самый бесстрастный взгляд мужских глаз.

Я имею довольно слабое представление о колдовском напитке римского католицизма, и в делах веры я не фанатик — но подозреваю, что источник всей этой преждевременно наросшей грязи, столь очевидной, столь обычной в папистских странах, следует искать в порядках, если даже не в доктринах римской церкви.

Я изобразил, что видел своими глазами: все эти девицы принадлежали к тем слоям общества, что принято считать респектабельными, всех взрастили с нежной заботой — но большая их часть была духовно развращенной.

Пожалуй, для группового портрета этого достаточно — теперь представлю отдельные экземпляры.

Первая картинка — в полный рост Аврелия Козлофф, немецкая Fräulein, вернее, полунемка-полурусская. Ей восемнадцать, в Брюссель отправлена на доучивание; она среднего роста, с длинным туловищем и короткими ногами, с бюстом весьма развитым, но бесформенным; талия чрезмерно сжата немилосердно стянутым корсетом, платье тщательно подогнано по неказистой фигуре, огромные ноги истязаются в маленьких ботинках; голова небольшая, волосы приглаженные, заплетенные и донельзя напomaженные; очень низкий лоб, очень мелкие, мстительные глазки; вообще, в чертах есть нечто татарское: приплюснутый нос, высокие скулы — между тем в целом ансамбль отнюдь не безобразен; довольно приятный цвет лица. Это о наружности. Что же касается внутреннего мира — скверный и прискорбно невежественный; она не способна правильно писать и говорить даже по-немецки, на родном языке, тупица во французском, потуги ее изучать английский начисто бесплодны. В школе сия девица пребывала двенадцать лет; но поскольку все упражнения она обыкновенно списывала у других учениц и всегда отвечала урок по

спрятанной на коленях книжке, неудивительно, что развитие ее шло таким черепашьям ходом.

Не знаю, какова была Аврелия в обиходе, ибо не имел возможности наблюдать ее постоянно, но, судя по состоянию ее парты, книг и тетрадей, я б сказал, что она неряха, даже грязнуха; в одежде ее, как я уже отметил, чувствовался уход, но, оказываясь за скамьей этой девицы, я замечал, что шея у нее серовата и нуждается в мыле, а волосы, блестящие от жира и парфюмерии, — не внушают соблазна их погладить, а уж тем более пропустить сквозь пальцы.

Поведение Аврелии в классе (во всяком случае, на моих уроках) — нечто из ряда вон и некоторым образом показывает степень ее девической наивности. В тот момент, когда я вхожу в класс, она подталкивает локтем соседку и начинает полусдавленно смеяться. Когда я занимаю свое место на возвышении, она вперяет в меня взгляд. Кажется, что она решила привлечь мое внимание и, ежели получится, им завладеть; с этой целью она мечет в меня всевозможные взоры — томные, вызывающие, коварные, смеющиеся. На такого рода артиллерию я оказываюсь неподатлив (ибо нас не соблазняет то, что, совсем непрошеное, щедро навязывается) — и тогда она меняет тактику и начинает производить шумы: она то вздыхает, то постанывает, то выпускает какие-то нечленораздельные звуки, на языке, мне незнакомом. Когда, прохаживаясь по классу, я иду мимо нее, она выпрастывает ногу из-под парты, так чтобы коснуться моей; если я имел неосторожность упустить этот маневр и задеваю ботинком ее brodequin, ^[82] она бьется в конвульсии от с трудом сдерживаемого смеха. Если же я, заметив ловушку, избегаю ее, Аврелия выражает горькое разочарование зловещим бурчанием, сквозь которое я слышу, как меня склоняют на дурном французском с невыносимым нижненемецким акцентом.

Недалеко от м-ль Козлофф сидит другая юная леди, Адель Дронсар. Она бельгийка, низковатая, приземистая, с толстой талией, короткой шеей и такими же конечностями; лицо — кровь с молоком, черты — точеные, правильные; глаза ясно-карие с красивым разрезом, волосы светло-коричневые, зубы добротные; лет ей не более пятнадцати, но сформировалась она уже, как дюжая двадцатилетняя англичанка. Исходя из такого описания, можно представить крепкую, кряжистую, хотя и миловидную девицу, не так ли? Хорошо; когда взор

мой блуждал по рядам юных головок, он обычно задерживался на Адели; пристальный взгляд ее всегда ждал моего.

Неестественен был облик этого существа: такое юное, свежее, цветущее — и с лицом Горгоны. Подозрительный, замкнутый, тяжелый характер читался на лбу ее, порочные склонности — в глазах, зависть и коварство — на губах. Обычно она сидела очень прямо; казалось, массивная ее фигура и не могла сильно наклоняться, а крупная голова, чрезмерно широкая снизу и суженная к темени, весьма охотно поворачивалась на короткой шее. Только два выражения лица имелось в ее арсенале: преимуществом пользовался отталкивающий, неудовлетворенный, хмурый вид, который временами сменялся невообразимо ехидной, предательской улыбкой. Другие девицы ее сторонились, поскольку, даже при скверной натуре, мало кто мог с ней потягаться.

Аврелия и Адель сидели в первом отделении второго класса, лучшей ученицей которого была пансионерка по имени Джуана Триста. В девице этой была смешана бельгийская и испанская кровь; мать ее, фламандка, умерла, отец-каталонец был торговцем и проживал на ***ских островах, где Джуана родилась и откуда была отправлена в Европу учиться. Интересно, нашелся бы такой человек, кто, увидев ее голову и фигуру, с охотой принял бы эту особу под свою крышу? Форма черепа у нее была, точно как у папы Александра VI,^{6} при этом признаков великодушия, почтительности, совестливости, преданности в ее облике почти не проявлялось, а самолюбия, упрямства, вредности и агрессивности чувствовалось несообразно много. Лицо ее, отлогое, как навес над дверьми, у лба сужалось, затылок был излишне выпуклым; черты были, пожалуй, недурные, хотя довольно крупные, и отражали нервический и желчный характер; кожа смуглая и бледная, волосы и глаза черные; фигура угловатая и негибкая, впрочем, пропорциональная; возраст — пятнадцать лет.

Очень уж худенькой Джуана не была, но вид имела вконец изможденный, а взгляд — голодный и яростный; хотя лоб и был узок, на нем вполне хватило места, чтобы четко выгравировались два слова — «Ненависть» и «Бунтарство»; в некоторых других чертах — в глазах, например, — оставила свою монограмму и трусость.

Первые мои уроки м-ль Триста посчитала нужным нарушать непристойным бесчинством — то она носом старалась подражать

лошади, то брызгала слюной, то отпускала грубые выражения. Вокруг нее сидела компания вульгарных, еще более неказистых фламандок, содержащая два-три образчика такого слабоумия и уродства личности, частотность которых в этой стране кажется достаточно веским доказательством того, что климат в ней как нельзя лучше способствует дегенерации человека, и физической и духовной. Вскоре усилиями м-ль Триста, поддерживаемой другими девицами, в классе рассеялось такое безобразие, что я вынужден был приказать ей и двум ее приспешницам встать и, подержав их стоя пять минут, решительно выдворить из класса: сообщниц — в примыкающее к классу помещение под названием «grande salle»,^[83] зачинщицу же я запер в чулане и ключ положил в карман.

Судилище это я произвел в присутствии м-ль Рюте; ее определенно ошеломила расправа, суровее которой в ее заведении доселе не случалось. В ответ на ее испуганный взгляд я посмотрел с хладнокровным спокойствием, затем улыбнулся, чем, возможно, утешил и, уж конечно, смягчил ее.

Джуана Триста прожила в Европе достаточно, чтобы успеть отплатить злобой и неблагодарностью всем, кто когда-либо делал ей добро; затем она отбыла к отцу на ***ские острова, втайне торжествуя, что там у нее будут рабы, которых она еще в пансионе грозилась пинать и бить вволю.

Эти три картины — из жизни. Есть у меня и другие — столь же характерные и малоприятные, но я избавлю читателя от их просмотра.

Вы, вероятно, считаете, что контраста ради я должен показать что-либо очаровательное, какую-нибудь милую девическую головку, окруженную нимбом, какое-нибудь трогательное воплощение невинности, нежно прижимающее к груди голубя мира. Нет, ничего подобного я не встретил и потому не могу вам продемонстрировать.

Обладавшей добрым нравом пансионеркой была совсем юная девица из провинции Луиза Пат; она казалась вполне доброжелательной и любезной, но недостаточно воспитанной, с дурными манерами; чумное пятно лицемерия проступило и на ней, честность и принципиальность для нее не существовали, едва ли она даже слышала о таких понятиях.

Безупречнее же всех, пожалуй, была несчастная маленькая Сильвия, о которой я уже упоминал. Сильвия отличалась мягкостью в

общении и понятливостью, она была даже искренней (насколько это допускалось ее верой); однако физически была далеко не совершенной; слабое здоровье задержало ее развитие и охладило дух; вследствие своих недостатков Сильвии было уготовано прозябание в монастыре, и вся душа ее была уже перекошена на монастырский лад. В пассивности Сильвии, в привитой ей покорности ясно чувствовалось, что девушка безропотно приемлет эту участь и отдаст независимость своих мыслей и поступков в руки какого-нибудь властного духовника. Сильвия не позволяла себе ни собственного мнения, ни собственного выбора подруги или занятия; во всем ею руководили другие. С бледным, апатичным видом она как неживая слонялась весь день, делая то, что ей указывали, — не то, что нравилось ей или что интуитивно считала правильным и нужным. Маленькая, жалкая, будущая монашка рано научилась подавлять свои душевные порывы и сознание, подчиняясь воле духовного наставника. Она была примернейшей пансионеркой у м-ль Рюте — унылое существо, в котором жизнь едва держалась, а душа была опутана римскими чарами.

Учились в этом пансионе и несколько англичанок, которых следует разделить на два вида.

Во-первых, англичанки с европейского континента — дочери, главным образом, потерпевших крах авантюристов, которых долги или бесчестье выгнали из родной страны. Эти несчастные девушки не ведали преимуществ домашнего очага, достойного примера перед глазами и настоящего протестантского воспитания; поучившись несколько месяцев в одной католической школе, потом в другой, пока родители их переезжали с места на место — из Франции в Германию, из Германии в Бельгию, — девицы эти поднабрались скудных знаний и множества скверных привычек, потеряв всякое представление о первоосновах религии и нравственности и усвоив глухое безразличие ко всему истинно человеческому и возвышенному; отличались они замкнутостью и неизменно угнетенным состоянием духа, что вытекало из сломленного чувства собственного достоинства и постоянного страха перед соученицами-католичками, которые ненавидели их как англичанок и презирали как еретичек.

Второй вид — англичанки из Британии. Их я не насчитал бы и полдюжины за все время моей работы в пансионе; характерными их

особенностями были чистое, но небрежное платье, вольно убранные волосы, ровная осанка, гибкий стан, белые тонкие руки, черты скорее неправильные, но с большим признаком ума, нежели у бельгиек; строгий, скромный взгляд, в манерах — национальная благопристойность и сдержанная вежливость (благодаря преимущественно этому обстоятельству я и мог отличить дочь Альбиона и питомицу протестантской церкви от приемыша Рима, протеже иезуитства). Гордость также была в облике этих девушек: подвергавшиеся завистливому осмеянию девиц с континента, они отражали все оскорбления молчаливой надменностью и встречали ненависть строгой любезностью; они остерегались поддерживать с кем-либо дружбу и среди всей массы воспитанниц пребывали в изоляции.

Наставниц, присматривавших за этой разнородной публикой, было три, и все француженки — м-ль Зефирина, Пелажи и Сюзетта. Две последние казались бесцветными во всех отношениях особами; наружность их была заурядной, манеры заурядными, характер заурядным, их чувства, мысли, мнения — все было бледным, ничем не выделяющимся; если б я вздумал посвятить этим двум *maîtresses* отдельную главу, я не смог пролить бы больше света.

Зефирина отличалась от них и обликом и манерой держать себя, но лишь в том смысле, что являла собою истинную парижскую кокетку, вероломную, черствую и расчетливую.

Четвертую *maîtresse*, что ежедневно приходила наставлять девиц в вышивании, вязании и починке кружев или в другом подобном искусстве, я видел лишь мимоходом — когда она сидела в *carré* с пальцами в руках и дюжиной старших пансионеров вокруг, — следовательно, не мог хорошенько за ней понаблюдать; отметил я только, что для *maîtresse* у нее слишком девические черты, хотя и не отталкивающие; присутствие характера я в ней предполагал, однако, не сильного: ученицы ее казались постоянно «*en revolte*»^[84] против ее руководства. Она не жила при пансионе, звали же ее, помнится, м-ль Анри.

Итак, среди собрания всего самого мелкого и испорченного, большей частью злобного и неприглядного (последним эпитетом многие наградили бы двух-трех спокойных, молчаливых, бедно одетых британских девушек) благоразумная, прозорливая, обходительная

директриса сияла, как немеркнущая звезда над болотом, полным блуждающих огоньков. Осознание своего превосходства доставляло ей тайное блаженство и поддерживало над всеми тревогами и неурядицами, неизбежными при ее ответственном положении; от этого настроение ее всегда было ровным, лоб — гладким, а поведение — спокойным. Ей нравилось — кому б не понравилось? — входя в класс, чувствовать, что одного ее присутствия достаточно, чтобы воцарить порядок и тишину, чего никакие требования и даже приказы ее подчиненных сотворить не могли; нравилось отличаться, причем даже контрастно, от тех, кто ее окружал, и знать, что как по внешним данным, так и по интеллектуальным достоинствам она удерживает пальму первенства (три ее *mattresses*, кстати, были некрасивы). Со своими воспитанницами она держалась с величайшей добротой и тактом, всегда беря на себя функции вознаграждающего и панегириста и препоручая подчиненным ненавистный ей труд по части выговоров и наказаний, так что все девицы относились к ней с почтительностью, если не с симпатией; учителя ее не жаловали, но подчинялись, ибо во всем чувствовали себя ниже.

Из приходящих в пансион учителей все так или иначе попадали под ее влияние: над одним она добилась власти, умело воспользовавшись его слабым характером, над другим — деликатным вниманием к мелким капризам, третьего она завоевала лестью, четвертого — человека застенчивого — держала в страхе, напуская на себя строгую решимость.

Меня она пока только наблюдала, еще искушала изощреннейшими способами, блуждая вокруг меня, сбитая с толку, но не сдающаяся. Вероятно, я виделся ей ровной и голой стеной обрыва, где нет ни выступов, ни корней, ни даже кустов травы, что помогли бы взобраться. То она с исключительной осторожностью подольщалась ко мне, то морализировала, то пыталась нащупать во мне корыстолюбие; или изображала себя сдавшейся, зная, что иные мужчины побеждаются слабостью, — или же в разговоре начинала блистать умом, зная, что другие мужчины падки на это. Мне казалось легким и вместе с тем приятным ускользать от этих уловок; как было мило — когда она думала, что я у нее в руках, — вдруг улыбнуться полунасмешливо ей в глаза и затем засвидетельствовать в ее облике едва прикрытое, хотя и безмолвное разочарование. Тем не менее она

была настойчива, и наконец, смею утверждать, тщательнейше ощупав ларчик, она дотронулась до потайной пружины; в мгновение крышка откинулась, и Зораида потянулась за спрятанной там драгоценностью; украла она ее, разбила или же крышка захлопнулась, больно ударив по пальцам, — читайте дальше и узнаете.

Случилось так, что однажды я пришел на урок нездоровым — я простыл и ужасно кашлял; проговорив два часа, я охрип и смертельно устал; покинув наконец класс, в коридоре я встретил м-ль Рюте; с обеспокоенным видом она заметила, что я выгляжу бледным и разбитым.

— Да, — отвечал я, — я простудился.

Тогда, с мгновенно возросшим интересом, она сказала:

— Вы не уйдете, пока не отдохнете немного.

Она отвела меня в гостиную, и все время, что я там находился, была предельно доброй и мягкой.

На следующий день директриса была ко мне еще внимательнее; она явилась самолично проверить, закрыты ли окна и нет ли сквозняка; с дружеской озабоченностью она увещевала меня не перетруждаться; когда же я уходил, она первая подала мне руку, и мягким, почтительным рукопожатием я выразил свое удовольствие и благодарность. Это скромное изъяснение чувств вызвало у нее легкую улыбку, и я едва ли не был очарован.

Весь вечер я сгорал от нетерпения, желая, чтоб скорее наступил завтрашний день и тот час, когда я снова смогу ее увидеть.

И я не обманулся в ожиданиях: на следующий день м-ль Рюте весь урок просидела в классе, поглядывая на меня с большой теплотой.

В четыре она вместе со мной вышла из класса и, с волнением осведомившись о моем самочувствии, принялась мягко меня бранить: дескать, говорю я слишком громко и излишне себя перегружаю. Я остановился у стеклянной двери, что вела в сад, дабы дослушать увещевания м-ль Рюте до конца; дверь была открыта, день выдался ясный, и, слушая ласкающую самолюбие речь директрисы, я смотрел на залитый солнцем сад, цветы и преисполнялся счастьем.

Приходящие ученицы потекли из классов в коридор.

— Не будет ли вам угодно ненадолго пройти в сад, — предложила м-ль Рюте, — подождать, пока они разойдутся.

Я сошел по ступенькам и, полуобернувшись, спросил:

— Вы присоединитесь?

В следующую минуту мы с директрисой шли по аллее, обсаженной фруктовыми деревьями, которые были усыпаны белыми цветками и нежными зелеными листочками. Небо было безоблачно, воздух неподвижен, и майский день полон красок и благоухания.

Выбравшийся из душного класса, посреди цветов и зелени, с милой, приветливо улыбающейся спутницей — о, я чувствовал себя в очень завидном положении! Казалось, романтические видения, навеянные этим садом, еще когда он ревностно скрыт был от меня заколоченным окном, реализовались в полной мере; и когда изгиб аллеи скрыл нас от посторонних глаз и высокие кусты, поднимавшиеся вокруг амфитеатром, отгородили нас от дома г-на Пеле и прочих соседних строений, я подал руку м-ль Рюте и повел ее к садовой скамейке, укрытой нависающей над ней цветущей сиренью.

Зораида села, я устроился подле нее. Она продолжала говорить с непринужденностью и простотой, и, слушая ее, я вдруг поймал себя на том, что уж почти в нее влюблен.

Послышался звонок на обед — и в ее пансионе, и у г-на Пеле, — посему нам предстояло расстаться; она собралась было уходить, но я задержал ее.

— Мне чего-то недостает, — сказал я.

— Чего же? — простодушно спросила она.

— Всего лишь веточки сирени.

— Так отломите — хоть двадцать, если вам угодно.

— Нет, достаточно одной, но отломить должны ее вы и отдать мне.

— Какой, однако, каприз! — воскликнула она, но тем не менее привстала на цыпочки и, выбрав прекрасную ветку сирени, грациозно преподнесла мне.

Я взял сирень и, откланявшись, удалился, преисполненный удовлетворенностью настоящим и надеждами на будущее.

Тот благословенный майский день сменился лунной ночью, уже по-летнему теплой и тихой. Я хорошо это помню, ибо, засидевшись допоздна над тетрадками, утомленный и несколько угнетенный теснотой каморки, я раскрыл уже знакомое читателю окно (я убедил мадам Пеле снять с него доски, когда заступил на должность учителя

женского пансиона: теперь для меня не считалось «inconvenant»^[85] смотреть, как развлекаются мои ученицы).

Я сел на подоконник и выглянул; надо мною простиралось бездонное ночное небо; щедрая луна заливала своим сиянием трепетные звезды; внизу лежал освеженный вечерней росой сад, где серебристые отсветы перемежались глубокими тенями; закрывшиеся на ночь цветки фруктовых деревьев источали благословенный аромат; ни листок не шевелился — ночь была безветренной.

Окно мое смотрело прямо на любимую аллею м-ль Рюте, «l'allée défendue»,^[86] как ее называли, потому что пансионеркам воспрещалось там гулять по причине ее близкого расположения к школе для мальчиков. Здесь сирень и золотой дождь разрослись особенно густо, образуя самый укромный уголок сада и скрывая скамейку, где совсем недавно сидел я подле молоденькой директрисы.

Стоит ли говорить, что мысли мои были устремлены к ней, когда сквозь решетчатый ставень я блуждал взором то по ночному саду, то по многооконному фасаду ее дома, белевшего во мраке.

«Интересно, где расположены ее комнаты», — думал я, и одинокий свет, проникавший сквозь persiennes^[87] одного из croisées,^[88] словно ответил на мой вопрос.

«Долго она бодрствует, — подумал я, — ведь, должно быть, уж около полуночи. Восхитительная женщина! — рассуждал я сам с собою. — Образ ее надолго остается в памяти; знаю, она не из тех, кого называют хорошенькими, — но это не важно, ведь в ее облике есть гармония, и мне это нравится; ее каштановые волосы, голубизна глаз, свежесть щек, белизна шеи — все созвучно моему вкусу. К тому же я ценю ее дарования. Одна мысль жениться на кукле или дурочке всегда меня ужасала: не сомневаюсь, что хорошенькая куколка, красивая пустышка хороши лишь на медовый месяц, но когда страсть остынет — как жутко обнаружить в себе вместо сердца свечной огарок, а в объятиях — недалекую особу и вспомнить, что сделал ее себе ровней — нет, своим идолом — и что остаток этой смертельно скучной жизни ты должен влачить бок о бок с существом, неспособным понять твои слова, почувствовать, что у тебя в душе, и сопереживать с тобою! А Зораида Рюте, — продолжал я, — с характером, тактом, рассудительностью и благоразумием; может ли быть она без сердца? Что за улыбка, такая добрая, простая, играла у

нее на губах, когда она протягивала мне сирень! Зораида казалась мне хитрой, притворной, иногда даже расчетливой, это так; но возможно ведь, что лукавство было для нее, женщины мягкой и нежной, лишь способом преодолеть стоящие между нами препятствия. Да если и в самом деле в ней недостает здоровой нравственности — так это несчастье ее, не вина, что она католичка; если б ей случилось родиться англичанкой и быть воспитанной протестантской церковью — неужели к прочим своим достоинствам она не получила бы прямоту и честность? Или предположить, что она бы вышла за англичанина-протестанта, — неужели она, столь рациональная и проницательная, не осознала бы, как превосходит справедливость над выгодой и прямота над изворотливостью? Такому эксперименту стоило бы посвятить жизнь. Завтра продолжу наблюдать. Она знает, что я за ней слежу, — и как невозмутимо спокойна она под моим испытующим взором; кажется, это скорее доставляет ей удовольствие, нежели раздражает...»

Тут в мои размышления ворвались звуки музыки; играли на рожке, притом очень искусно, где-то ближе к парку или на Плас-Рояль. Столь сладостны были эти звуки, так умиротворяли душу в этот поздний час, среди покоя, под луной, что я отбросил мысли и весь обратился в слух. Мелодия повторилась и, постепенно утихая, вскоре оборвалась; я приготовился снова внимать глубокой полночной тишине.

Но что это? Что за говор, тихий и явно приближающийся, разрушил мои ожидания? Сначала послышался один голос — едва слышный, но определенно мужской, — и раздавался он в саду, недалеко от моего окна; другой голос, женский, ему отвечал.

Я увидел на аллее две фигуры, и, пока они шли в тени, я едва различал их неясные очертания; но вот в конце аллеи, когда они оказались совсем близко от меня, луна высветила эту пару, в которой я без всяких сомнений распознал м-ль Зораиду Рюте, идущую то ли под руку, то ли рука в руку, не помню, с моим начальником, наперсником, моим советчиком, г-ном Франсуа Пеле.

Пеле между тем говорил:

— A quand done le jour des noces, ma bien-aimée?^[89]

И м-ль Рюте отвечала:

— Mais, François, tu sais bien qu'il me scrait impossible de me marier avant les vacances.^[90]

— Июнь, июль... До августа — три месяца! — воскликнул директор. — Разве я могу так долго ждать? От нетерпения я готов сию минуту умереть у твоих ног!

— Ну, если ты умрешь, дело разрешится без хлопот, без всяких нотариусов и контрактов; мне останется лишь заказать траурное платье, которое гораздо быстрее будет готово, нежели подвенечное.

— Жестокая Зораида! Ты смеешься над несчастьем человека, который так преданно тебя любит; мои мучения для тебя одна забава; ты безжалостно растягиваешь мою душу на дыбе ревности. Можешь не отпираться, я уверен, что ты поощряешь взглядами этого школяра Кримсворта; он осмелился в тебя влюбиться, но не отваживается разоблачить себя, пока его не обнадежат.

— О чем ты говоришь, Франсуа? Кримсворт в меня влюблен?

— По уши.

— Это он тебе сказал?

— Нет, но я вижу по нему: он вспыхивает, едва услышит твое имя.

Легкий кокетливый смешок дал понять, что м-ль Рюте, довольна этой новостью (кстати, ложной — я не зашел еще в своих чувствах к ней так далеко).

Г-н Пеле осведомился, для чего я ей нужен, и с милой откровенностью, не слишком деликатно заметил, что с ее стороны было бы нелепо помышлять о замужестве с таким «blanc-bec»,^[91] которого она лет на десять старше (ей тридцать два? Ни за что бы не подумал!). Я услышал, как она решительно отвергла всякие предположения на этот счет; директор же упрямо потребовал более определенного ответа.

— Франсуа, — сказала она, — ты ужасный ревнивец! — И было засмеялась, но, видимо, вспомнив, что подобное игривое кокетство не сочетается с тем образцом скромности и благонравия, который она стремилась из себя сотворить, она продолжала серьезным, притворно-застенчивым тоном: — Честно говоря, милый мой Франсуа, я не могу отрицать, что этот молодой англичанин пытался снискать у меня особое расположение, но, вовсе не склонная поощрять его, я всегда обходилась с ним настолько холодно и сдержанно, насколько

допускали приличия. Я дала уже обещание тебе и не стану вселять в кого-либо ложные надежды, поверь мне, милый друг.

Пеле что-то пробормотал — вероятно, выразил недоверие, судя по ее ответу:

— Что за вздор! Как могу я предпочесть незнакомого иностранца тебе? И потом — без всякой лести твоему тщеславию, — Кримсворт ни в какое сравнение с тобою не идет ни наружностью, ни умом; он некрасив; кому-то он может показаться утонченным и умным, но, на мой взгляд...

Конца я уже не расслышал, поскольку, поднявшись со скамейки, на которой и происходил весь разговор, пара удалилась. Я ждал их возвращения, но вскоре до меня донеслось, как открылась и закрылась дверь в пансион; стало совсем тихо, я продолжал вслушиваться и где-то через час услышал, как г-н Пеле вернулся домой и прошел к себе. Взглянув на ее дом, я заметил, что одинокий огонек уже погас. Я лег в постель, но от охватившего меня лихорадочного возбуждения провел почти всю ночь без сна.

ГЛАВА XIII

На утро я встал с восходом и, одевшись, полчаса простоял, облокотившись на комод, придумывая, каким образом поднять истерзанный бессонницей дух и вернуть его в обычное состояние, ибо мне вовсе не хотелось устраивать сцен г-ну Пеле, — как, например, обвинить его в вероломстве, бросить ему вызов — и прочих подобных выходов. Наконец я остановился на том, чтобы выйти на утренний холод, отправиться в бани и излечить себя взбадривающим купанием.

Выбранное средство произвело желаемый эффект, так что в семь часов я вернулся окрепший и уравновешенный и был в состоянии, ничуть не изменившись в лице, поприветствовать г-на Пеле, когда тот прибыл к завтраку. Он мягко пожал мне руку и произнес «mon fils»^[92] тем ласковым тоном, с каким часто обращался ко мне, особенно в последние дни, — но и это не заставило меня выказать те чувства, что, хотя и приглушенные, все еще горели у меня в душе.

Не то чтобы я вынашивал планы мести, нет; осознание предательства и оскорбления жило во мне тлеющим углем. Видит Бог, моей природе чужда мстительность; я не способен причинить боль человеку только потому, что не могу более доверять или любить его; однако отношение к Пеле, чувства к нему оставались во мне уже непоколебимы — душа моя не как песок, где следы легко отпечатываются и столь же легко исчезают. Стоит мне один раз убедиться, что чья-то натура несовместима с моей, стоит этому человеку уронить себя в моих глазах чем-то, глубоко противным моим правилам, — я обрываю эту связь. Так было у меня с Эдвардом. А с г-ном Пеле... Мог ли я поступить так же и с ним?» — вопрошал я себя, размешивая кофе.

Пеле между тем сидел напротив; его мертвенно-бледное лицо казалось изможденнее обычного и в то же время проницательнее; голубые глаза его то с суровостью обращались на мальчиков и наставников, то — гораздо мягче — на меня.

«Посмотрим по обстоятельствам», — сказал я себе и, встретив лживый взгляд Пеле, увидев его натянутую улыбку, я возблагодарил небо, что минувшей ночью мне случилось открыть окно и прочесть

при свете полной луны подлинное значение этого коварно-дружеского выражения на лице. Я почти насквозь видел его натуру; теперь за лъстивой улыбкой я мог разглядеть истину и в каждой добродушной фразе улавливал ее предательскую суть.

А Зораида Рюте? То, что говорила она в ночном саду, задело меня за живое? И жало вошло слишком глубоко, так что никакое утешение философией не могло снять эту боль? Нет, не совсем так. Ночная лихорадка улеглась, я поискал бальзам для этой раны и нашел его куда ближе, чем в Галааде.^{7} Лекарем и утешителем моим сделался рассудок; начал он с того, что, дескать, потеря моя не столь и велика; он допускал, разумеется, что наружностью Зораида могла мне подойти, однако решительно утверждал, что души наши не были в гармонии и из их союза мог выйти один диссонанс. Затем мой лекарь прописал мне подавление всех роптаний и наказал не сетовать, а скорее радоваться, что я не попал в западню.

Таковое лечение оказалось как нельзя лучше, в чем я убедился, когда на следующий день встретился с директрисой. Благодаря его эффективному воздействию на состояние моего духа я нисколько не нервничал, не дрожал и не запинаясь; мне хватило сил встретить директрису с твердостью — и с легкостью пройти мимо. Она протянула мне руку — этого я предпочел не заметить. Она поздоровалась со мной с чарующей улыбкой — это подействовало на мое сердце не более, чем огонь на камень. Пока я шел к своему возвышению в классе, директриса следила за мной; этот прикованный к моему лицу взгляд требовал объяснения такой перемены в поведении. «Я отвечу ей», — подумал я и, встретив ее настороженные глаза, остановив, задержав их, я метнул в них взгляд, в котором не было ни уважения, ни любви, ни нежности, ни любования, в котором пристрастнейший анализ не выявил бы ничего, кроме презрительной насмешки и дерзкой иронии. Я заставил ее вынести этот взгляд и прочувствовать его; лицо ее сохранило обычное выражение уверенности и невозмутимости, однако порозовело, и Зораида приблизилась ко мне с видом зачарованным. Она ступила на возвышение и встала рядом со мной молча, будто не находя нужных слов. Я же небрежно листал книгу, не имея ни малейшего желания помочь директрисе справиться с замешательством.

— Надеюсь, вы окончательно поправились, — молвила она наконец.

— И я, мадемуазель, в свою очередь надеюсь, что вашему здоровью не повредила ночная прогулка по саду.

Достаточно сообразительная, Зораида поняла меня вполне; она едва заметно вспыхнула — однако в ее весьма выразительном лице не дрогнула ни черточка; с невозмутимым самообладанием она сошла с возвышения и, устроившись поблизости, занялась вязанием кошелька.

Я начал урок; в тот день я устроил девицам письменную работу, то есть диктовал общие вопросы, на которые ученицы должны были составить ответы, не обращаясь к учебникам. Пока м-ль Элалия, Гортензия, Каролина и прочие ломали голову над вереницей предложенных мною вопросов, невообразимо трудных для их понимания в плане грамматики, у меня было полчаса, чтобы вволю понаблюдать за директрисой.

Кошелек из зеленого шелка стремительно рос у нее в руках, и все ее внимание, казалось, было обращено к нему; она сидела в двух ярдах от меня; в осанке немного чувствовалось напряжение, но весь облик выражал одновременно и в равной степени бдительность и безмятежность — редкое сочетание! Глядя на нее, я, как и прежде, не мог не отдать дань невольного восхищения ее изумительному самообладанию. Она почувствовала, что лишилась былого почитания с моей стороны, она увидела уже презрительную холодность в моих глазах, и ее, алчную до всеобщего высокого о ней мнения и похвалы всем ее действиям, таковое открытие, должно быть, глубоко задело. Я понял это по тому, как резко побледнело ее лицо — лицо, не привыкшее меняться в цвете; но как быстро сумела она вновь овладеть собой! С каким спокойствием и достоинством сидела она теперь так близко от меня, черпая силы в своем крепком, энергичном рассудке, — ни дрожи в тонких губах, ни малодушной стыдливости на строгом лбу!

«Сталь в ней есть, — сказал я себе, пристально глядя на нее. — Если б в ней могло быть пламя чистой страсти, что раскалило бы эту сталь, — я смог бы полюбить Зораиду».

Очень скоро я обнаружил, что мое внимание не осталось незамеченным, хотя объект его не вострепнулся, не поднял на меня лукавых глаз; оторвавшись от вязания, Зораида посмотрела на маленькую свою ножку, выглядывавшую из-под мягких складок

пурпурного шерстяного платья, затем перевела взгляд на руку цвета слоновой кости с поблескивающим на указательном пальце гранатовым перстнем и тонкой кружевной манжетой вокруг запястья; едва уловимо она качнула головой, отчего каштановые локоны чуть колыхнулись. Все это говорило о том, что и сердцем и помыслами она стремилась возобновить игру, которую так неосторожно нарушила. Тут, к ее радости, случился небольшой инцидент, предоставивший ей повод снова со мной заговорить.

В то время как в классе стояла тишина, нарушаемая лишь шуршанием тетрадей да скрипом перьев, одна створка больших дверей, что вели из холла, приоткрылась, впустив еще ученицу, которая, сделав быстрый реверанс, с беспокойством, вызванным, по-видимому, столь поздним приходом, устроилась за свободной, ближайшей к дверям партой. Усевшись, она все с тем же беспокойным и смущенным видом открыла сумочку и принялась извлекать из нее тетрадки; и пока я ждал, когда она поднимет наконец голову и я смогу установить ее личность — ибо, близорукий, я не узнал ее при входе, — м-ль Рюте, поднявшись со стула, приблизилась к моему столу.

— Мсье Кримсворт, — произнесла она шепотом (надо заметить, когда в классах шли уроки, директриса всегда двигалась неслышно и говорила как можно приглушеннее, тем самым, наряду с наставлениями, призывая к порядку и тишине посредством собственного примера). — Мсье Кримсворт, эта юная особа, что сейчас вошла, желает посещать ваши уроки английского языка; она не учится у нас; она в некотором роде учительница: наставляет пансионерок в плетении и починке кружев и немного в вышивании. Она весьма основательно нацелена подготовиться к преподаванию предметов более серьезных и потому просила позволения присутствовать на ваших уроках, чтобы иметь возможность углубить свои знания в английском, в чем, я уверена, она уже достаточно продвинулась; конечно, мне хотелось бы помочь ей в столь похвальных устремлениях; вы разрешите ей воспользоваться своими уроками, *n'est-ce pas, Monsieur?*^[93] — И м-ль Рюте подняла на меня наивный, добрый и вместе с тем умоляющий взгляд.

— Разумеется, — ответил я лаконично и даже резковато.

— Еще пару слов, — мягко сказала она. — Мадемуазель Анри не получила систематического образования; возможно, природные ее

способности не самого высокого порядка, но смею вас уверить в благородстве ее устремлений и в ее добронравии. Не сомневаюсь, мсье проявит к ней великодушие и деликатность и не станет подчеркивать ее отсталость перед девицами, которые, в известном смысле, ее ученицы. Не будет ли угодно мсье Кримсворту последовать этому совету?

Я кивнул. Она продолжала с едва сдерживаемым нетерпением:

— Извините, мсье, если я осмелюсь прибавить, что сказанное мною чрезвычайно важно для бедной девушки; она и так испытывает невероятное затруднение в том, чтобы добиться от этих легкомысленных юных созданий должного уважения к ее авторитету, и ежели затруднение это возрастет вследствие новых проявлений ее бессилия, положение ее в пансионе определенно станет слишком тягостным, чтобы ей и дальше здесь работать; и если такое произойдет, я буду очень сожалеть об ее участи, ведь бедняжка лишится хорошего куска хлеба.

М-ль Рюте обладала непостижимым талантом светского общения, однако, даже самый безупречный, этот талант без поддержки искренности иногда теряет силу; потому, чем дольше распространялась директриса о необходимости снисхождения к учительнице-ученице, тем больше разрасталось во мне раздражение. Мне было совершенно ясно, что в то время как провозглашала она желание подействовать глупой, но благонамеренной м-ль Анри, истинным мотивом было не что иное, как стремление внушить мне уверенность в ее, директрисы, возвышенной доброте и нежной заботливости.

Коротко кивнув в знак согласия с ее рассуждениями, я, дабы избежать их возобновления, решительно потребовал от учениц сдать работы и, не мешкая сойдя с возвышения, принялся собирать тетради. Проходя мимо новой ученицы, я сказал ей:

— Сегодня вы слишком припозднились на урок; на будущее постарайтесь быть пунктуальнее.

Я стоял у нее за спиной и не мог видеть, как отразилась на ее лице эта не очень-то любезная фраза (впрочем, если б даже мадемуазель сидела ко мне анфас, я вряд ли обратил бы на это внимание); она немедленно начала убирать тетрадки обратно в сумку; когда же я вернулся к своему столу и стал складывать в стопку работы, то

услышал, как дверь снова тихонько открылась и закрылась; подняв глаза, я увидел, что место м-ль Анри опустело.

«Первую свою попытку получить урок английского она будет считать неудачной», — сказал я мысленно; мне было любопытно, отбыла она в скверном, озлобленном расположении, или же по глупости поняла мои слова слишком буквально, или, наконец, мой раздраженный тон ранил ее до глубины души. Последнее предположение я почти сразу отверг, ибо со времени приезда в Брюссель не встретил ни единого признака чувствительности ни в одном человеке и уже начал было считать это качество едва ли не мифическим. В наружности м-ль Анри я не успел выяснить сию подробность по причине столь мимолетного появления этой особы. Правда, два или три раза мне случалось вне класса взглянуть на нее мимоходом (как, помнится, я уже упоминал); но я никогда не останавливался специально, чтобы изучить ее, и потому имел весьма смутное представление об ее наружности.

Только я закончил упаковывать письменные работы, колокольчик возвестил четыре часа; благоразумно привыкший подчиняться этому звонку, я схватил шляпу и поспешно освободил помещение.

ГЛАВА XIV

Если я с пунктуальностью покидал владения м-ль Рюте, то прибывал туда не менее пунктуально. На следующий день я пришел без пяти два и, дойдя до дверей в классную комнату, услышал из-за них скорое бормотание, означавшее, что «*prière du midi*»^[94] еще не завершилась. Окончания ее я решил подождать за дверьми, чтобы не навязывать им свою нечестивую, еретическую персону во время сей священной процедуры.

Как скоро, бессвязно, с каким кудахтаньем читали молитву! Ни прежде, ни впоследствии не доводилось мне слышать что-либо подобное, произнесенное с поспешностью парового двигателя. «*Notre Père qui êtes au ciel*»^[95] вылетело пушечным ядром; затем последовало не менее энергичное обращение к Марии: «*Vierge céleste, reine des anges, maison d'or, tour d'ivoire!*»^[96] и далее — призыв к святому, почитаемому в этот день, после чего все сели по местам и скорбная церемония закончилась.

Тут, широко распахнув дверь, я, по обыкновению, размашистым, уверенным шагом вошел в класс, ибо давно уже усвоил, что появиться с апломбом и картинно взойти к своему столу есть великий секрет, гарантирующий незамедлительное наступление тишины. Двустворчатые двери между классами, открытые на время молитвы, мгновенно затворились; *maîtresse*, держа в руках корзинку с рукоделием, заняла отведенный ей стол; ученицы сидели тихо с тетрадками и перьями перед собой; три мои красотики в авангарде, уже усмирённые неизменной моей строгостью, сидели неподвижно, сложив руки на коленях; они, бывало, хихикали и перешептывались, однако дерзких реплик в моем присутствии более себе не позволяли. Если б в этих ярких очах светились доброта, скромность, истинная одаренность — я, пожалуй, не смог бы не выказать им сердечности и поддержки, а может быть, даже и горячего участия; но при виде этих девиц я находил удовольствие в том, что на их тщеславные взоры отвечал твердым стоическим взглядом.

Ученицы мои, юные, красивые, сияющие свежестью, едва ли когда-нибудь видели перед собой такого аскета, чуть ли не *guardian*.^[97]

Все, кто сомневается в справедливости такого утверждения, подразумевающего больше сознательного самоотречения или самообладания Сципиона, чем они склонны во мне допустить, пусть примут во внимание следующие обстоятельства, которые, не увеличивая моих заслуг, докажут правдивость моих слов.

Знай, о недоверчивый читатель, что учитель находится в несколько ином положении по отношению к хорошенькой, белокурой, возможно, даже наивной девушке, чем кавалер на балу или щеголь на гулянье. Учителю не доводится встречать ученицу, одетую в атлас и муслин, с надушенными локонами и чуть оттененной воздушным кружевом шейкой, с браслетами на белых ручках и в бальных туфельках. Не его дело кружить ее в вальсе, потчевать комплиментами и тешить тщеславие девицы восторженными дифирамбами ее красоте. Не сталкивается он с ней ни на тенистом бульваре, ни в парке с веселой зеленью, куда она отправляется на прогулку в удивительно идущем ей выходном одеянии, с шарфом, грациозно перекинутым через плечо и в небольшой шляпке, что едва прикрывает ее локоны, и красной розой на отвороте, что дополняет розы на щеках; ее лицо, в особенности глаза, озаряются улыбками, недолгими, но солнечно радостными, одновременно спокойными и ослепительными; не его обязанность сопровождать ее, слушать оживленную болтовню, нести ее зонтик от солнца, похожий на широкий зеленый лист, вести на поводке ее бленгеймского спаниеля или итальянскую борзую.

Нет, он видит ученицу в классной комнате, скромно одетую, с книжками и тетрадками, разложенными перед ней. Вследствие воспитания или врожденных склонностей, в книгах она видит одну досадную неприятность и открывает их с отвращением, в то время как учитель должен вложить в ее головку их содержание; при этом строптивый ее ум отчаянно сопротивляется введению в него скучных знаний, и сдвинутые брови, угрюмое настроение искажают симметрию ее лица, грубые порой жесты лишают утонченности ее образ, а вырывающиеся временами приглушенные реплики, сразу напоминающие о родине и неискоренимой вульгарности ученицы, оскверняют свежесть ее голоса. Когда темперамент живой, а ум, напротив, вялый — непобедимая тупость противостоит обучению. Когда же ум ловок, но энергии духа недостает — лживость,

притворство, тысячи всевозможных уловок пускаются в ход, чтобы ускользнуть от требуемого прилежания.

Иначе говоря, для наставника девичья юность, женское очарование все равно что гобелены, неизменно оборачиваемые к нему изнанкой; и даже если случается ему увидеть гладкую, аккуратную лицевую сторону, он так хорошо знает, какие скрыты узелки, длинные стежки и оборванные концы, что вряд ли станет восторгаться выставленной на обозрение качественной работой и яркими красками.

Далее, наши вкусы во многом определяются обстоятельствами. Художник предпочитает гористую местность, ибо она живописна, инженер — плоскую, потому как она более пригодна для его деятельности; сластолюбец более устраивает игрунья-кокетка; молодой богатый джентльмен восхищается богатой юной леди: она из его среды. Изнуренный безрадостными трудами, обессилевший и, возможно, чрезмерно раздражительный наставник почти слеп к красоте, невосприимчив к кокетливым гримаскам и жестам и ценит главным образом достоинства характера и ума: трудолюбие, тяга к знаниям, одаренность, послушание, правдивость, чувство признательности — вот качества, способные привлечь его внимание и завоевать расположение. Он неустанно ищет их, но редко встречается — и, встретив, запоминает навсегда; когда же разлука лишает его такой ученицы, ему кажется, будто некая безжалостная рука вырвала у него единственное сокровище.

При таком положении дел читатели мои согласятся, что ничего особо удивительного и стоящего награды не было в том, что я держал себя в пансионе для девиц м-ль Рюте с хладнокровной прямолинейностью.

В тот день я начал урок с того, что зачитал список учениц в порядке успеваемости, составленный по результатам написанных накануне работ. Начинался он, как всегда, фамилией Сильвии, простой и тихой девушки, которую я уже описывал как лучшую и в то же время самую неказистую ученицу в школе. Второе место досталось Леонии Ледрю, миниатюрному созданию с резкими чертами лица и пергаментной кожей, с быстрым умом, мелкой совестью и черствым сердцем; наружность этой особы чем-то напоминала законоведа, и я частенько подмечал, что, родись она мальчиком, из нее вышел бы со временем образец смышленного и беспринципного судьи. Третьей в

списке была Элалия — гордая красавица, Юнона пансиона, которую шесть лет натаскивания по элементарной английской грамматике заставили вопреки непробиваемой тупости ее ума овладеть чисто механическим знанием многих правил.

Ни улыбки, ни проблеска радости или удовлетворения не возникло на монашеском, унылом лице Сильвии, когда она услышала свое имя во главе списка. Меня всегда удручал абсолютно пассивный в любых ситуациях вид этой несчастной девушки, и потому смотреть на нее, обращаться к ней я старался как можно реже; ее исключительное прилежание, неутомимое упорство внушили бы мне доброе о ней мнение, ее скромность и мягкость заставили б меня относиться к ней теплее, с большей симпатией, невзирая на почти ужасающую некрасивость черт, непропорциональность фигуры и безжизненный, как у мертвеца, облик — будь я уверен, что каждое мое дружеское слово, каждый теплый жест не станут известны ее духовнику и не будут им передернуты и отравлены. Однажды я в знак похвалы легонько положил руку ей на голову; ее вечно тусклые глаза чуть ожили; я думал, вот-вот она улыбнется... Но в следующий миг Сильвия отпрянула от меня: я — мужчина и к тому же еретик, она — о бедное дитя! — ревностная католичка, которой суждено было стать монахиней; эти четыре преграды разделяли ее и мой внутренний мир.

Леония выразила радость наглой, самодовольной улыбкой и взглядом резким и торжествующим; Элалия же имела вид завистливо-угрюмый: она рассчитывала оказаться первой. Гортензия и Каролина, обнаружив себя едва ли не в конце списка, обменялись пренебрежительными гримасками; в клейме умственного изъяна они не видели ничего позорного, а виды их на будущее основывались исключительно на внешнем блеске.

Когда со списком было покончено, начался собственно урок. В тот короткий промежуток, когда девицы графили тетрадки, я, беззаботно блуждая взором по классу, впервые заметил, что крайнее место в последнем ряду, обыкновенно пустовавшее, теперь снова занято новоявленной школьницей, м-ль Анри, которую так расхваливала мне директриса.

На сей раз я был в очках и потому сразу ее разглядел. Выглядела она очень молодо, хотя, если б от меня потребовали точно обозначить ее возраст, я был бы весьма озадачен: судя по хрупкой фигурке, ей

можно было дать семнадцать, однако серьезное, несколько встревоженное лицо как будто указывало на более зрелые годы. Одета она была, как и прочие ученицы, в темное строгое платье с белым воротничком, лицом же сильно выделялась из их массы благодаря более рельефным, выразительным, хотя и неправильным чертам. Заметно отличалась и форма ее головы с более развитой верхней частью.

Я сразу же почувствовал уверенность, что она не бельгийка; ее кожа и волосы, черты лица, фигура — все было иным и, очевидно, представляло другую породу — породу, менее наделенную богатством плоти и изобилием крови, а по духу не столь жизнерадостную, не столь приземленную и поверхностную.

Когда я первый раз задержал на ней взгляд, она сидела, словно в оцепенении, с опущенными глазами, подперев рукой подбородок, и не шевельнулась, пока я не начал урок. Никакая бельгийская девица не могла бы пребывать так долго без движения, тем паче с таким задумчивым видом. Был ли ее нос орлиным или курносым, подбородок массивным или маленьким, а лицо овальным или же прямоугольным — в первый день я не определил, а выдать читателю разом все, что собрал я по крохам, в мои намерения не входит.

Я продиктовал небольшое предложение, которое все записали. Новая ученица явно пребывала в затруднении; пару раз она посмотрела на меня с каким-то мучительным беспокойством, будто не совсем разобрала услышанное; когда остальные ученицы подняли головы, она еще продолжала писать; за другими она не поспевала, я же не помог ей, а, напротив, безжалостно продолжал диктовать. Она устремила на меня глаза, в которых с предельной ясностью читалось: «Подождите меня!»

Я не снизошел к ее мольбе, но, небрежно откинувшись на спинку стула и время от времени с бесстрастным видом поглядывая в окно, стал диктовать еще быстрее. Снова посмотрев на м-ль Анри, я отметил на лице ее тень смущения; впрочем, писала она с похвальным усердием; на несколько секунд я сделал паузу, чем она воспользовалась, чтобы спешно прочитать написанное, и, судя по тому, каким стыдливо-испуганным сделалось ее лицо, в тетради было нечто ужасное.

Минут через десять диктант закончился, и, предоставив немного времени на проверку, я собрал тетради. М-ль Анри подала свою с большой неохотой, но, уступив тетрадь в мое обладание, заставила себя успокоиться, будто смирившись с мыслью, что окажется в моих глазах редкостной тупицей.

Просмотрев ее работу, я обнаружил, что несколько строк пропущено, однако написанное содержало не так уж и много ошибок; я черкнул внизу страницы «Воп»^[98] и тут же вернул тетрадь. М-ль Анри сначала слабо, недоверчиво улыбнулась, затем просияла, но глаз не подняла; казалось, она непременно посмотрела бы на меня, если б пришла в недоумение или замешательство, но не в минуту благодарности (хотя едва ли это справедливо).

ГЛАВА XV

Прошло некоторое время, прежде чем я снова столкнулся с м-ль Анри. На четвертый день после Троицы я шел на урок во втором классе. Минуя квадратный вестибюль, я увидел стайку юных швей, окруживших м-ль Анри; было их не больше десяти, однако шума они производили, как пятьдесят.

Наставнице явно не удавалось держать их в подчинении; три или четыре девицы одновременно осаждали ее назойливыми вопросами; вконец изведенная, она требовала тишины, но безрезультатно. Наконец она увидела меня, и в глазах вспыхнула боль, оттого что кто-то посторонний стал свидетелем ее беспомощности; она уже едва не вымаливала порядок — мольбы были напрасны; наконец она поджала губы, нахмурилась, и выражение лица, если я не ошибся, гласило: «Я сделала все, что могла, но все равно, похоже, заслужила упрек; пусть упрекает кто угодно».

Я прошел мимо; закрывая дверь в класс, я услышал, как неожиданно резко она сказала одной из самых старших и наиболее дерзких учениц:

— Амалия Мелленберг, до будущей недели не обращайтесь ко мне с вопросами и не требуйте никакой помощи. Я не желаю ни говорить с вами, ни вам помогать.

Произнесено это было с особой выразительностью, даже, пожалуй, с резкостью — и в вестибюле стало относительно тихо; не знаю, надолго ли воцарилась эта тишина, — двухстворчатые двери за мной уже закрылись.

На следующий день у меня был урок в первом классе. Явившись в пансион, я увидел в классной комнате директрису; она сидела, как обычно, на стуле между двумя возвышениями, и перед ней стояла м-ль Анри и внимала ей, как мне показалось, без охоты. Директриса вязала и одновременно разговаривала. Среди стоявшего в большой классной комнате гула легко было говорить с кем-нибудь по секрету и быть услышанным лишь одним человеком — так и разговаривала м-ль Рюте со своей подчиненной. Лицо последней было слегка порозовевшим, но ничуть не обеспокоенным; в нем чувствовалось раздражение, но

отчего — неясно, ибо директриса выглядела поистине безмятежно; она не могла отчитывать м-ль Анри таким мягким, тихим голосом и с таким покоем на лице, и очень скоро я убедился, что тон ее был самым что ни на есть дружеским, поскольку я расслышал последние слова директрисы:

— C'est assez, ma bonne amie, à present je ne veux pas vous retenir davantage. ^[99]

Не ответив, м-ль Анри развернулась с очевидным недовольством на лице, и, когда она заняла свое обычное место, усмешка, быстрая и легкая, но в то же время горькая, язвительная скривила ее губы, и в следующий миг эта невольная, едкая улыбка сменилась унынием, которое, в свою очередь, было вытеснено выражением внимания и интереса, когда я потребовал достать книги для чтения.

Надо заметить, я терпеть не мог урока чтения: я испытывал невыносимые мучения, слыша, как грубо коверкается мой родной язык; никакие пояснения и указания или примеры не улучшили произношение девиц ни на йоту.

В тот день каждая ученица в свойственной ей манере либо заикалась, либо пришепетывала, либо мямлила, либо быстро и невнятно бормотала; таким вот образом пятнадцать учениц по очереди подвергли меня истязаниям, и мои органы слуха смиренно ожидали шестнадцатой пытки, когда глубокий, хотя и негромкий голос прочитал на чистом, безупречном английском:

«На пути в Перт королю встретила шотландка, назвавшаяся пророчицей; она преградила путь к парому, на котором он собирался переправиться на северный берег, и громко взывала: „Мой король, если поедешь водой — живым уже не вернешься!“ (Из „Истории Шотландии“).»

Я изумленно поднял голову, услышав истинный голос Альбиона с чистым, серебристым выговором; не хватало только твердости и уверенности для точной копии произношения любой образованной леди Эссекса или Мидлсекса, хотя говорившей, вернее, читавшей особой была не кто иная, как м-ль Анри, в чьем угрюмом, безрадостном лице никак не отражалось осознание того, что минуту назад она продемонстрировала невероятное мастерство.

Впрочем, кроме меня, удивления никто не выказал, м-ль Рюте неумоимо вязала; хотя, когда м-ль Анри дочитывала абзац,

директриса вскинула глаза, удостоив меня быстрым взглядом искоса: даже не имея возможности сравнить с превосходной учительской манерой чтения, она поняла, что произношение м-ль Анри резко выделяло ее на общем фоне, и хотела увидеть мою реакцию. Я напустил на себя равнодушный вид и велел следующей девице продолжать.

По окончании урока я, воспользовавшись тем, что все разбрелись по классу, подошел к м-ль Анри; она стояла в одиночестве у окна; вероятно, она решила, что я тоже пожелал глянуть в окно, поскольку и представить не могла, будто я могу к ней обратиться. Я взял у нее из руки тетрадь и, перелистывая страницы, спросил:

— Вы брали уроки английского?

— Нет, сэр.

— Нет? Но вы прекрасно читаете на этом языке. Вы были в Англии?

— О нет! — странно оживилась она.

— Может статься, вам доводилось жить в английских семьях?

Ответ был все тот же:

— Нет.

Тут, задержавшись на обложке тетради, я увидел подпись: «Фрэнсис Эванс Анри».

— Ваше имя? — спросил я.

— Да, сэр.

На этом расспросы мои были прерваны: позади я услышал легкий шорох и, оглянувшись, увидел возле себя директрису, с глубокомысленным взглядом изучавшую наружность парты.

— Мадемуазель, — произнесла она, подняв голову и взглянув на учительницу, — не соблаговолите ли вы побыть в коридоре, пока девицы оденутся, и попытаться поддержать там порядок?

М-ль Анри повиновалась.

— Какая чудная погода! — бодро заметила директриса, выглянув в окно.

Я согласился и стал потихоньку ретироваться.

— Как ваша новая ученица, мсье? — продолжала она, следуя за мною по пятам. — Можно надеяться на ее успехи в английском?

— Ну, мне трудно судить. У нее действительно хорошее произношение, насчет же знания языка мне до сих пор не

представилось возможности составить определенное мнение.

— А ее умственные способности, мсье? У меня есть на этот счет свои опасения; не успокоите ли вы меня тем, что признаете у нее хотя бы средние силы?

— У меня нет оснований в этом сомневаться, мадемуазель, но я в самом деле мало ее знаю и не успел определить широту и глубину ее ума. Всего вам доброго!

М-ль Рюте опять последовала за мной.

— Понаблюдайте, мсье, и сообщите мне, что вы об этом думаете; на ваше мнение я полагаюсь гораздо больше, чем на свое; женщины не способны судить о подобных вещах так, как мужчины; извините мою настойчивость, мсье, но интерес к этой бедной крошке вполне естественен; у нее почти нет родных, и рассчитывать она может только на собственные силы, а все приобретенные знания будут ей единственной подмогой; я и сама когда-то была в таком же положении, или почти в таком же, потому нет ничего удивительного в том, что я к ней так благосклонна; видя же иной раз, с каким трудом она управляется с ученицами, я ужасно огорчаюсь. Не сомневаюсь, она старается изо всех сил и намерения ее превосходны, — но, мсье, ей так недостает твердости и такта. Я говорила с ней об этом, но я не одарена красноречием и, вероятно, не смогла изъясниться достаточно четко и убедительно; кажется, меня она не понимает. Так не будете ли вы столь добры, чтобы время от времени, когда сочтете возможным, подавать ей какой-нибудь совет; мужчины пользуются большим влиянием, нежели женщины: в их суждениях намного больше логики; и вы, мсье, в частности, в высшей степени способны подчинять себе людей; ваш совет не может не пойти ей на пользу; даже будучи замкнутой и строптивой (хотя, надеюсь, это не так), она вряд ли не прислушается к вашим словам; от себя же могу честно сказать, что всякий раз, побывав на вашем уроке, я неизменно обогащалась, видя, с каким умением вы руководите ученицами. Другие учителя и наставники — для меня постоянный источник беспокойства; им не удастся внушить девицам чувство уважения, равно как и обуздать столь свойственное юности легкомыслие, — в вас же, мсье, я почти абсолютно уверена; попытайтесь научить это бедное дитя сдерживать наших резвых и взбалмошных брабанток. Но, мсье, еще слово: не заденьте ее amour propre, ^[100] остерегайтесь нанести ей такую рану; должна признаться, в

этом отношении она чрезвычайно — можно сказать, до смешного — восприимчива. Боюсь, я ненароком дотронулась до этой болезненной точки, и м-ль Анри не могла этого перенести.

В продолжении почти всей этой пламенной речи рука моя держалась за ключ в дверном замке; теперь я повернул его.

— Au revoir, Mademoiselle, — сказал я и поспешно удалился.

Я понял, что словарный запас м-ль Рюте далеко не исчерпан и она охотно продержала бы меня и дольше.

С тех пор как я усвоил в обхождении с директрисой равнодушие и жесткость, она иначе стала со мною держаться; она едва ли не подбострастничала передо мной; она неустанно помогала моего расположения и неотвязно окружала бесчисленными знаками внимания.

Раболепие часто порождает деспотизм. Ее почти рабское поклонение вместо того, чтобы смягчить мое сердце, только взлелеяло в нем суровую нетерпимость. То, что она кружила вокруг меня, как зачарованная птичка, превратило меня в твердокаменный столп; ее заискивающий тон раздражал, а льстивые речи лишь укрепляли во мне бдительность.

Временами я задавался вопросом: для чего она тратила столько сил, чтобы меня завоевать, когда несомненно более выигрышный для нее Пеле был уже в ее сетях, к тому же она знала, что я проникнул в ее тайну, хотя и не слишком раскрылся. Ей определенно свойственно было сомневаться в истинности таких качеств, как скромность, бескорыстие, привязанность, и недооценивать их; присутствие в ком-либо этих черт говорили ей о слабости характера, в то время как гордыня, жесткость, эгоизм служили доказательством силы. Она готова была попираť ногами скромность и преклоняться пред надменностью; нежность она встретила бы с едва прикрытым презрением, а в ответ на безразличие докучала бы непрерывным обхаживаньем. Душевная щедрость, преданность, подлинная восторженность вызывали у нее неприязнь, а к притворству и своекорыстию она обнаруживала предпочтение — в ее глазах они были истинной мудростью; к моральной и физической деградации, к умственным и телесным изъясам она относилась весьма снисходительно, потому как могла ими воспользоваться как контрастом к собственным совершенствам. Когда же она становилась

жертвой силы, несправедливости, тирании, то воспринимала их как естественных владык; она не испытывала к ним никакой ненависти и не порывалась дать им отпор; праведное негодование, которое они разжигают в некоторых душах, было ей неведомо.

Среди существ фальшивых и эгоистичных она слыла благоразумной, а среди жалких и униженных — милосердной, бессовестные и наглые называли ее добродушной, а совестливые и скромные поначалу доверчиво внимали призыву считать ее своей, однако в скором времени позолота ее притязаний осыпалась, и, увидев настоящий материал, ее отталкивали как подделку.

ГЛАВА XVI

В течение следующих двух недель я достаточно понаблюдав за Фрэнсис Эванс Анри, и у меня сложилось весьма определенное представление об ее характере. Я нашел, что она в значительной степени обладает по крайней мере двумя замечательными свойствами натуры, а именно упорством и обязательностью; я понял, что она по-настоящему способна учиться и не боится трудностей.

Сначала я предложил ей точно такую же помощь, как и другим ученицам; я принялся разъяснять ей каждую языковую трудность, но очень скоро обнаружил, что подобная помощь воспринята моей новой ученицей как унижение и гордо отвергнута. Тогда я задал ей большое упражнение и предоставил в одиночку решать все сложности, которые могли там встретиться. Она рьяно взялась за дело и, быстро справившись с одним, нетерпеливо потребовала другое задание. Это об ее упорстве; что же касается обязательности, то качество это проявилось следующим образом. М-ль Анри любила учиться, но не любила учить; ее ученические успехи зависели только от нее, и на себя она с уверенностью могла положиться; успех же ее как учителя обуславливался отчасти — а возможно, и большей частью — желаниями других людей; вступить в столкновение с чужой волей, попытаться подчинить ее своей стоило ей мучительнейших усилий, ибо (как это свойственно многим) ее сковывала робость и щепетильность. Она была сильной и отнюдь не робкой, когда это касалось лично ее, и всегда могла подчинить делу свои склонности, если это не противоречило ее нравственным убеждениям; но когда ей приходилось противостоять склонностям, привычкам, недостаткам других, в особенности детей, которые глухи к разумным доводам и неподатливы на уговоры, — воля ей отказывала; вот тогда-то и выступала обязательность и принуждала сникшую волю к действию. Чаще всего усилия были напрасны, энергия тратилась попусту, Фрэнсис изнуряла себя этой тяжелой и нудной работой, но добросовестность ее редко вознаграждалась послушанием учениц, поскольку те прекрасно понимали, что могут одолеть наставницу: сопротивляясь мучительным для нее усилиям как-то уговорить,

убедить, сдержать их, вынуждая ее прибегать к крайним мерам, они причиняли ей непомерные страдания.

Существа человеческие — особенно дети — редко отказывают себе в удовольствии выказать силу, которой, как им кажется, они обладают, даже если сила эта состоит лишь в способности сделать кого-либо несчастным; ученик, в ком чувства притупленнее, чем в учителе, в то время как нервы значительно крепче, а физическое здоровье сильнее, имеет огромное преимущество перед учителем и безжалостно будет этим пользоваться, потому как слишком еще юный, очень сильный, но неискушенный в жизни, он не умеет ни сочувствовать, ни щадить. Фрэнсис, боюсь, страдала много и глубоко; невыносимый, вечный груз, казалось, придавливал ее дух; я уже говорил, что при пансионе она не жила, и я не знал, было ли в домашней обстановке на лице ее такое же озабоченное, исполненное грусти выражение, какое неизменно омрачало ее облик под крышей м-ль Рюте.

Однажды я задал темой на составление предложений достаточно избитый сюжет о том, как король Альфред^[8] присматривал за хлебными лепешками в лачуге пастуха. Ученицы сделали из этой истории нечто неподражаемое; лаконичность — вот что они лучше всего усвоили; большинство изложений были совершенно сумбурными, только у Сильвии и Леонии Ледрю в рассказах присутствовало некое подобие смысла и связности. Элалия пустилась на хитрость, дабы заручиться точностью, избавившись при этом от особых хлопот: бог весть каким путем она раздобыла сокращенную историю Англии и бессовестнейшим образом списала этот рассказ. На полях ее произведения я написал «Неумно и нечестно», после чего порвал листок пополам.

В стопке работ, почти все из которых были в одну страничку, последней я обнаружил нечто вроде тетрадки, сшитой из нескольких аккуратно исписанных листков; почерк я сразу узнал и тем самым утвердился в своем предположении насчет авторства, не прибегая к подписи: «Фрэнсис Эванс Анри».

Обыкновенно я проверял ученические работы поздним вечером в своей каморке, и прежде занятие это казалось ужасно утомительным; как же странно и непривычно было для меня на сей раз ощутить в себе

зародившийся и стремительно растущий интерес, когда, сняв нагар со свечи, я углубился в чтение рукописи неудачливой учительницы.

«Теперь, — думал я, — наконец-то передо мною мелькнет хотя бы проблеск того, что представляет она собою в действительности; я лучше узнаю ее и смогу оценить силы; не то чтобы я ожидаю от нее прекрасного владения иностранным языком, но если она по-настоящему умна — здесь это должно отразиться».

Начинался ее рассказ с описания лачуги саксонского крестьянина, стоящей среди огромного и по-зимнему голого леса; был декабрьский вечер, и снег валил хлопьями, и, по предсказанию пастуха, ожидалась бешеная пурга. Пастух призвал жену помочь собрать и пригнать стадо, пасшееся где-то далеко у реки, и предупредил, что вернутся они очень поздно. Добрая женщина с неохотой отрывается от своего занятия — она пекла к ужину лепешки, — накидывает на себя овчину и, обращаясь к страннику, что полулежа отдыхает на тростниковой постели возле очага, наказывает присматривать за хлебом до их возвращения.

«Сразу как мы уйдем, — продолжает она, — запири получше дверь да никому не отворяй, покамест не вернемся, а заслышишь какой шум — не высовывайся, в окошко не выглядывай. Ночь на носу, а живем мы далеко от людей; часто, как солнце сядет, странные звуки по лесу разносятся; и волки частенько сюда наведываются, да и воины датские всюду бродят. Ужасные вещи люди рассказывают; не ровен час, заслышишь ты детский плач, да и откроешь дверь, чтобы пособить, — и тут здоровенный черный бык или гоблин как бросится через порог! Или вот еще: за окошком кто-то забьет вдруг крыльями, а откроешь — ворон или белый голубь влетит в дом да и опустится перед очагом; гость такой, точно, к ужасной напасти в доме. Потому послушайся моего совета: никому не отворяй».

Тут муж зовет ее, и хозяева уходят. Оставшись один, странник некоторое время прислушивается к завываниям метели, то возрастающим, то затихающим, после чего говорит с собою:

«Сегодня сочельник. Запомнится мне этот день! Сижу в одиночестве на грубом тростниковом ложе, приютившись под соломенной кровлей пастушьей хибарки, — я, унаследовавший королевство, обязан ночлегом убогому рабу; трон мой захвачен, корона моя на голове у захватчика; я лишился друзей, войска, разбитые на

холмах Уэльса, рассеялись; дерзкие разбойники заполонили всю мою страну, а подданные мои лежат поверженные под пятой жестоких датчан. О Рок! Ты сделал все самое худшее, что мог, и стоишь теперь передо мною с затупленным клинком. Да, я вижу твои глаза и вопрошаю: почему я еще жив? почему еще надеюсь? Демон языческий, я не верю в твое могущество и не уступлю твоей силе. Мой Бог, Сын Которого в такую же точно ночь принял образ человеческий, и затем как человек принял страдания, и пролил кровь, следит за твоей рукой, и без Его повеления, ты не нанесешь удар. Мой Бог — безгрешный, вечный, всеведущий; Ему я доверяюсь; пусть ограбленный тобою и разбитый, пусть нагой, одинокий и беспомощный — я не отчаиваюсь, я не могу отчаиваться; даже если б копье Гутрума^[9] обагрилось моею кровью, я бы не отчаивался. Я жду, я терплю, я молюсь. Будет день — Иегова мне поможет».

Далее нет нужды цитировать, вся работа написана была в таком духе. Были кое-где орфографические ошибки, иноязычные обороты, были недостатки в построении предложений и стиль нуждался в отделке и пр. и пр. — тем не менее за весь свой учительский опыт я не встречал ничего подобного.

Эта девушка сумела нарисовать в уме и передать картину с зимним лесом, бедной лачугой, двумя крестьянами и королем без короны; она вспомнила саксонские легенды; она оценила нестигаемое мужество Альфреда перед превратностями судьбы, показала христианский дух короля, полагающегося с глубочайшей, хотя и примитивной верой тех времен на помощь библейского Иеговы в противостоянии языческому Року. И все это она сделала без моих наставлений: я только задал тему, но ни словом не обмолвился, как ее разрабатывать.

«Я непременно найду возможность с ней переговорить, — подумал я, сложив работу. — Я узнаю, что же, кроме имени Фрэнсис Эванс, связывает ее с Англией. В языке она не новичок — это очевидно, хотя и сказала мне, что ни в Англии не была, ни уроков английского не брала, ни жила гувернанткой в английских семьях».

На следующем уроке я сделал обзор других изложений, распределяя, как обычно, похвалы либо порицания малыми дозами, ибо от суровых выговоров пользы все равно бы не было, а панегирика едва ли кто заслуживал. Об изложении м-ль Анри я даже не упомянул

и, водрузив на нос очки, пытался расшифровать выражение ее лица, определить, как восприняла она сие упущение. Я хотел выяснить, осознает ли она вообще собственные способности. «Если она знает, с каким умом написала эту работу, то непременно должна обидеться», — думал я.

Как обычно, строгим, почти угрюмым было ее лицо, как обычно, глаза были прикованы к лежащей перед нею тетрадке; но во всем ее облике ощущалось ожидание чего-то, и когда, отложив последнюю прокомментированную работу, я потер руки и велел открыть учебники грамматики, Фрэнсис едва заметно переменилась в лице, словно оставила и без того слабую надежду на радость; она ожидала, что будет обсуждаться нечто, непосредственно ее касающееся; обсуждения же не состоялось, и ожидание это, увядшее и потускневшее, отступило — однако вместо него почти сразу же явилась сосредоточенность, и лицо, на миг омертвевшее, вновь ожило; все равно весь оставшийся урок я скорее даже чувствовал, чем видел, что надежда безжалостно вырвана из нее, и если Фрэнсис не проявляла никаких признаков переживания, то потому лишь, что не желала этого показывать.

В четыре часа, когда со звоном в классной комнате возникла суматоха, я вместо того, чтобы взять шляпу и покинуть свой помост, некоторое время сидел неподвижно, глядя, как Фрэнсис складывает в сумку тетради. Застегнув сумку, она подняла голову и, встретив мой взгляд, легким, почтительным реверансом словно попрощалась со мною и хотела уж было уйти.

— Подойдите ко мне, — сказал я, сопроводив эти слова подзывающим жестом.

Фрэнсис явно заколебалась: расслышать меня среди гула, наполнившего оба класса, она, конечно, не могла. Я подозревал ее вторично; она приблизилась и, остановившись в двух шагах от моего стола, нерешительно взглянула на меня, все еще сомневаясь, правильно ли поняла мой жест.

— Взойдите сюда, — сказал я повелительным тоном, какой особенно действует на неуверенных в себе, легко приходящих в смущение натур, и, подав руку м-ль Анри, провел на место между столом и окном, где ее не доставал поток учениц из соседнего класса и куда никто не смог бы подобраться, чтобы нас подслушать.

— Присядьте, — произнес я, указывая на стул и едва ли не заставил ее сесть.

Я прекрасно знал, что действия мои будут восприняты остальными как нечто из ряда вон, однако нимало не беспокоился по этому поводу. Фрэнсис тоже это знала и, судя по возбужденному виду и даже некоторому трепету, встревожилась не на шутку. Я извлек из кармана свернутую в трубочку работу.

— Это ваше, надо полагать? — обратился я к Фрэнсис по-английски, будучи уверен, что она вполне владеет этим языком.

— Да, — быстро ответила она; и когда я расправил и положил ее тетрадку на стол, не отнимая руки с карандашом, то заметил, как она восторгалась и как будто зажглась, а вечно унылое лицо просияло, подобно тому, как из-за тучи выбирается полуденное солнце.

— В работе вашей масса погрешностей, — сказал я. — У вас не один год уйдет на тщательное изучение языка, прежде чем вы в состоянии будете писать по-английски с безупречной грамотностью. Слушайте: я укажу существенные недостатки.

И я прошелся по тексту, останавливаясь на каждой ошибке и объясняя, как следует писать то или иное слово, составлять ту или иную фразу и почему не иначе. Отрезвляющая эта процедура заметно успокоила Фрэнсис, и далее я проговорил:

— Что же касается содержания вашей работы, м-ль Анри, меня оно приятно удивило; я прочитал ее очень внимательно и даже с наслаждением, потому что обнаружил очевидное свидетельство вкуса и воображения. Разумеется, качества эти не есть высочайшие дарования, однако, должен отметить, в вас они развиты если не в превосходной степени, то в значительно превосходящей ту, которой могло бы похвалиться большинство учениц. Как я убедился, вы способны о себе заявить; так возвращайте посеянные в вас Богом и природой семена и не бойтесь — как бы вы ни страдали, какая бы несправедливость вас ни угнетала — обрести свободу и утешение в осознании собственной силы и исключительности.

«Сила и исключительность! — повторил я мысленно. — Похоже, я попал в цель». Так я подумал, ибо, вскинув взгляд, увидел, что лучи солнца разорвали заслонявшую его тучу: лицо Фрэнсис мгновенно преобразилось и в глазах засияла улыбка — улыбка почти торжествующая, которая словно говорила: «Я рада, что вам удалось

открыть во мне много достоинств, и совершенно нет надобности так осторожничать в признании их. Вы думаете, я сама себя не знаю? Все, что вы мне сообщили в выражениях столь сдержанных, я и без того знаю с детства».

Сказано это было так отчетливо, как только может сказать внезапно вспыхнувший, открытый взгляд; но в следующий миг легкий румянец, лучистость ее глаз потухли; даже ясно видя свои достоинства, Фрэнсис не менее ясно видела также и недостатки: и на миг проявившаяся уверенность скрылась под натиском горьких сомнений. Столь внезапной и быстрой была эта перемена, что я не успел, как мне хотелось, поколебать триумф строгим упреком: когда я нахмурился, Фрэнсис и так уже была серьезной и печальной.

— Благодарю вас, сэр, — промолвила она, поднимаясь, и в голосе ее, и во взоре чувствовалась сдержанная благодарность.

В самом деле, переговоры пора было закончить: оглядевшись, я увидел, что все пансионерки (приходящие ученицы уже разошлись), разинув рты и округлив глаза, толпятся в паре ярдов от стола, три *maîtresses* перешептываются в углу, а прямо у моего локтя сидит на низком стуле как всегда невозмутимая директриса, приделывая кисточки к уже готовому кошельку.

Так смело добившись разговора с м-ль Анри, я в результате остался неудовлетворенным; я собирался спросить, каким образом при французской фамилии у нее оказались два английских имени — «Фрэнсис» и «Эванс», а также откуда у нее такое хорошее произношение. И о том и о другом я позабыл, да и беседа наша была столь непродолжительной, что об этом я все равно бы не успел осведомиться. Более того, я не успел даже просто поговорить с ней по-английски, чтобы проверить ее разговорные навыки, — все, что я вытянул из нее, было «Да» и «Благодарю вас, сэр».

«Не страшно, — подумал я. — Что не успел сегодня, завершу в другой раз».

Я не нарушил данного себе обещания. Хотя весьма затруднительно было обменяться даже несколькими словами с одной ученицей среди всей массы, но, как говорится, было бы желание, а возможность найдется. Я неустанно выискивал подходящий повод переговорить с м-ль Анри, невзирая на то, что всякий раз, когда я к ней

подходил, на нее обращались завистливые взгляды и слышался шепот злословия.

— Вашу тетрадь! — в таком примерно тоне начинал я наши короткие диалоги.

Я всегда выбирал время в конце урока; знаком велю ей встать, я усаживался на ее место, и она почтительно стояла рядом — в общении с ней я полагал мудрым и правильным строгое соблюдение принятых норм поведения учителя с учеником; я понял, что пропорционально тому, как мои манеры в отношении к Фрэнсис становятся жестче и деспотичнее, в ней возрастает спокойствие и самообладание — безусловно, странный контраст к обычному в таких случаях результату, однако с м-ль Анри это было именно так.

Сейчас я передам вам наш первый разговор.

— Карандаш! — резко сказал я и, не глядя на Фрэнсис, требовательно протянул руку.

Фрэнсис вручила мне карандаш, и, принявшись подчеркивать ошибки в упражнении по грамматике, я спросил:

— Вы ведь не уроженка Бельгии?

— Нет.

— И не Франции?

— Нет.

— Где ж тогда вы родились?

— В Женеве.

— Надеюсь, вы не станете утверждать, будто «Фрэнсис» и «Эванс» швейцарские имена?

— Нет, сэр; это английские имена.

— Правильно; значит, у женеvцев в ходу нарекать своих детей английскими именами?

— Нет, мсье; mais... [\[101\]](#)

— Сובлаговолите изъясняться по-английски.

— Mais...

— По-английски!

— Но, — смущенно произнесла она, — мои родители не были двумя женеvцами...

— Говорите «оба» вместо «двумя», мадемуазель.

— Не были оба швейцарцами: мать моя была англичанкой.

— О?! И английских корней?

— Да, ее прародители все были англичане.
— А ваш отец?
— Он был швейцарец.
— А кроме этого? Кем он был по роду занятий?
— Священником... Пастором — у него был приход.
— Раз уж ваша матушка из англичан — почему вы не говорите по-английски с большей легкостью?
— Maman est morte, il y a dix ans. [\[102\]](#)
— И вы чтите ее память тем, что забываете ее родной язык. Сделайте милость, выкиньте из головы французский, пока я с вами разговариваю, — придерживайтесь английского.
— C'est si difficile, Monsieur, quand on n'en a plus l'habitude. [\[103\]](#)
— А прежде он был, надо полагать? Отвечайте на языке матери.
— Да, сэр; в детстве я говорила больше по-английски, чем по-французски.
— Почему же теперь вы на нем не говорите?
— Потому что у меня нет друзей-англичан.
— Вы, вероятно, живете с отцом?
— Отец мой умер.
— Братья и сестры у вас есть?
— Ни одного.
— Вы живете одна?
— Нет... У меня есть тетушка... ma tante Джулиан.
— Сестра вашего отца?
— Justement, Monsieur. [\[104\]](#)
— Это по-английски?
— Нет... но я забыла...
— За что, мадемуазель, будь вы ребенком, я непременно бы слегка вас наказал; в вашем же возрасте — а я склонен думать, вам двадцать два или двадцать три?
— Pas encore, Monsieur, — en un mois j'aurai dix-neuf ans. [\[105\]](#)
— Ну, девятнадцать — возраст уже зрелый, и, достигнув его, вы должны так стремиться к совершенству, чтобы учителю не приходилось дважды напоминать вам, сколь целесообразно говорить по-английски всякий раз, когда представится благоприятная возможность.

На эту преисполненную мудрости тираду ответа я не получил, а когда поднял голову, ученица моя улыбалась, и улыбка ее, невеселая, но красноречивая, словно говорила: «Он толкует мне о том, чего совсем не знает», — причем говорила так недвусмысленно, что я нацелился выяснить, в чем же заключается это мое неведение.

— Вы стремитесь себя совершенствовать?

— Конечно.

— И чем вы это подтверждаете, мадемуазель? — Этот странный, к тому же грубовато заданный вопрос вызвал вторую улыбку.

— Разве, мсье, я невнимательна? Я хорошо выполняю все ваши задания...

— Так это и ребенок сможет! А что вы делаете помимо этого?

— А что я могу еще?

— Ну, разумеется, немного; но вы ведь не только ученица, а и учитель, не так ли?

— Да.

— Вы ведете рукоделие? Плетение и починка кружев?

— Да.

— И вам нравится это унылое и бестолковое занятие?

— Нет, оно слишком нудное.

— Почему ж вы продолжаете этим заниматься? Почему не предпочтете историю, географию, грамматику или арифметику?

— Мсье так уверен, что сама я основательно изучила эти предметы?

— Не знаю; в ваши годы следовало бы их знать.

— Но я никогда не училась в школе, мсье.

— В самом деле? А как же ваши родные? Ваша тетушка? Это ее вина?

— Нет, мсье, нет. Тетушка у меня очень хорошая, она не виновата. Она делает для меня все, что может: она дает мне кров и меня кормит. — Я передаю сказанное м-ль Анри в точности, как она перевела это с французского. — Она не богатая, у нее только тысяча двести франков годовой ренты, и для нее невозможно было устроить меня в школу.

«Да уж», — подумал я, но вслух продолжал прежним, категоричным тоном:

— Это достойно сожаления, однако вы не сведущи в самых что ни на есть обычных знаниях. Если б вы более-менее сносно знали историю или грамматику, то со временем могли бы расстаться с этим кружевным занудством и подняться выше.

— Именно это я и собираюсь сделать.

— Как? Изучая один английский? Этого мало: никакое почтенное семейство не примет гувернантку, багаж знаний которой состоит лишь из знакомства с одним иностранным языком.

— Мсье, я знаю не только это.

— Да-да, конечно, вы умеете работать с гарусом, вышивать платки и воротнички — но это мало вам поможет.

М-ль Анри приоткрыла было рот, явно желая что-то возразить, однако сдержалась, видимо полагая, что разговор этот не стоит продолжать.

— Говорите, — сказал я раздраженно. — Я не люблю внешней уступчивости, когда в сущности совсем иначе; ведь возражение у вас на кончике языка.

— Мсье, я брала много уроков и по грамматике, и по истории, географии и арифметике и прошла каждый этот курс.

— Bravo! Но как же вам это удалось, раз у вашей тетушки не было средств отправить вас учиться?

— Благодаря кружевам и тому занятию, которое мсье так презирает.

— Вот как! А теперь, мадемуазель, я задам вам хорошее упражнение: объяснить мне по-английски, как такими средствами был достигнут такой результат?

— Мсье, сразу после нашего переезда в Брюссель я попросила тетушку научить меня чинить кружева, потому что знала: это *metier*, ремесло, которое легко освоить и за счет которого я очень скоро смогу заработать какие-то деньги. Я овладела им в несколько дней и быстро нашла работу, поскольку у всех брюссельских леди кружева старинные и очень ценные и их требуется чинить и подновлять после каждой стирки. Я заработала небольшую сумму и заплатила за уроки по тем предметам, что уже упомянула; оставшиеся же деньги я истратила на книги, больше всего английские. Когда я научусь хорошо говорить и писать по-английски, я попробую устроиться гувернанткой или учительницей в школу, но, боюсь, это будет ужасно сложно: ведь все,

кто знает меня как кружевницу, будут презирать, как здесь презирают мои ученицы. Pourtant j'ai mon projet, ^[106] — добавила она очень тихо.

— И какой?

— Я уеду в Англию и буду там жить; буду преподавать там французский.

Сказано это было крайне выразительно: «Англия» в ее устах прозвучала так, как, вероятно, евреи во дни Моисея произносили «Ханаан».

— Вы желаете увидеть Англию?

— Да, я уже решила.

Но тут в разговор наш вмешался голос — голос директрисы:

— Mademoiselle Henri, je crois qu'il va pleuvoir; vous feriez bien, ma bonne amie, de retourner chez vous tout de suite. ^[107]

В молчании, ни словом не поблагодарив директрису за столь любезное предупреждение, м-ль Анри собрала сумку; она почтительно мне кивнула и повернулась было к начальнице, но, словно не в силах заставить себя склониться, поспешно удалилась.

Когда в характере есть зерно настойчивости или своеволия, незначительные препятствия скорее побудят к действию, нежели отобьют к нему охоту. М-ль Рюте совершенно напрасно изволила утруждать себя прогнозом погоды (который, кстати, не оправдался, ибо дождя в тот вечер вовсе не было). На следующий день я снова в конце урока оказался за партой м-ль Анри и начал следующим образом:

— Вы представляете себе Англию, мадемуазель? Почему вы вознамерились туда уехать?

Успев привыкнуть к моему умышленно резкому обхождению с ней, м-ль Анри более не удивлялась ему и не расстраивалась, а если и отвечала неуверенно, то вызывалось это исключительно тем, что ей было несколько затруднительно с ходу переводить свои мысли с французского на английский.

— Англия — нечто уникальное, как я слышала и читала; представление мое о ней очень смутное, и я хочу туда поехать, чтобы оно стало яснее и четче.

— Хм! И много вы предполагаете увидеть в Англии, отправившись туда в качестве учителя? Воображаю, какое ясное и четкое представление о стране у вас сложится! Все, что вам

посчастливилось увидеть в Великобритании, — это интерьер какой-нибудь школы или, самое большее, одного-двух частных домов.

— Но это будут английская школа, английские дома.

— Бесспорно, но что из этого? Сколь ценны будут наблюдения, сделанные в столь узком масштабе?

— Мсье, разве нельзя узнавать что-либо по аналогии? За счет *échantillon*... пре... при... примера очень часто можно получить представление о целом; кроме того, «узкий» и «широкий» — понятия относительные, не правда ли? Вся моя жизнь, возможно, покажется вам узкой; а жизнь... этого маленького зверька, что под землей — *une taupe* — comment dit-on? [\[108\]](#)

— Крот.

— Да, жизнь крота под землей покажется узкой мне.

— Неплохо, мадемуазель; а дальше? Продолжайте.

— Mais, Monsieur, vous me comprenez. [\[109\]](#)

— Не совсем; будьте добры объяснить.

— Мсье, все именно так. В Швейцарии я мало что узнала, мало что увидела; моя жизнь была ограниченной, изо дня в день я ходила по одному и тому же кругу; я не могла из него выбраться; останься я жить там — то до самой смерти даже не расширила б его, потому что я бедна и непредприимчива и не имею особых знаний; когда я вконец устала от этого однообразия, то упросила тетюшку перебраться в Брюссель; здесь моя жизнь не стала шире, потому как я не разбогатела и не поднялась в общественном положении; остались те же узкие границы — но место действия переменилось; и оно снова поменяется, когда я уеду в Англию. Я несколько изучила женевцев, теперь знаю отчасти брюссельцев; а если попаду в Лондон, познакомлюсь с его горожанами. Вы понимаете что-нибудь из моих слов, мсье, или все это невразумительно?

— Понимаю, понимаю; теперь перейдем к другой теме. Вы намерены посвятить себя преподаванию, в то время как вы весьма незадачливый учитель; вы не можете держать учеников в повиновении.

Услышав это жесткое замечание, она как-то болезненно сжалась, потупилась, но, быстро совладав с собою, подняла голову:

— Мсье, я не умелый учитель, это так, но все приходит с опытом, да и работаю я в плохих условиях; здесь я веду только рукоделие и не

могу проявить сил и способностей — это не очень-то высокое искусство; кроме того, в этом доме у меня нет союзников, я изолирована. Я здесь считаюсь еретичкой, и это напрочь лишает меня какого-либо влияния.

— В Англии же вы будете иностранкой; это также лишит вас влияния и действительно изолирует от окружающих; там у вас будет не больше связей и не выше положение, чем здесь.

— Но я буду узнавать новое; а что до остального — там я встречу, вероятно, те же трудности, что и везде; и если мне предстоит бороться и, может статься, быть побежденной, лучше я покорюсь английской гордости, чем фламандской грубости; кроме того, мсье...

Она умолкла, но явно не из-за того, что не могла выразить мысль, а потому что благоразумная осторожность словно сказала ей: «Достаточно».

— Закончите фразу, — потребовал я.

— Кроме того, мсье, мне очень хочется жить среди протестантов; они честнее католиков; католическая школа — строение с предательскими стенами, ложным полом и фальшивым потолком; каждая комната в этом доме, мсье, имеет глаза и уши, и, как сам дом, обитатели его лживы; все они считают, что ложь в порядке вещей, называя это вежливостью, и, ненавидя — твердят о дружбе.

— Все? — спросил я. — Вы подразумеваете учениц, всего лишь детей, неопытных, легкомысленных созданий, которые не научились еще различать истинное и ложное?

— Нет, мсье, дети как раз самые искренние существа; они не успели еще стать искусными в двуличии; они солгут, но сделают это так неумело, что вы сразу распознаете ложь. А вот взрослые очень фальшивы, они обманывают Всех и каждого...

В этот момент вошла служанка.

— M-lle Henri, M-lle Reuter vous prie de vouloir bien conduire la petite de Dorlodot chez elle, elle vous attend dans le cabinet de Rosalie la portière — c'est que sa bonne n'est pas venue la chercher — voyez-vous.
[\[110\]](#)

— Eh bien! est-ce que je suis sa bonne — moi?^{[\[111\]](#)} — воскликнула м-ль Анри; затем, улыбаясь той горькой, полной иронии улыбкой, что мне уже довелось однажды видеть на ее губах, она быстро встала и ушла.

ГЛАВА XVII

Молоденькая англошвейцарка, судя по всему, извлекала и удовольствие, и огромную пользу, изучая язык своей матушки. Наставляя м-ль Анри, я, разумеется, не держался в рамках обычных школьных предписаний; руководство в английском я использовал и как руководство в литературе. Я расписал ей курс чтения; у м-ль Анри имелась небольшая библиотека английских классиков — часть книг достались от матери, остальные же она приобрела на собственные заработки; к тому же я дал ей почитать несколько современных сочинений. Все это она жадно проглатывала, представляя мне по прочтении краткий конспект каждого произведения. Сочинительство тоже ей нравилось.

Занятие это, судя по всему, было необходимо ей, как воздух; очень скоро ее работы, ставшие намного лучше, и стиль, казавшийся более отшлифованным, заставили меня признать, что те качества, которые я когда-то обозначил как вкус и воображение, скорее следует именовать чувством прекрасного и творческой фантазией. Когда я высказал все это Фрэнсис — хотя обычно хвалил ее в выражениях холодных и скупых, — я ожидал увидеть сияющую, ликующую улыбку, что некогда вызвал один очень краткий хвалебный отзыв. Однако Фрэнсис лишь слегка порозовела и улыбнулась очень мягко и застенчиво, а вместо того чтобы вскинуть на меня торжествующий взгляд, посмотрела на мою руку, что, протянутая над ее плечом, писала карандашом кое-какие указания на полях тетради.

— Итак, вы рады, что я удовлетворен вашими успехами? — спросил я.

— Да, — ответила она тихо, и румянец, который было исчез, вновь заиграл на ее щеках.

— Но, надо полагать, я до конца не изъяснился? — продолжал я. — И мои слова слишком сухи?

Она не ответила и, как мне показалось, погрузилась. Я угадал ее мысли и, с радостью желая на них ответить, считал это вполне уместным и целесообразным. Она не искала честолобиво моего восхищения, не жаждала ослепить меня, но небольшое, даже самое незначительное

внимание с моей стороны радовало ее сильнее, чем мог бы обрадовать любой панегирик.

Чувствуя это, я долго стоял над Фрэнсис, исписывая поля ее тетради. Я не в силах был сменить положение и оторваться от этого занятия; что-то удерживало меня склоненным над ней, когда наши головы и руки почти соприкасались. Однако же поля на листке — пространство небезграничное, о чем, несомненно, подумала и директриса; в связи с этим обстоятельством она решила пройти мимо нас, чтобы выяснить, как это мне удалось столь непомерно увеличить отрезок времени, требуемый на то, чтобы их исписать.

Надо заметить, что Фрэнсис от напряженной учебы отнюдь не выглядела бледной и изможденной; возможно, интенсивная деятельность мозга вполне компенсировала бездействие тела при постоянной сидячей работе. В самом деле, Фрэнсис изменилась — но изменилась только к лучшему. Помнится, когда я в первый раз ее увидел, лицо было тусклым и бесцветным; чувствовалось, что у этого существа во всем мире нет ни источника радостей, ни тайника блаженства. Теперь же тень сошла с ее лица, и стал возможен восход надежд, интереса к жизни и тех чувств, что пробуждаются, как ясное утро, оживляющее все, что прежде пребывало во мгле уныния, раскрашивая, подсвечивая все, дотоле бледное и хмурое. Глаза Фрэнсис, цвета которых я поначалу не смог и различить — от затаенных слез и тоски они были потухшими и мрачными, — теперь сияли, большие, ярко-карие, оттененные длинными ресницами, отражая солнце, взошедшее в ее душе. Исчез тот измученный взгляд, что сообщал угрюмую задумчивость ее тонкому, удлиненному лицу, которое за прошедшее время чуть округлилось; чистая, гладкая кожа словно ожила и заблестела, и резковатые черты стали нежнее и мягче. Сия благотворная перемена сказалась и в фигуре; она тоже округлилась, но лишь слегка, и удивительная гармония форм в сочетании с невысоким ростом была столь совершенной, что не позволяла сожалеть о недостаточной их пышности; легкость и утонченность линий, изящность талии, рук и ног, особенно запястий и лодыжек, полностью соответствовали моим понятиям о соразмерности и сообщали ее телу такую легкость и свободу движений, какие соотносились с моими представлениями о грациозности.

Так переменившись, так воспрянув духом, м-ль Анри обрела иное положение в пансионе; ее внутренние силы, заявившие о себе хотя и не разом, но с непреклонностью, очень скоро признаны были даже ненавистницами; и, когда девицы, юные и пышущие здоровьем, открыли для себя, что и она способна ослепительно улыбаться, шутить и двигаться с удивительной живостью и проворством, ее признали как равную в смысле юности и здоровья и стали принимать как сестру.

Я же, признаться, наблюдал эту перемену в м-ль Анри, пожалуй, даже с большим пристрастием, чем то, с каким садовник следит за ростом и развитием любимого питомца. Я без особого труда уяснил, как следует мне воспитывать свою ученицу, лелеять ее изголодавшийся дух и стимулировать расширение и выход той внутренней энергии, что прежде, без солнца и живительной влаги, в отравленной, губительной атмосфере возрасти не могла. Неустанное внимание, доброта и заботливость, что таилась под маской суровости и лишь изредка проявлялась в заинтересованном взгляде или сердечном слове, подлинное уважение, скрытое напускным высокомерием, — таковы были мои средства, ибо они лучше всего подходили к характеру Фрэнсис, чувствительной и полной нерешительности, гордой и вместе с тем робкой. Средства эти подталкивали ее к прилежному труду, одновременно помогая и поддерживая.

Преимущество моей методы сказалось также и в том, что Фрэнсис сильно изменилась и как учитель. Обнаружив в м-ль Анри силу духа и твердость, ученицы поняли, что она вышла из-под их власти; ей мало-помалу стали повиноваться. А если и случалось, что та или иная девица выражала вдруг протест, Фрэнсис уже не принимала этого близко к сердцу; теперь у нее был источник душевного комфорта, которого они не могли осушить, и была надежная опора, которую не могли из-под нее выбить; прежде, будучи оскорбленной, она лишь плакала, теперь же находила силы улыбаться.

Когда я однажды прочитал всему классу одну из письменных работ Фрэнсис, способности моей ученицы раскрылись всем без исключения. Задано, помнится, было сочинить письмо эмигранта оставшимся на родине друзьям.

Составленное Фрэнсис письмо начиналось с простотой и легкостью; в нескольких штрихах, весьма натурально и живописно читателю представлено было место, где жил предполагаемый

эмигрант, с девственным лесом Нового Света и полноводной, но без единого паруса, без единого флага рекой. Далее автор коснулся тех трудностей и опасностей, что неминуемы в жизни поселенца; и, хотя на сей предмет слов было сказано совсем немного, м-ль Анри удалось отчетливо передать дух решимости, терпения и стойкости перед невзгодами. Засим упомянуты были обстоятельства, вынудившие его покинуть родину; и здесь автор письма был показан как личность независимая, с безупречной честью, нестигаемой волей и нерушимым чувством собственного достоинства. Далее писалось о минувших днях, и строки эти были исполнены горечью разлуки и тоской по родным местам. Вся работа Фрэнсис была проникнута чувством глубоким, сильным и светлым, и в конце — как утешение — с убедительной страстностью зазвучала вера в Бога.

С точки зрения языка работа была написана весьма вдумчиво и почти безукоризненно, стиль ее отличался гармоничностью и изяществом.

М-ль Рюте, присутствовавшая при чтении этой работы, недурно понимала по-английски, хотя сама ни говорить, ни писать не могла. Все время, пока я читал, глаза ее и пальцы заняты были батистовым платочком, по краю которого она выделявала то ли рубчик, то ли каемочку; директриса никак не отреагировала на услышанное, и в лице ее была какая-то отстраненность — ни удивления, ни одобрения, ни интереса или удовольствия на нем не отражалось, как, впрочем, не было и пренебрежения, досады или скуки; если и говорило что-нибудь это непроницаемое выражение лица, то лишь нечто вроде: «Все это слишком банально, чтобы вызвать эмоции или какое-то мнение».

Когда я закончил урок, поднялся гул; несколько учениц, обступив м-ль Анри, принялись засыпать ее комплиментами; тут сквозь шум раздался ровный, невозмутимый голос директрисы:

— Девушки, собирающиеся уходить, извольте разобрать плащи и зонтики и, пока не полил дождь, — надо сказать, дождик едва накрапывал, — поспешить домой; остальные будут дожидаться своих служанок, пока те не приедут их забрать.

И поскольку пробило уже четыре, ученицы стали расходиться.

— Мсье, на пару слов, — сказала, ступив на возвышение, м-ль Рюте, жестом давая понять, чтобы я немедленно отложил свою кастановую шляпу, которую успел уже схватить.

— Я к вашим услугам, мадемуазель.

— Мсье, безусловно, вы избрали блестящий способ поощрять прекрасные порывы и устремления учащихся — обращать всеобщее внимание на успехи старательного, трудолюбивого ученика. Однако не думается ли вам, мсье, что в данном случае восхваленная вами особа едва ли может конкурировать с другими ученицами? М-ль Анри старше большинства из них и к тому же обладает изначальными преимуществами в усвоении английского языка; с другой же стороны, она из более низкой среды, нежели девицы, и посему, открыто, при всех воздавая ей почести, вы тем самым вызовете невыигрышные для нее сравнения и возбудите в ученицах далеко не самые желательные в отношении м-ль Анри чувства. Будучи же заинтересована в ее благополучии, я стремлюсь защитить ее от неприятностей такого рода. Кроме того, мсье, как я уже вам однажды намекала, в м-ль Анри сильно развито amour-propre, а подобные чествования будут способствовать непомерному разрастанию сего качества, которое следовало бы, скорее, сдержать и приугасить. Далее, мсье, как я склонна считать, честолюбие, особенно в образовании, совсем не то, что нужно поощрять в женщине; посудите сами, что будет содействовать благополучию и счастью м-ль Анри: если ей внушат, что жизнь ее должна состоять в спокойном, умеренном выполнении общественных обязанностей или если будут подталкивать ее амбиции публичной похвалой и рукоплесканиями? Возможно, м-ль Анри никогда не выйдет замуж — с ее скудными средствами, мелкими связями, ненадежным здоровьем (а я полагаю, у нее чахотка, болезнь эта уже унесла ее матушку) более чем возможно, что никогда не выйдет; во всяком случае, я не вижу для нее способа подняться до такого положения, когда подобный шаг стал бы возможен; и, согласитесь, даже в незамужней жизни для нее желательнее будут характер и наклонности почтенной, достойной дамы.

— Бесспорно, мадемуазель, — ответил я. — Суждения ваши не допускают возражений.

И, опасаясь, что сие словоизвержение возобновится, я под прикрытием согласия поспешно удалился.

Спустя пару недель я обнаружил в журнале посещаемости первый пробел против фамилии Фрэнсис. День-другой я лишь удивлялся ее отсутствию, не желая никого выпрашивать о причинах этого; я

надеялся, впрочем, вывести объяснение из какого-нибудь случайно брошенного слова и тем самым избежать глупых улыбок учениц и злословия.

Прошла еще неделя, а парта у самой двери по-прежнему оставалась свободной. И поскольку никто в классе даже не заикнулся об этом обстоятельстве, поскольку, напротив, все словно сговорились соблюдать молчание на сей предмет, я решился наконец *coûte que coûte*^[112] пробить лед этой нелепой таинственности. На роль информатора я выбрал Сильвию: от нее я мог рассчитывать получить вразумительное объяснение, не сопровождающееся вилянием, хихиканьем и прочими глупостями.

— *Où done est M-lle Henri?*^[113] — спросил я однажды, возвращая Сильвии проверенную тетрадь.

— *Elle est partie, Monsieur.*^[114]

— *Partie! Et pour combien de temps?*^[115]

— *Elle est partie pour toujours, Monsieur; elle ne reviendra plus.*^[116]

— Как?! — вырвалось у меня восклицание; помолчав немного, я осторожно спросил: — *En êtes-vous bien sûre, Sylvie?*^[117]

— *Oui, oui, Monsieur; Mademoiselle la directrice nous l'a dit elle-même il y a deux ou trois jours.*^[118]

Расспрашивать далее я не мог: препятствовали этому и место, и время, и обстоятельства. Разумеется, мне хотелось бы узнать причину внезапного исчезновения учительницы из пансиона, а также добровольен ли был ее уход; я сдержал уже готовые вылететь вопросы: кругом были нежелательные слушатели.

Через час, проходя по коридору, я остановился возле надевавшей шляпку Сильвии и спросил:

— Сильвия, вам известен адрес мадемуазель Анри? У меня остались кое-какие ее книги, — добавил я на всякий случай, — и мне бы нужно было их переслать.

— Нет, мсье, — ответила Сильвия. — Но может быть, Розалия, привратница, его знает?

Комната Розалии как раз была рядом; я вошел и осведомился у нее насчет адреса м-ль Анри. Розалия, разряженная француженка-гризетка, оторвалась от работы и уставилась на меня слишком понимающе и именно с такой улыбкой, какой я более всего опасался. Ответ ее был

словно заготовлен; она абсолютно ничего не знала о местопребывании м-ль Анри и вообще никогда не знала ее адреса.

С раздражением развернувшись — ибо я уверен был, что она лжет и что для того только ее здесь и держат, — я чуть не натолкнулся на того, кто внезапно оказался за моей спиной, — на директрису. Мой резкий поворот заставил ее отступить на пару шагов. Я вынужден был принести извинения, что и сделал весьма сжато и отрывисто, без намека на учтивость. Едва ли кому нравится, когда его прямо-таки выслеживают, к тому же я и без того был изрядно раздосадован — так что, увидев м-ль Рюте, я с трудом подавил в себе ярость. В тот момент, когда я обернулся, в лице ее была злость, смешанная с голодным любопытством, директриса буквально сверлила меня взглядом. Только успел я уловить это выражение, как оно сменилось вкрадчивой улыбкой, а грубоватое мое извинение было принято с легкостью и даже остроумием:

— О, ничего страшного, мсье, вы ведь только изволили тронуть локтем мою прическу. Она от этого не слишком пострадала, чуточку лишь растрепалась.

И м-ль Рюте поправила прическу; быстро пробежав пальчиками по локонам, она разделила их на множество струящихся завитков. Затем она с живостью заговорила:

— Розалия, я пришла сказать, чтобы вы не мешкая закрыли окна в гостиной; поднялся сильный ветер, и муслиновые занавеси быстро запылятся.

Розалия ушла.

«Теперь-то уж номер не пройдет, — подумал я. — М-ль Рюте, вероятно, считает, что низкое ее подслушивание хорошенько спрятано под мастерски выдуманном предлогом, тогда как на самом деле он прозрачен, как эти муслиновые занавески». Во мне вскипело желание отбросить эту завесу лжи и напрямик высказать директрисе, что я думаю насчет ее действий. «И все же при скользкой земле лучше подковать лошадь на шипы», — решил я и потому начал так:

— Я узнал, что мадемуазель Анри покинула ваше заведение. Она уволена, надо полагать?

— О, это как раз то, о чем я желала с вами переговорить, мсье, — ответила директриса вполне натурально и доброжелательно. — Но

здесь не место для такой беседы. Не будет ли мсье угодно на минутку пройти в сад?

И она двинулась впереди меня по коридору к стеклянной двери.

— Ну, вот, — произнесла директриса, когда спустя некоторое время мы оказались на дальней аллее и пышные кусты и деревья, в пике своей летней красоты, загородили нас отовсюду, внушив тем самым ощущение пустынности даже на столь небольшом клочке земли в сердце столицы. — Ну, вот; когда вокруг лишь грушевые деревья да розовые кусты, дышится вольно и спокойно; осмелюсь предположить, что вы, мсье, как и я, иной раз утомляетесь вечно быть в стремнине жизни; вокруг вас постоянно людские лица, на вас все время смотрят чьи-то глаза, а в ушах постоянно звучат человеческие голоса. Положа руку на сердце, я очень часто мечтаю о том, чтобы вырваться на волю и хотя бы месяц прожить за городом в каком-нибудь маленьком деревенском домике, *bien gentille, bien propre, tout entourée de champs et de bois*; quelle vie charmante que la vie champêtre! N'est-ce pas, Monsieur?
[\[119\]](#)

— Cela dépend, Mademoiselle. [\[120\]](#)

— Que le vent est bon et frais! [\[121\]](#) — восторженно продолжала директриса.

Тут она была права, ибо и впрямь веял мягкий, свежий ветер. Шляпу я держал в руках, и он ласково взъерошивал мне волосы и словно бальзамом омывал виски. Успокаивающее его действие, однако, не проникло вглубь; шагая рядом с м-ль Рюте, я был по-прежнему распален, и чем дальше, тем пуще разгорался во мне огонь. Наконец я проговорил:

— Я так понимаю, мадемуазель Анри сюда больше не вернется?

— Ах, и правда! Я ведь собиралась вам это сказать еще несколько дней назад, но я все время так занята, что не успеваю и половины сделать из всего намеченного; вам никогда не доводилось замечать, мсье, что день слишком короток для выполнения столь неисчислимых обязанностей?

— Не часто. Уход мадемуазель Анри, полагаю, был не по ее воле? Иначе она непременно дала бы мне об этом знать, будучи моей ученицей.

— Разве она вам не сказала? Странно. Впрочем, этого вопроса я не думала касаться; когда у человека дел по горло, он может позволить

себе запомнить мелкие, далеко не первой важности происшествия.

— Значит, рассчитав мадемуазель Анри, вы склонны расценивать это как незначительный эпизод?

— Рассчитав? Что вы, ее не рассчитали; и смею с честью сообщить вам, мсье, что с того дня, как я возглавила это заведение, ни один учитель, ни один наставник не был *рассчитан*.

— Хотя некоторые и покидали его, мадемуазель?

— И даже многие. Видите ли, время от времени я чувствовала в этом необходимость: смена учителей в большинстве случаев идет на пользу всему пансиону: это приносит некоторое оживление и разнообразие в учебную жизнь, благотворно действует на учениц и убеждает родителей в неустанной заботе об их дочерях и о постоянном улучшении преподавания и воспитания.

— А когда вам просто надоест какой-либо учитель или *maîtresse*, вы не стесняетесь отказать ему от места?

— Нет нужды в таких крайних мерах, уверяю вас. Allons, Monsieur le professeur, asseyons-nous; je vais vous donner une petite leçon dans votre état d'instituteur.^[122]

Мы между тем уже подошли к небезызвестной читателю скамейке; директриса села и знаком велела мне опуститься подле нее, но я только оперся коленом о скамью и стоял, подставив голову и плечо под свисающую ветку золотого дождя, яркие, солнечные цветки которого, сочетаясь с темно-зелеными листьями сирени, заставляли играть и переливаться светом и тенью живое укрытие.

Минуту м-ль Рюте сидела в молчании; нечто новое проворачивалось в ее мозгу, едва заметно отражаясь в хитровато-задумчивом выражении лица; измышляла она, очевидно, некий *chef d'œuvre*^[123] политики. Убедившись за несколько месяцев, что, сколько бы ни выказывала она добродетели, которой не было и в помине, меня нельзя было поймать в эту ловушку, — зная, что я распознал истинную ее сущность и уже не поверю, как когда-то, в мнимые достоинства, — она решила наконец опробовать новый ключ: не поддастся ли ему замок моей души. Чутьочку наглости, словечко правды, слабый проблеск действительного положения вещей... «Да, я, пожалуй, попытаюсь», — вероятно, решила она, и тут же на меня вскинулись ее голубые глаза; не заблестели, не вспыхнули — никакого огня никогда не возгоралось в ее глазах, неизменно бесстрастных.

— Мсье боится со мною сесть? — спросила она игриво.

— Я не испытываю ни малейшего желания узурпировать место Пеле, — ответил я, давно уже усвоив привычку говорить с директрисой резко — привычку, зародившуюся некогда в гневе и прижившуюся, потому как, вместо того чтобы задевать м-ль Рюте, подобные дерзости ее лишь очаровывали.

М-ль Рюте потупила взор и вздохнула; затем беспокойно шевельнулась, будто надеялась тем самым навеять мне образ птицы, которая томится в клетке и с радостью улетела бы из этой тюрьмы и от тюремщика и вскоре нашла бы настоящего своего супруга и уютное гнездышко.

— Итак, ваш урок, — потребовал я.

— Ах! — воскликнула она, встрепенувшись. — Вы так молоды, так искренни и бесстрашны, так одарены и не терпите чьей-либо глупости, так презираете вульгарность, что просто нуждаетесь в уроке. Так вот он: в этом мире гораздо большего можно добиться ловкостью, нежели силой; хотя, быть может, вы уже об этом догадались, ведь в вашей натуре деликатности столько же, сколько и силы, а политичности, гибкости — не меньше, чем гордой решительности.

— Продолжайте, — сказал я.

Я не смог сдержать улыбку: лесть была так пикантно, так мило приправлена. Я быстро поднес ко рту руку, чтобы спрятать эту невольную улыбку, но директриса все же успела поймать ее взглядом.

Она снова пригласила сесть рядом с ней, и, хотя на миг во мне возникло искушение это сделать, я лишь качнул головой и просил продолжать.

— Итак, если вам доведется когда-нибудь управлять крупным заведением, никому не отказывайте от места. Сказать по правде, мсье (а вам я могу сказать правду), я просто презираю тех, кто вечно взрывается, скандалит, отсылает одного налево, другого направо да все время торопит и подталкивает события. Я поделюсь с вами своей тактикой, хотите?

Она снова метнула в меня взгляд, теперь уже искусно составленный из лукавства, уступчивости и некоторого самолюбования с немалой примесью кокетства; я кивнул. Держалась она со мною так, будто перед нею был Великий Могол (впрочем, по отношению к ней я, вероятно, им уже и сделался).

— Мсье, я, знаете, люблю взять в руки вязание и тихонько сидеть в своем кресле. События и обстоятельства дефилируют мимо, и я наблюдаю за их маршем; пока меня устраивает их ход, я сижу молча и спокойно. Я не рукоплещу и не выкрикиваю: «Браво! Как мне везет!» — чтобы не привлечь внимание соседей и не вселить в них зависть; я просто бездействую. Но когда события отклоняются в худшую сторону, когда обстоятельства становятся для меня неблагоприятными, я преисполняюсь бдительности; я продолжаю вязать и по-прежнему сдержанна в речах; но уж теперь, мсье, я время от времени ставлю ноги носками врозь — вот так — и незаметно для других даю восставшим обстоятельствам небольшой толчок, который направляет их так, как угодно мне, и добиваюсь желаемого, тогда как вмешательства моего никто не замечает. Так что когда тот или иной учитель начинает доставлять мне беспокойство, плохо справляется со своими обязанностями, когда, от его пребывания в этой должности страдают интересы пансиона — я все так же вяжу, события идут своим ходом, обстоятельства проскальзывают мимо; и вот я вижу одно из них — такое, что стоит только подтолкнуть его чуть в сторону, и учитель окажется непригодным для того поста, что мне хотелось бы иметь вакантным; дело сделано, камень преткновения устранен, а я вроде бы и ни при чем — я не приобрела врага и не потеряла репутации.

Еще немного, и она смогла б меня заморозить, однако директриса умолкла, и я посмотрел на нее с неприязнью.

— Да, это в вашем духе, — сказал я резко. — И таким вот способом вы вытеснили мадемуазель Анри? Вы хотели ее ухода и поэтому сделали так, что работать в этой должности стало для нее невыносимо?

— Ну, не совсем так, мсье. Просто я беспокоилась о здоровье мадемуазель Анри. Конечно, духовный ваш взор чист и проницателен — но тут вы истины не разглядели. Меня заботило... меня всегда заботило благополучие мадемуазель Анри, и мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы она стала неудачницей; я полагала, ей важно добиться более устойчивого положения; кроме того, я склонна считать, что она уже вполне пригодна для чего-то более серьезного, нежели преподавание рукоделия. Я высказала ей свои соображения, решение оставив за ней; она же, увидев, что я права, полностью со мною согласилась.

— Блестяще! Ну, а теперь, мадемуазель, не изволите ли вы сообщить ее адрес?

— Ее адрес... — Тут лицо директрисы на миг омрачилось и окаменело. — Ее адрес? О да, я бы охотно оказала вам эту любезность, мсье, но, к сожалению, не могу и сейчас объясню почему. Видите ли, я и сама не раз спрашивала у нее новый адрес, но она то и дело ускользала от ответа. И я подумала — возможно, и неправильно, но тем не менее, — что причиной этого было вполне объяснимое, хотя и ошибочное нежелание представить мне какое-то, вероятно, ужасно бедное жилище; средства у нее весьма скудные, происхождение неясное; несомненно, она живет где-то в квартале бедноты.

— Я не упущу своей лучшей ученицы, — сказал я, — пусть она даже и родилась бы среди нищих и жила бы где-то в подвале. И все же нелепо пугать меня ее происхождением: мне случилось однажды узнать, что она дочь швейцарского пастора, ни больше ни меньше; а что касается ее средств — так для меня мало значит скудное содержимое ее кошелька, в то время как душа ее исполнена богатства.

— Чувства ваши весьма благородны, мсье, — заметила директриса, подавив зевок; оживленность ее теперь угасла, приоткрывшаяся было искренность захлопнулась; маленький, красный, пиратского вида флажок смелости, которому она позволила поколыхаться минуту, был свернут, и вместо него над крепостью раскинулся широкий и скучный флаг притворства. Такой мне директриса не нравилась, поэтому я поскорее прервал наш tête-à-tête и ушел прочь.

ГЛАВА XVIII

Настоящий романист должен терпеливо, без устали изучать реальную жизнь. И если к сей обязанности писатель отнесется добросовестно, он даст нам совсем не много картин, пестрящих оживленными контрастами света и тени; он редко вознесет своих героев и героинь на вершины блаженства и исступленного восторга, еще реже погрузит их в самые глубины отчаяния — ибо если далеко не часто в этой жизни случается нам испытать полноту радости и счастья, еще реже доводится испробовать едкую горечь абсолютной безысходности. И только если мы безудержно пускались в потворство плоти, угасали, снова вспыхивали, и возбуждались, и снова истрачивали силы, и в конце концов исчерпали самую способность радоваться жизни — тогда и впрямь мы могли оказаться без опоры и надежд. Агония мучительна — и чем она окончится? Мы заглушили источник душевных сил, жизнь превращается для нас в вереницу страданий — и не настолько глубоких и чистых, чтобы мы постигли истинную веру; смерть представляется бездонным мраком — высокий дух, вера, Бог не находят места в наших обессилевших оболочках, где остались лишь грязные, отвратительные следы порока; и вот время выносит нас на край могилы, и смерть швыряет туда нашу плоть, источенную болезнями, истерзанную болями, придавленную к земле посреди церковного двора неумолимой пятой отчаяния.

Но человек, ведущий правильную, размеренную жизнь, обладающий рациональным умом, никогда не впадает в безнадежное отчаяние. Он лишается вдруг состояния — это, конечно, сильный удар; человек этот на некоторое время цепенеет, но вскоре внутренние его силы, пробужденные несчастьем, принимаются выискивать способы и средства выжить и подняться, и активная деятельность ума приглушает горькие сожаления. Сразит такого человека болезнь — он набирается терпения и преодолевает то, от чего не может излечиться. Скручивает его невыносимая боль, корчащееся в муках тело не знает, где обрести покой, — он уповает на якорь Надежды. Смерть отнимает у него любимых людей, с корнем вырывает тот ствол, что обвивали его чувства и привязанности, и слезы стремительно заполняют

образовавшуюся воронку скорби; это тяжелый, мрачный отрезок его жизни, — но однажды с восходом в его одинокий дом заглянет Вера в божественный промысел и убедит, что в иной жизни, в ином мире он снова обретет свою потерю. Она говорит ему о том мире, как о пристанище, не оскверненном грехом, говорит о той жизни, как о потоке времени, не отравленном страданиями; свою утешающую речь она подкрепляет тем, что связывает воедино два понятия, которые смертным не дано вполне постигнуть, но на которые они так любят уповать, — Вечность и Бессмертие. И сознание скорбящего впитывает этот неясный, но чудесный образ горних высей, полных света и блаженства, он уж видит день, когда душа его, вольная, не обремененная плотью, тоже вознесется туда и соединится с душою ушедшего совершенной, чистой любовью, без страха потери, — и вот человек этот набирается мужества, и выходит на битву с горестями, и приступает к делам насущным; и, хотя дух его, возможно, никогда не высвободится из-под гнета печали, Надежда смягчит эту боль и поддержит дух.

Что навело меня на эти размышления? И какой вывод из них вытекал? Случилось, что лучшая моя ученица, мое сокровище, вырвана у меня и теперь недосягаема; однако, будучи человеком уравновешенным и рассудительным, я не допустил, чтобы негодование, досада и тоска, порожденные во мне этим прискорбным обстоятельством, разрослись до чудовищных размеров и заняли все мое сердце; напротив, я загнал их и запер в тесный потайной уголок. Днем, работая в пансионе, я держал их в глухом заточении, и лишь вечерами, закрыв дверь комнаты, я чуть смягчал суровость к несчастным узникам и позволял излиться их ропоту; и вот тогда, в отместку, они усаживались ко мне на подушку, обступали постель и не давали заснуть нескончаемым ночным плачем.

Протекла неделя, и за это время я ни разу не заговорил с м-ль Рюте. Держался я достаточно спокойно, хотя и не без каменной холодности и жесткости. Смотрел я на директрису исключительно таким взглядом, каким одаривают, как правило, тех, для кого зависть или ревность — лучший советчик, а предательство — лучший инструмент, — взглядом абсолютного недоверия и глубокого презрения.

В воскресенье же я под вечер явился в пансион, зашел в *salle-à-manger*, где уединилась директриса, и, остановившись прямо перед ней, спросил с таким невозмутимым видом и тоном, будто задавал этот вопрос ей впервые:

— Мадемуазель, не будете ли вы так добры сообщить мне адрес Фрэнсис Эванс Анри?

С несколько удивленным видом, однако без замешательства она заявила, что не знает адреса, и присовокупила:

— Мсье, вероятно, запомнил, что я все уже ему объяснила неделю назад?

— Мадемуазель, — продолжал я, — вы чрезвычайно меня обяжете, если укажете местопребывание этой молодой особы.

Она ненадолго призадумалась и наконец, взглянув на меня с изумительно подделанной наивностью, спросила:

— Уж не думает ли мсье, что я говорю неправду?

Избегая прямого ответа, я произнес:

— Значит, вы не расположены оказать мне такого рода любезность?

— Но, мсье, как я могу сказать вам то, чего сама не знаю?

— Что ж, прекрасно; я вас понял совершенно, мадемуазель, и теперь мне осталось сказать вам еще кое-что. Сейчас последняя неделя июля, и в следующем месяце начнутся каникулы; не будет ли вам угодно употребить свой досуг во время каникул на поиски другого учителя английского: в конце августа я должен буду распрощаться со своей должностью в вашем пансионе.

И, не дождавшись ответа, я слегка поклонился и ушел.

В тот же вечер, вскоре после обеда, служанка принесла мне небольшой конверт; надписан он был знакомым почерком, который я и не надеялся уже увидеть. Я был один у себя в комнате, ничто не препятствовало немедленно распечатать конверт; в нем я обнаружил четыре пятифранковые бумажки и письмо на английском следующего содержания:

«Мсье, вчера я пришла в школу м-ль Рюте в то время, когда, насколько мне известно, у Вас заканчивался урок, и спросила, не позволят ли мне пройти в классную комнату, чтобы с Вами поговорить. Ко мне вышла м-ль Рюте и сказала, что Вы уже ушли;

четырех еще не пробило, и я подумала, что она, должно быть, ошиблась; как бы то ни было я все же решила не откладывать свое дело на другой день. В какой-то степени и письмо способно с этим справиться: в нем лежат двадцать франков за те уроки, что я у Вас получила; и если послание мое не сможет исчерпывающе выразить всю благодарность, что я обязана к нему приложить, если оно не сможет так проститься с Вами, как хотелось бы мне, если оно не скажет Вам всего, что я горячо желаю Вам сказать: как сожалею я, что, судя по всему, Вас более не увижу, — увы, едва ли слова способны все это передать. Да и, встретившись с Вами, я бы, наверное, говорила запинаясь что-нибудь малозначащее, ничтожное, что-нибудь, скорее противоречащее моим истинным чувствам, нежели выражающее их; так что, может статься, и к лучшему, что меня не допустили к Вам.

Вы часто отмечали, мсье, что в моих сочинениях много говорилось о силе духа в перенесении страданий, я слишком часто, на ваш взгляд, обращалась к этой теме, — и впрямь, теперь я нахожу, что гораздо легче писать о мужественном исполнении долга, нежели исполнять его в действительности, ибо при мысли, какие беды уготованы мне судьбой, я испытываю подавленность.

Вы были добры ко мне, мсье, очень добры, и я страдаю, у меня разбито сердце оттого, что мы с Вами разделены; скоро у меня не останется ни единого друга на земле.

Однако к чему отягощать Вас моими переживаниями? Могут ли я притязать на Ваше расположение и сочувствие? Нет; более мне нечего сказать. Прощайте, мсье.

Ф.Э.Анри».

Письмо я вложил в записную книжку, сунул деньги в кошелек; затем прошелся по комнате.

«Мадемуазель Рюте говорила об ее бедности, — сказал я себе, — и она действительно бедна; тем не менее она возвращает долги, причем с лихвой. Она выслала мне плату за три месяца, хотя столько уроков я ей дать не успел. Любопытно, как это ей удалось наскрести двадцать франков? Интересно, где она поселилась, и что у нее за тетушка, и собирается ли Фрэнсис искать какую-нибудь должность вместо потерянной. Можно не сомневаться, ей долго придется

мыкаться, ходить из школы в школу, обращаться то в одно место, то в другое и везде наткаться на отказ и разочарование. Много ночей она будет засыпать, совершенно разбитая безуспешными поисками.

И директриса не соизволила впустить ее, чтобы со мною попрощаться! И я лишен был возможности постоять с ней каких-то несколько минут у окна в классной комнате, обменяться какой-то полдюжиной фраз — узнать, где она живет, и вообще собрать всю цепочку обстоятельств, чтобы все встало по местам.

На конверте и в письме никакого адреса, — продолжал я, вынув письмо из записной книжки и повертев в руках двойной листок. — Женщины есть женщины, уж точно; мужчины машинально ставят дату и указывают обратный адрес. И эти франки... — Я вытянул их из кошелька. — Если б она собственноручно мне их передала вместо того, чтобы перевязывать шелковой зеленой ниткой, прямо как лилипутскую посылку, — я бы сунул эти деньги в ее маленькую ручку, и сложил бы маленькие тонкие пальчики — вот так, — и принялся бы взывать к ее стыдливости, гордости, к робости, ко всему, что подвластно хоть мало-мальской решимости и воле. А где она теперь? Как мне до нее дотянуться?»

Я, вышел из комнаты и спустился в кухню.

— Кто принес письмо? — спросил я у служанки, которая мне его передала.

— Un petit commissionaire, Monsieur.^[124]

— Он ничего не сказал?

— Rien.^[125]

Так ничего и не разузнав, я побрел к себе по черной лестнице.

«Что ж, — сказал я себе, закрыв дверь. — Значит, буду искать ее по всему Брюсселю».

Так я и сделал. Четыре недели, день за днем я уходил на поиски, как только выдавалось свободное время; по воскресеньям я искал ее весь день напролет; искал на бульварах, в парке, искал в церквях Св. Гудулы и Св. Иакова; высматривал в двух протестантских церквях, где посещал службы на немецком, французском и английском, не сомневаясь, что встречу Фрэнсис на одной из них. Однако все попытки были бесплодны; надежды на этот последний пункт, равно как и прочие мои расчеты, были тщетны.

Обычно я после службы вставал у дверей церкви и ждал, пока не выйдет последний прихожанин; я останавливался взглядом на каждом платье, обтекающем тонкий стан, заглядывал под каждую шляпку на юной головке. Все напрасно; мимо проплывали девичьи фигурки с черными шарфами на узких покатых плечиках, но ни одна из них не имела такого сложения и осанки, как у м-ль Анри; я встречал бледные лица, обрамленные темно-каштановыми волосами, но так и не увидел я ее лба, ее глаз и бровей. Черты всех девушек, что мне попадались, казались слишком мелкими, потому что не было в них того своеобразия, которого я так искал; у этих лиц не было обширного лба и огромных, темных, серьезных глаз Фрэнсис, тонких, но решительных линий бровей.

— Вероятно, она уехала из Брюсселя; может быть, отправилась в Англию, как и собиралась, — пробормотал я, когда на четвертое воскресенье отошел от дверей церкви, только что запертых служителем на замок, и двинулся следом за прихожанами, быстро рассеивавшимися по площади.

Вскоре я нагнал две английские супружеские пары. Боже милостивый! Неужто не могли они одеваться подостойнее? До сих пор у меня перед глазами стоят видения в небрежных, мятых платьях из дорогого шелка с пышными оборками, с большими, совершенно не идущими к платью воротниками из дорогого кружева, в скверного покроя сюртуках и странного фасона панталонах, — существа, что каждое воскресенье заполняли в церкви хоры и после службы, выбравшись на площадь, составляли разительный контраст со свежими, опрятно одетыми иностранцами, спешащими на богослужение.

Я миновал и эти британские пары, и сбившихся в кучки прелестных английских детей, и британских лакеев и горничных, я пересек Плас-Рояль и вышел на Рю Рояль, откуда вскоре свернул на тихую старинную улочку Рю де Лувен. Помнится, проголодавшись к этому времени и не имея ни малейшего желания вернуться к Пеле и получить в школьной столовой порцию «goûter» из остроумия директора, хлебцев и воды, я зашел в кондитерскую и подкрепился сдобной булочкой с коринкой и чашкой кофе; затем я двинулся к Лувенским воротам.

Очень скоро я оказался за чертой города и уже всходил неспешно на холм, что поднимался почти от самых Лувенских ворот. Шел я медленно, поскольку после полудня было хоть и облачно, но очень душно и ни слабейшее дуновение ветерка не освежало неподвижный тяжелый воздух.

Брюссельцу не требуется в поисках уединения уходить слишком далеко. Стоит ему отойти на пол-лиги от города — и он очутится в атмосфере одиночества и мрачных раздумий, нависающей над бескрайними землями, бесконечно тоскливыми, даром что изобильными, что простираются вокруг столицы Брабанта. Достигнув вершины холма и постояв там, обозревая возделанные, но унылые поля, я ощутил желание сойти с большака, которым шел до сих пор, и прогуляться вдоль распаханых и разбитых, как огородные грядки, земель, уходящих вдаль до самого горизонта, где из сумрачно-зеленых они становились грязно-голубыми и незаметно переходили в сероватосиние тона грозowego неба.

Я свернул направо на тропинку, однако шел по ней недолго: довольно скоро она вывела меня к высокой белой стене, окружавшей — судя по видневшейся за оградой зелени — густо посаженные и разросшиеся тисовые деревья и кипарисы; отходящие от самой ограды, они мрачно толпились вокруг массивного креста, вкопанного, по-видимому, в центре на возвышении и раскинувшего свои черные мраморные крылья над кронами зловещего вида деревьев.

Я приблизился к этой стене, терзаемый любопытством: кому принадлежит столь основательно огороженный парк? Я обогнул угол ограды, предвкушая увидеть некий величавый особняк, и оказался возле огромных железных ворот; примыкало к ним небольшое строение, вероятно служившее сторожкой; раздобывать ключ мне не потребовалось: ворота были открыты. Я толкнул одну створку, и проржавевшие под дождями петли горестно застонали.

Вход был осенен густой листвой. Идя по дорожке, я видел с обеих сторон то, что на немом своем языке надписей и знаков исчерпывающе объясняло, в какую явился я обитель. Это было пристанище, уготованное всем живущим; кресты, памятники, венки из неживых цветов — все словно говорило: «Протестантское кладбище».

Кладбище было достаточно большим, чтобы ходить по нему полчаса без однообразного гуляния по одной дорожке, и для

любителей кладбищенских анналов тут было представлено великое множество всевозможных надписей. Здесь люди разной крови, разных языков и национальностей оставили свой прах для погребения, и здесь на камне, мраморе и бронзе были начертаны на английском, французском, немецком, на латыни имена, и даты, и послания, отдающие последнюю дань любви и поклонения. Тут англичанин воздвиг памятник над останками Мэри Смит или Джейн Браун и отметил его только ее именем. Там вдовец-француз затенил могилу своей Эльмиры или Целестины пышными кустами роз, за которыми виднеется небольшая табличка, где красноречиво говорится о неисчислимых добродетелях усопшей. Каждая национальность, племя, род скорбели по-своему — и как беззвучен был их общий плач!

Хотя шел я медленно и по мягкой дорожке, шаги звучали пугающе, поскольку единственно они тревожили всеохватывающую тишину. В тот день, будто уговорившись, уснули в своих покоях все ветра — северный ветер был покоен, южный хранил молчание, восточный не всхлипывал и западный не издавал ни шепота. В небе неподвижно висели сгустившиеся унылые тучи. Под деревьями же кладбища приютился теплый неподвижный полумрак, обступаемый стройными, безмолвными кипарисами и укрытый низко свесившимися и как будто замершими ивами; цветы, полуувядшие, но сохранившие красу, апатично ожидали ночной росы или дождя; могилы и те, кто в них покоился, лежали равнодушные к солнцу или тучам, к дождю или засухе.

Не в силах более выносить звуков собственных шагов, я вышел на дерн и медленно приблизился к деревьям; меж стволов как будто что-то шевельнулось, и я решил, что это упала сломанная ветка, поскольку по своей близорукости не различил никакой определенной формы, лишь уловил какое-то движение. Однако тут же на открытом месте мелькнула неясная тень. Я понял только, что это живое существо, причем существо человеческое; подойдя поближе, я увидел женщину, в раздумьях ходившую взад и вперед и, очевидно, мнившую, что она в абсолютном одиночестве.

Вскоре она опустилась на скамейку, с которой, возможно, недавно вскочила — это движение, наверно, и привлекло меня. Женщина сидела в скрытом деревьями месте; перед ней стояла белая оградка, посреди которой был врыт небольшой камень, и у подножия его

виднелась свеженасыпанная земля. Я надел очки, тихонько подошел почти к самой ограде и прочитал на камне следующее: «Джулиана Анри, умерла в Брюсселе в возрасте 60 лет 10 августа 18**».

Я перевел взгляд на женщину, понуро сидящую передо мной и не подозревающую, что поблизости стоит другой человек; это была хрупкая юная фигурка в траурном одеянии из дешевой черной материи, в незатейливом креповом чепце. Я разом и увидел и почувствовал, кто это, и некоторое время стоял, не в силах шевельнуться, наслаждаясь этим открытием. Целый месяц я искал ее, но не нашел и следа и даже потерял надежду где-нибудь ее встретить. Я отказался от поисков и всего какой-то час назад тонул под накатившей на меня обескураживающей мыслью, что произвол судьбы и поток жизни навсегда унесли ее далеко от меня; и неожиданно, склонившись к земле под гнетом отчаяния, уныло глядя под ноги на заросшую травой дорожку кладбища, я увидел свой потерянный бриллиант, упавший, как выяснилось, на вскормленную слезами траву и спрятанный тисовыми ветвями, обросшими мхом и лишайником.

Фрэнсис сидела неподвижно, опершись локтем о колено и подперев подбородок, — я уже знал, что в такой задумчивой позе она долго могла пребывать без движения. Наконец она вышла из оцепенения и заплакала. Фрэнсис смотрела не отрываясь на имя, начертанное перед нею на камне: и сердце ее, несомненно, сжималось, как у всякого одинокого существа, скорбящего об умершем близком. По щекам ее скатывались слезы, которые она снова и снова вытирала платочком, из груди вырывались тяжкие вздохи.

Вскоре, однако, этот приступ отчаяния отпустил ее, и Фрэнсис опять утихла и замерла. Я мягко положил руку ей на плечо; как-то готовить ее к неожиданной встрече не было надобности: Фрэнсис не была ни склонной к истерикам, ни подверженной обморокам; конечно, резкий толчок испугал бы ее, но спокойное мое прикосновение лишь привлекло ее внимание, что мне и требовалось. И хотя обернулась она так быстро, как молниеносно осеняющая мысль, наверняка удивление, что кто-то вдруг вторгся в ее уединенность, успело мелькнуть у нее в голове и прилить к сердцу; она изумленно вскинула на меня глаза — взгляд ее тут же прояснился и засиял. Не успело отразиться на ее чертах удивление, как лицо засветилось живейшей радостью. Едва я отметил с горечью, что выглядела она

бледной и изможденной, как ощутил несказанный восторг и преисполнился воодушевлением и ликованием, и щедрый свет радости в моих глазах полился в глаза дорогой моей ученицы. Встреча наша была подобна тому, как после долгого и сильного ливня выглядывает ослепительное летнее солнце, и была горячее пылающего огня.

Я не выношу ту смелость и браваду, что отражаются в бесстыдном лице и свойственны бесчувственной натуре, но я люблю храбрость мужественного сердца, жар благородной крови; как дорог был мне свет лучистых карих глаз Фрэнсис Эванс, когда она открыто взглядывала на меня; как сладостны были ее слова «Mon maître! Mon maître!»^[126] и интонация, с которой она их произнесла; как по сердцу был тот жест, каким она доверила свою руку моей. Она была дорога мне такой, какая стояла тогда предо мною, сирота без гроша за душой, в глазах сластолюбца лишенная шарма, для меня же — сокровище, драгоценнейшее в мире существо, мыслящее, как я, и чувствующее, как я; идеальное вместилище для моих еще не тронутых богатств любви; воплощение рассудительности и прозорливости, упорства и старания, самоотречения и самообладания — тех стражей, тех чутких хранителей, которым я страстно желал доверить все мои чувства; образец правдивости и достоинства, независимости духа и безупречной совести — всего благородного и высокого, что делает жизнь истинной и полной; скромный обладатель источников нежности и ясного, негасимого огня, источников подлинного чувства, подлинной страсти и душевной чистоты.

Я знал, как глубоко и как неслышно бурлят эти ключи в ее сердце. Я знал, как опаснейшее пламя мирно горит под присмотром рассудка; вот оно высоко взметнулось, жар от него нарушил обычное течение жизни — и я уже видел, как рассудок подавляет мятеж и превращает неистовый костер в тлеющие угольки. Я доверял Фрэнсис Эванс и уважал ее — но когда я взял ее под руку и повел к воротам, то обнаружил в себе иное чувство, столь же глубокое, как доверие, и прочное, как уважение, и более горячее, пылкое, чем то и другое, — чувство любви.

— Итак, моя ученица, — сказал я, когда ворота закрылись за нами со скорбным скрежетом. — Вы снова со мной. После месяца поисков я уж никак не думал найти свою пропавшую овечку заплутавшей среди могил.

Прежде я никогда не обращался к ней иначе, чем «мадемуазель», и то, что я так заговорил, означало принять иной, новый для нашего общения тон. Ответ ее дал понять, что этот непривычный тон не раздражил Фрэнсис, не породил диссонанса в ее душе.

— Mon maître, — отвечала она, — вы беспокоили себя тем, чтобы меня отыскать? Едва ли могла я вообразить, что вас встревожит мое отсутствие, но я горько сожалела, что оторвана от вас. Я грустила из-за этого, но более тяжкое горе заставило об этом забыть.

— Умерла ваша тетушка?

— Да, вот уже две недели; и умерла она, полная горести и боли, которой я не в силах была унять; даже в последние часы своей жизни она все говорила: «Фрэнсис, когда я уйду, ты останешься одна-одинешенька, без родных, без друзей». Она так хотела, чтобы ее похоронили в Швейцарии; ведь из-за меня она уже в преклонных летах покинула берег Лемана и переехала — будто для того только, чтобы умереть, — в эту плоскогорную страну. Я бы охотно исполнила ее последнюю волю и перевезла б ее останки обратно на родину, но это невозможно; я вынуждена была положить ее здесь.

— Я полагаю, болела она недолго?

— Недели три. Когда она начала угасать, я попросила отпуск у мадемуазель Рюте, чтобы все время быть рядом с тетушкой и за ней ухаживать; меня с легкостью отпустили.

— Так вы вернетесь в пансион? — не удержался я.

— Видите ли, неделю спустя меня вечером посетила мадемуазель Рюте — я как раз уложила тетушку в постель; мадемуазель прошла в комнату к тетушке, чтобы с нею поговорить, и была, как всегда, предельно любезна и приветлива; после этого она пришла ко мне и просидела достаточно долго, а когда поднялась наконец, чтобы попрощаться, то сказала: «Мадемуазель, я долго не перестану сожалеть о вашем уходе из пансиона, ведь вы так превосходно наставляли девиц в рукоделии, что они достигли в этом истинного совершенства и нисколько не нуждаются в дальнейшем обучении. Другая учительница в ближайшее время займет ваше место и будет обучать девиц помладше — насколько уж сумеет, конечно, ведь она, по правде, не столь искусна, как вы; а вам, несомненно, следует подняться на ступень выше в своей профессии — уверена, вы везде без труда найдете школы и семейства, которые пожелают воспользоваться

вашими удивительными способностями». Затем директриса выдала мне жалование за последние три месяца. Я сказала м-ль Рюте — как ей, вероятно, показалось, излишне резко, — что она, значит, отказывает мне от места в своем заведении. В ответ на мой далеко не любезный тон она мило улыбнулась и объявила, что, дескать, отношения наши как работника и нанимателя на этом разорваны, но она надеется по-прежнему поддерживать со мною столь приятное знакомство и всегда будет несказанно рада видеть меня как свою подругу. Затем она сказала что-то насчет прекрасного состояния улиц и о том, как долго стоит замечательная погода, и удалилась в превосходном расположении духа.

Я усмехнулся про себя: как это похоже было на директрису; нечто подобное я ожидал — и не ошибся; мало того, Фрэнсис, сама не подозревая, уличила ее во лжи: она, мол, часто спрашивала у м-ль Анри адрес — да уж, разумеется! — но м-ль Анри всегда ускользала от ответа, — а теперь выяснилось, что она явилась однажды гостьей в тот дом, месторасположения которого якобы и знать не знала.

Высказать что-либо по поводу того, что сообщила моя ученица, я не успел: и по дорожке, и по нашим лицам застучали крупные капли и вдалеке послышался грохот приближающейся грозы. Еще раньше, сочтя духоту и свинцовое небо как явное предупреждение, мы двинулись по дороге обратно к Брюсселю; теперь же я ускорил шаг и поторопил спутницу, а поскольку мы, к счастью, спускались с холма, то шли очень быстро.

После первых капель сильный ливень ударил не сразу, так что мы вовремя миновали Лувенские ворота и оказались в городе.

— Где вы живете? — спросил я. — Мне будет спокойнее доставить вас к дому.

— Рю Нотр-Дам-о-Льеж, — ответила Фрэнсис.

Это оказалось совсем недалеко от Рю де Лувен, и стоило нам добраться до приступка у двери нужного дома, как тучи, с ужасным грохотом разорванные молнией, опустошили свои иссиня-серые недра неистовым косым дождем.

— Зайдите сюда! — вскричала Фрэнсис, когда я, пропустив ее вперед, задержался у дверей.

Услышав ее возглас, я решился; я переступил порог, и, закрыв дверь перед бушующей, вспыхивающей белым пронзительным светом

грозой, последовал за Фрэнсис по лестнице к ее апартаментам. Ни она, ни я промокнуть не успели: небольшой навес над входной дверью защитил нас от резко хлынувшего потока, хотя еще б минута — и мы были бы мокрые до нитки.

Ступив на маленький зеленый коврик, я оказался прямо перед комнаткой скромных размеров с крашеным полом и зеленым квадратным ковром посередине; мебели было совсем немного, но все, что имелось, сверкало безупречной чистотой; в этих узких владениях царил изумительный порядок — такой, что умиротворил мою взыскательную натуру.

Я колебался войти в дом м-ль Анри, предчувствуя, что слова директрисы о крайней бедности моей ученицы слишком явно подтвердятся, и потому своим вторжением опасаясь поставить Фрэнсис в неловкое положение.

Жилище ее и впрямь оказалось жалким, однако опрятность его возмещала отсутствие роскоши, и, если б еще в вычищенном камине горел веселый, яркий огонь, оно было бы для меня милее дворца. Огня, однако, не было, как не было и заранее приготовленных дров — бедная кружевница не могла позволить себе такую расточительность, особенно теперь, когда смерть лишила ее единственного близкого человека и ей оставалось полагаться только на себя, не рассчитывая на чью-либо помощь.

Фрэнсис вышла во вторую, смежную комнату снять чепец и вскоре предстала передо мною образцом скромности и опрятности в превосходно сидящем на ней черном простом платье, красиво и мягко подчеркивающим и компактную грудь, и тонкую талию, в белоснежном воротничке, обнимающем изящную белую шейку, и с густыми каштановыми волосами, гладко убранными на висках и по-гречески уложенными толстой косой; украшений не было: ни броши, ни кольца, ни даже лент; Фрэнсис была хороша собою и без них — прекрасно идущее ей платье, удивительная пропорция форм, грациозность осанки вполне их заменяли.

Вернувшись в маленькую гостиную, она поймала мой взгляд, устремившийся к пустому очагу, и, несомненно, прочитала в нем сочувствие. Достаточно проницательная, решительная и, в большей степени, деловитая, Фрэнсис в момент обвязала вокруг талии полотняный передничек и исчезла; появилась она уже с корзиной,

закрытой крышкой, откуда тут же извлекла дрова и уголь и проворно сложила все это в камине.

«Это все ее запасы, и она гостеприимства ради готова их истратить», — подумал я.

— Что это вы собрались делать? — обратился я к ней. — Разводить огонь в такой теплый вечер! Я не вынесу жары.

— Но, мсье, мне правда зябко с тех пор, как пошел дождь; кроме того, мне нужно вскипятить воду для чая, поскольку по воскресеньям у меня принято устраивать чаепитие. Так что вам придется потерпеть.

Она разожгла камин; дрова быстро занялись, и в контрасте с темнотой и дикой бурей снаружи этот уютный огонь в ожившем камине казался очень радостным и бодрящим. Откуда-то послышалось низкое мурлыканье, и я понял, что не только на меня столь отрадно подействовала сия перемена; черный кот, спавший на маленькой подушке на скамеечке для ног и разбуженный светом, подошел к Фрэнсис, опустившейся на корточки, и потерся мордой об ее колени; она приласкала кота и представила мне его как любимца ее «*rauvre tante Julienne*». [\[127\]](#)

Итак, огонь горел, зола была тщательно выметена, маленький котелок старинного образца (такие я, помнится, видел в старых сельских домах в Англии) был подвешен над уже багровым пламенем, — Фрэнсис вымыла руки и сняла передник, затем открыла посудный шкаф; достала чайный поднос и быстро расставила на нем необходимые чайные принадлежности, форма, размер и расцветка которых напоминали о седой старине; на каждое блюдце было положено по серебряной, тоже старинной, ложке; того же возраста, вероятно, были и щипчики, водруженные на сахарницу. Тем же путем из шкафа появился крошечный серебряный сливочник размером не больше яйца.

Делая все эти приготовления, Фрэнсис вдруг глянула на меня и, увидев в моих глазах любопытство, улыбнулась и спросила:

— Похоже на то, как в Англии, мсье?

— Как в Англии лет сто назад, — отозвался я.

— Правда? Хотя да, всему на этом подносе, собственно, сто лет; эти чашки, эти ложки, сливочник — все фамильные вещи; моя прабабушка оставила их моей бабушке, а та — моей матери, а матушка привезла их с собой в Швейцарию и оставила мне; помню, еще совсем

девочкой я часто думала, как хорошо было бы отвезти все это обратно в Англию.

Фрэнсис поставила на стол pistols^[128] и приготовила чай, как заваривают его иностранцы, а именно из расчета чайную ложку на полдюжины чашек; затем она предложила мне сесть и, когда я устроился за столом, спросила несколько высокопарным тоном:

— Породит ли все это в вас ощущение, будто вы перенеслись к себе домой, в Англию?

— Если б у меня был в Англии дом, наверняка вам удалось бы навеять о нем воспоминания, — ответил я; и в самом деле, возникала подобная иллюзия при виде девушки типично английской наружности и превосходно сложенной, председательствующей за типично английским столом и говорящей к тому же по-английски.

— Разве у вас нет своего дома?

— Нет и никогда не было. А если когда-нибудь и появится, то исключительно моими стараниями и в далекой перспективе.

И пока я это говорил, внезапная острая боль, неведомая прежде, пронзила мне сердце — меня охватила горькая досада на жалкое мое положение и скудные средства; и эта боль пробудила во мне горячее желание делать больше, зарабатывать больше, иметь больший вес в обществе и большим обладать, и ко всему этому, возбужденный, взволнованный, я возмечтал прибавить еще и дом, которого я никогда, в сущности, не имел, и жену, которую я мысленно поклялся завоевать.

Чай моей ученицы немногим отличался от горячей воды с сахаром и молоком, и к pistols она не могла предложить масло — тем не менее скромная эта пища была для меня как манна небесная.

Пиршество наше окончилось, фамильное серебро и фарфор были вымыты и убраны, вытертый стол заблестел пуще прежнего, «le chat de ma tante Julienne»^[129] также был наделен едой на специально отведенном для него блюдечке, зола с несколькими случайными, непрогоревшими угольками была выметена из камина; Фрэнсис наконец опустилась на стул напротив меня и лишь теперь, впервые за весь вечер она выказала некоторое смущение — да и неудивительно, ведь я невольно следил за каждым ее шагом, каждым действием, словно загипнотизированный легкостью и грациозностью движений и тем, как искусно и ловко ее тонкие, изящные пальчики наводили кругом красоту и порядок; когда же она, прибравшись, замерла передо

мною на стуле, я не мог отвести глаз от ее лица, которое теперь показалось изумительно красивым. Щеки ее быстро заливал румянец, взор был потуплен, и я ждал, что ресницы ее вот-вот вскинутся и из глаз на меня устремится поток света, столь мною любимого, — взгляд, где огонь прикрыт нежностью, где чувство в гармонии с рассудком, а в радости искрится мысль.

Хотя ожидание это не было вознаграждено, я подумал, что должен, вероятно, не впадать в разочарование, а, прекратив сверлить ее глазами, завести разговор и тем самым разбить чары, превратившие ее в изваяние; потому, припомнив, сколь успокаивающее воздействие неизменно оказывали на нее строгость и внушительный тон, я произнес:

— Не будет ли вам угодно взять в руки какую-нибудь книгу на английском, мадемуазель: дождь еще льет вовсю и наверняка продержит меня здесь добрых полчаса.

Встрепенувшись, она обеспокоенно поднялась, достала с полки книгу и тут же села возле меня на указанный мною стул. Выбрала она «Потерянный рай», видимо полагая, что сие сочинение по своему религиозному духу как нельзя более кстати в воскресенье. Я велел читать с начала, и пока Фрэнсис декламировала обращение Мильтона к «музе горней», дабы сошла она «с вершин таинственных Синая иль Хорива», где некогда вдохновила иудейского пастыря, «поучавшего свой народ возникновенью Неба и Земли из Хаоса», я беспрепятственно упивался тройною радостью: оттого, что Фрэнсис со мною рядом, что я слышу милый слуху, чистый голос и могу видеть ее лицо; последней этой привилегией я пользовался преимущественно тогда, когда улавливал недостатки в интонации, ненужные паузы или излишнюю патетику и поправлял ученицу.

— Довольно, — сказал я наконец, когда Фрэнсис одолела полдюжины страниц (что заняло немало времени, ибо читала она медленно и к тому же не раз отрывалась от текста, обращаясь ко мне за пояснениями). — Довольно; дождь, надо полагать, кончился, и мне пора откланяться.

И действительно, обернувшись к окну, я увидел, что тучи разошлись и воцарившееся в голубом просторе августовское солнце ослепительно сияет.

Я встал со стула, натянул перчатки.

— Вы не определились еще с местом после того, как вас рассчитала мадемуазель Рюте?

— Нет, мсье; я искала, но везде у меня спрашивали рекомендацию, обращаться же к бывшей директрисе мне не хочется, потому что обошлась она со мной несправедливо и бесчестно. Она все время настраивала против меня учениц и тем самым отравляла мне жизнь; в конечном счете она прогнала меня посредством тщательно замаскированного, лицемерного маневра, сделав вид, будто действует ради моего блага, — в действительности же лишив необходимых средств к существованию в тот критический момент, когда не только моя жизнь, но и жизнь другого человека зависела от моего заработка. Я никогда не пойду к ней на поклон.

— И как вы в таком случае рассчитываете продержаться? На что вы сейчас живете?

— Со мной осталось мое ремесло — кружева; при экономии оно спасет меня от голода, а со временем, не сомневаюсь, можно найти работу и получше; я ведь всего две недели как занимаюсь поисками, и мои надежды, мое упорство пока что нимало не иссякли.

— Предположим, вы найдете неплохое место — что тогда? Каковы ваши виды на будущее?

— Я постараюсь скопить достаточно денег, чтобы пересечь Ла-Манш. Англия всегда была для меня землей обетованной.

— Ну, ладно, как-нибудь я снова нанесу вам визит, а теперь — всего хорошего. — И я удалился, столь неожиданно оборвав нашу беседу.

Каких усилий стоило мне противостоять мощному душевному порыву проститься с ней значительно теплее, с чувством, — разве не естественно было бы заключить ее хотя б на миг в тесные объятия и запечатлеть поцелуй на щечке иль на лбу? Это все, чего мне желалось, — я не был сумасбродом; позволив себе только это, я ушел бы вполне довольный. И Рассудок лишил меня даже этой малости! Он приказал мне отвести взгляд от ее лица и поскорее покинуть жилище, расстаться с ней так же сухо и холодно, как расстался бы я с мадам Пеле. Я подчинился ему, но в гневе поклялся однажды отомстить.

Либо я обрету свободу поступать в подобных случаях так, как угодно мне, либо погибну в этой борьбе. Передо мною одна цель: получить в жены эту девушку из Женевы, и она непременно станет

моей женой, если, конечно, питает такие же (или хотя бы наполовину такие же) чувства к своему учителю, как он к ней. Останется ли она такой же послушной, улыбчивой и счастливой под моим началом? Будет ли сидеть подле меня с таким же удовлетворенным и безмятежным лицом, как прежде, когда я наставлял ее в английском, проверял ее работы? Ведь всегда, входя в классную комнату, я замечал, что, сколько бы ни было печали или растерянности на ее лице, стоило мне подойти к ней, молвить несколько слов, дать ей кое-какие указания или, может быть, даже легонько пожуричь — как она, тут же воспрянув духом, преисполнялась радостью и уверенностью в своих возможностях: порицания мои, казалось, устраивали ее больше всего; пока я выговаривал ей что-нибудь, она усердно оттачивала перочинным ножичком карандаш и, слегка взволнованная, даже немного надувшаяся, защищалась односложными ответами; когда же я забирал у нее карандаш, боясь, что от него ничего не останется, когда запрещал ей даже столь слабую словесную защиту, чтобы вызвать более сильную и возбужденную реакцию, — Фрэнсис наконец поднимала голову и одаривала меня оживленным, веселым, даже вызывающим взглядом, который, признаться, будоражил меня, как ничто на свете, и превращал в своего рода его подчиненного, если даже не раба (хотя сама она, к счастью, об этом и не догадывалась). После таких коротких сцен она долго пребывала в приподнятом настроении, полная сил и уверенности, и даже здоровье ее, казалось, получало от этого весомую поддержку — так что к тому времени, как Фрэнсис уволили и умерла ее тетушка, облик моей ученицы успел почти полностью преобразиться.

На то, чтобы изложить все это на бумаге, ушло немало времени, но, когда я спускался от Фрэнсис по лестнице, мысли эти пронеслись во мне с чрезвычайной стремительностью. Уже отворив парадную дверь, я вдруг спохватился, что не вернул двадцать франков. Я остановился в нерешительности: унести деньги с собой я не мог, а вернуть их насильно законной владелице было очень трудно. Увидев Фрэнсис в убогом ее жилище, почувствовав в бедном его убранстве, в царившей там экономии гордость и достоинство, даже некоторую утонченность, я уверен был, что Фрэнсис не позволит, чтобы ей прощали долги, что подобной помощи она не примет ни от кого, а уж тем более от меня; тем не менее эти четыре пятифранковые бумажки

висели грузом на моем самолюбии и уважении к себе, и мне необходимо было от них избавиться.

В голову мне пришла только одна уловка — грубая и избитая, но ничего лучшего я в спешке не придумал. Я поднялся по ступеням, постучал к Фрэнсис, вошел и сказал, точно впопыхах:

— Мадемуазель, я потерял перчатку, и самое вероятное — оставил ее где-то здесь.

Фрэнсис тут же принялась ее искать. Когда она оказалась ко мне спиной, я быстро подошел к камину и, тихонько приподняв с полки фарфоровую вазочку, столь же древнюю, сколь и чашки, сунул деньги под нее и воскликнул:

— Вот она, моя перчатка! Я уронил ее за каминную решетку. До свидания, мадемуазель, — и снова, так же поспешно, удалился.

У меня мгновенно отлегло от сердца; я отметил, что Фрэнсис уже разгребла свой радостный, уютный костерок: вынужденная просчитывать каждую мелочь, экономить на всем, она сразу после моего ухода лишила себя роскоши, слишком дорогой, чтобы наслаждаться ею в одиночку.

«Хорошо хоть, не зима на дворе, — подумал я, — но через два с небольшим месяца подуют ноябрьские ветра да зарядят дожди; дай Бог мне к тому времени обрести возможность и силы поддерживать огонь в этом камине».

Тротуар успел уже пообсохнуть; после грозы воздух был целителен и свеж; я развернулся спиной к западу, где простиралось молочно-голубое небо и вдали сливалось с малиновым заревом, где по-вечернему сияющее солнце уже торжественно склонялось к горизонту; впереди, на востоке, виднелось огромное скопление туч, но прямо передо мною в небе висела радуга, высокая, широкая и красочная.

Я долго любовался ею, я наслаждался красотой этого зрелища, и проникла она в меня достаточно глубоко, ибо в тот вечер, долго пролежав без сна, в приятном волнении глядя на тихую зарницу, еще игравшую меж тучами, я наконец уснул — и тогда, во сне, мне снова явились медленно садящееся солнце, скопление туч и величественная радуга; мне грезилось, будто я стою, облокотившись на перила, созерцая необъятное, бездонное гространство, которое, судя по немолчному рокоту волн, было морем; море раскинулось до самого

горизонта, переливаясь зелеными и синими насыщенными красками и окутываясь вдали легкой дымкой.

Неожиданно на границе воды и неба вспыхнула золотая искорка, взметнулась ввысь, приблизилась и, увеличившись, приняла удивительные формы; создание это повисло под радужным сводом, оставив позади мягкие, сумрачные тучи. Оно висело в воздухе на крыльях, в струящемся вдоль тела жемчужном, как нежное кудрявое облачко, одеянии; светлыми, цветуще-розовыми были лицо его и воздетые к небесам руки; большая звезда горела немеркнущим светом на челе этого ангела; устремив лучистый взгляд на радугу, он прошептал три слова, и голос его прозвучал в моем сердце: «Ищущий да обрящет».

ГЛАВА XIX

Итак, хотя я преисполнился решимости во что бы то ни стало упрочить свое материальное положение — никогда еще не был я так далек от этой цели.

Учебный год в августе завершился, экзамены были сданы и награды вручены, все ученики были распущены, двери всех коллежей и пансионов позакрывались, чтобы открыться лишь в начале или середине октября. Близился уже конец августа — и чего я достиг? Продвинулся ли хоть на шаг вперед за последнюю четверть? Напротив — на шаг отступил. Отказавшись от места в пансионе м-ль Рюте, я добровольно урезал свой годовой доход на двадцать фунтов, то есть вместо прежних шестидесяти я мог рассчитывать лишь на сорок, да и то без особой на то уверенности.

Я долго уже не касался в своем повествовании г-на Пеле. Прогулка под луной, если не ошибаюсь, — последний эпизод в моей истории, где сей джентльмен выступает одним из главных действующих лиц.

Надо сказать, после того события отношения наши существенно изменились. Впрочем, г-н Пеле, не зная, что целый час при яркой полной луне под распахнутым моим окном раскрывал мне секрет своей эгоистической любви и фальшивой дружбы, по-прежнему обходился бы со мною с неизменной любезностью и мягкостью; но я сделался теперь колючим как еж и к тому же старался избегать его общества; приглашения на кофе к нему в гостиную теперь неизменно отвергались, причем довольно холодно и решительно; все его остроты, касающиеся директрисы, которые он продолжал отпускать, встречались с мрачным хладнокровием, тогда как поначалу вызывали во мне радостное возбуждение.

Пеле довольно долго и с превеликим терпением сносил мой угрюмо-равнодушный вид и даже стал ко мне еще внимательнее; обнаружив, однако, что даже исключительной сердечностью меня не смягчить и вообще не пронять, он в свою очередь охладел ко мне и перестал к себе приглашать; лицо его стало хмурым и подозрительным, и по мрачному, озадаченному взгляду Пеле я

догадался, что перемена эта встревожила его не на шутку и он силится найти ей верное объяснение.

Судя по всему, очень скоро ему это удалось — в проницательности ему было не отказать, — возможно, что м-ль Зораида немало помогла в разрешении этой загадки; как бы то ни было, через некоторое время в отношении меня у Пеле явно не осталось никаких колебаний: он окончательно отказался от всяких притязаний на дружбу и искренность и усвоил сдержанную, крайне официальную и безупречно вежливую манеру общения со мной. Именно к этому я и стремился его подвести и потому остался весьма удовлетворен.

Конечно, меня не устраивало мое положение в его доме, но, избавленный от фальшивых излияний и двуличия, я вполне мог это перенести, тем более что ни малейшие проявления неприязни или тайной ревности директора не трогали мою философическую натуру; он поразил меня не в самую уязвимую точку, и рана так быстро и надежно затянулась, что осталось лишь презрение к Пеле с его предательской сущностью и глубокое недоверие к руке, норовившей ударить меня в спину.

Так продолжалось до середины июля, когда в наших отношениях произошел резкий скачок. Однажды вечером г-н Пеле вернулся домой на час позже обычного в состоянии весьма далеком от трезвого, чего прежде за ним никогда не наблюдалось, — если он чем-то и грешил, подобно своим соотечественникам, то в возлияниях был умерен.

На этот раз Пеле был пьян до безобразия; он поднял на ноги всех (исключая учеников, поскольку дортуар их находился над классами в другом здании и потому был недосыгаем в тот вечер для директора) тем, что бешено тряс колокольчиком и приказывал подать ленч «сию же минуту», ибо мнилось ему, будто день в самом разгаре, хотя городские колокола только-только отзвонили полночь; далее он задал головомойку служанкам за недостаточную пунктуальность и едва не подвергнул телесному наказанию свою несчастную старую мать, которая имела неосторожность посоветовать ему пойти спать; в довершение всего он принялся страшно неистовствовать, требуя подать ему «le maudit Anglais, Creemsvort».^[130]

Я еще спать не ложился, просидев допоздна над только купленными немецкими книгами, когда снизу послышался рев, в

котором я едва смог узнать директорский голос.

Приоткрыв дверь, я выяснил, что г-ну Пеле тотчас нужен Кримсворт, дабы, перерезав ему глотку прямо на обеденном столе, директор смог отмыть проклятой британской кровью свою честь, которая, как он утверждал, была оскорблена и запятнана.

«Он либо напился, либо свихнулся, — решил я. — В обоих случаях престарелой даме и служанкам не повредит присутствие мужчины». И я спустился в холл.

Пеле кругами ходил по нему, безумно вращая, глазами и являя собою нечто неопишное — как раз среднее между идиотом и помешанным.

— Пойдемте, мсье Пеле, вам лучше бы лечь в постель, — сказал я и тронул его за руку.

Как и следовало ожидать, при появлении и уж тем более прикосновении того индивида, которому Пеле так жаждал пустить кровь, ярость в директоре всколыхнулась с новой силой — он вконец остервенел и даже начал драться; но пьяный трезвому не противник, да и в нормальном состоянии щупленький Пеле не мог бы меня одолеть. Я втащил его по лестнице и достаточно быстро уложил в кровать.

В. продолжение этой процедуры Пеле не умолкал; говорил он хотя и заплетаящимся языком, но не без смысла. Он поносил меня как подлое отродье предательской страны и проклинал Зораиду Рюте; ее Пеле называл «*femme sotte et vicieuse*», ^[131] которая, обуреваемая похотью, кинулась на отъявленного негодяя и искателя приключений, — последнее он норовил даже сопроводить кулаками. Закончилось все тем, что я оставил г-на Пеле в его спальне в неистовых, но тщетных потугах отвязаться от кровати и, выйдя, на всякий случай повернул в двери ключ — так что к себе я вернулся в полной уверенности, что до утра Пеле пробудет в надежной изоляции; теперь я мог спокойно проанализировать случившееся и сделать выводы.

Мне стало совершенно ясно, что директриса, уязвленная моим равнодушием, замороженная надменностью и подталкиваемая тем предпочтением, что, как она правильно подозревала, я оказывал другой, попала в собственноручно устроенную ловушку, сама оказалась в сетях, в которых хотела запутать меня. Разобравшись в

произошедшем за последние три месяца, я заключил, что, судя по нынешнему состоянию моего начальника, у его возлюбленной охладели чувства (вернее, расположение — слово «чувства» здесь не совсем уместно) и она дала понять ему, что то место в ее сердце, которое он прежде занимал, теперь занято его работником, учительишкой.

Не без некоторого удивления я обнаружил, что в моих интересах поддержать эту игру: Пеле с его старой, преуспевающей школой представлял собой весьма удобного и полезного соперника, Зораида же была женщиной на редкость расчетливой. Любопытно, могла ли симпатия одержать в ней верх над корыстью? Впрочем, из слов г-на Пеле было ясно, что Зораида не только оттолкнула его, но и недвусмысленно выразила мне предпочтение. Так, в потоке его пьяных ругательств было следующее: «И эта дрянь прельстилась твоей молодостью, болван недоделанный, и еще возносит твои якобы благородные манеры, как она называет вашу треклятую английскую церемонность, да твою якобы принципиальность — вот уж точно! — des mœurs de Caton^[10]. a-t-elle dit — sotté!»^[132]

У Зораиды, по-видимому, была весьма необычная природа: при сильной, глубокой тенденции переоценивать материальные блага и положение в обществе она вдруг вспылала к незадачливому учителю, своему подчиненному, выказывавшему по отношению к ней сардоническое пренебрежение, — чего не мог добиться преуспевающий директор школы самыми подобострастными ухаживаниями. Я тихо усмехнулся; хотя самолюбию моему польстило это завоевание, лучшие чувства во мне остались нетронутыми.

На другой день увидев директрису (она нашла предлог встретиться со мною в коридоре и взглядом, полным рабского смирения, всем своим видом словно вымаливала мое внимание), я убедился, что не только не мог бы ее полюбить, но даже едва ли мог проникнуться к ней жалостью. Сухо и лаконично ответить на ее пристрастные расспросы о моем самочувствии, строго кивнуть мимоходом — это все, чем мог я отозваться; поведение м-ль Рюте производило на меня единственный эффект: оно заглушало все самое лучшее во мне и вызывало наружу самое скверное в моей натуре. Директрисе редко когда удавалось ослабить мою волю; напротив, общаясь с ней, я неизменно ожесточался. Я стал ощущать в себе

душевный разлад. Я всегда ненавидел тиранов — и вот, приобретя раба, добровольно предо мною склонившегося, я почти что превратился в того, к кому извечно питал отвращение. Я получал какое-то низменное удовольствие от приторного фимиама, что возмущала мне привлекательная и достаточно еще молодая почитательница, и с раздражением осознавал собственную деградацию, проявлявшуюся в этом удовольствии. Когда м-ль Рюте проходила мимо меня мягкой, осторожной поступью, я представлял себя и дикарем и пашой. Иногда я молча сносил ее поклонение, иногда грубо обрывал его, используя безразличие и грубость как средства хотя бы уменьшить зло, которого желал бы избежать.

«Que le dédain lui sied bien! — услышал я однажды, когда мадемуазель Рюте разговаривала с матерью. — Il est beau comme Apollon quand il sourit de son air hautain». ^[133]

В ответ веселая престарелая мадам рассмеялась и сказала, что дочь ее, надо думать, околдована, поскольку в учителе этом нет ничегошеньки от красивого мужчины, кроме разве того, что он строен и не калека. «Pour moi, — продолжала она, — il me fait tout Peffet d'un chathuant, avec ses bésicles». ^[134]

Достойная старушка! Я б не преминул кинуться расцеловать ее, не будь она так стара, толста и краснолица. Ее разумные, искренние слова являли полный контраст с нездоровыми иллюзиями ее дочери.

Пробудившись наутро после пьяного безумия, Пеле не помнил ничего из происшедшего минувшей ночью, матушка же его, к счастью, благоразумно воздержалась от того, чтобы сообщить ему, что мне случилось стать свидетелем его падения. Он не потянулся снова к вину, дабы затопить свое горе, однако и трезвый скоро дал понять, что клинок ревности глубоко вошел в его сердце.

Пеле был французом до мозга костей, и свойственная этой нации свирепость не была упущена природой при закладывании его натуры. Впервые это качество обнаружилось во взрыве хмельной ярости, когда некоторые проявления ненависти Пеле к моей особе носили поистине дьявольский характер; теперь же они исподволь проглядывали в мимолетных искажениях его черт и в бледно-голубых глазах, которые вспыхивали злобой, стоило им встретиться с моими. Он старательно избегал со мною говорить, и теперь я был избавлен даже от лживой его учтивости.

При таких взаимоотношениях дух мой восставал против проживания в доме Пеле и службы у него. Но кто абсолютно свободен от давления обстоятельств? По крайней мере, полностью я им не подчинился; каждое утро я просыпался с непреодолимым желанием сбросить это бремя и уйти с вещами под мышкой, как скиталец — но зато как свободный человек; и вечерами, когда я возвращался из пансиона для девиц, во мне звучал милый сердцу чистый голос, мне виделось женское личико, такое доброе, кроткое и выразительное, мне представлялась личность, одновременно гордая и уступчивая, чувствительная и здравомыслящая, серьезная и пылкая, в памяти моей возникали волнующие и восхитительные взоры, горячие и скромные, нежные и решительные, и мне грезились новые для меня узы, о которых я так мечтал, новые обязанности, которые я так желал на себя возложить, — все это подавляло во мне ропот и мятежное настроение и вселяло спартанскую выносливость перед уготованными мне невзгодами.

Через некоторое время страсти в г-не Пеле улеглись — двух недель оказалось достаточно, чтобы они вспыхнули, взметнулись и приугасли; именно в этот промежуток времени в соседнем заведении рассчитали несносную соперницу, тогда же я объявил о своем намерении разыскать любимую ученицу и, запросив ее адрес и получив отказ, бесповоротно оставил свою должность.

Это последнее обстоятельство, казалось, тут же отрезвило м-ль Рюте; директриса, довольно долго пребывавшая относительно меня в заблуждении, когда пронизательность и благоразумие ей словно отказали, теперь выбралась на правильный для себя путь. Под сим последним я разумею не крутой, труднопроходимый путь принципиальности и добродетели — по такой дороге она никогда не хаживала, — но обычный большак житейского расчета, путь, от которого она в последнее время несколько отклонилась. Она снова устремилась за давнишним поклонником, г-ном Пеле, и очень скоро поймала его в сети. Какие средства она употребила, чтобы смягчить и ослепить его, не знаю, во всяком случае, ей удалось как унять его гнев, так и обмануть прозорливость, что незамедлительно подтвердилось резкой переменой в его поведении и в выражении лица; должно быть, она сумела убедить Пеле, что я ему не соперник и никогда таковым не был, потому как двухнедельная его озлобленность по отношению ко

мне закончилась вдруг выказыванием безграничной любезности и добродушия, в которых сквозило непомерное самодовольство, не столько раздражающее, сколько забавное.

Холостяцкая жизнь Пеле протекала, как я понимал, в чисто французском духе с характерным пренебрежением ко всяким моральным ограничениям, и я подозревал, что супружеская его жизнь обещает быть также вполне на французский манер. Пеле частенько похвалялся мне тем, какой страх он внушает некоторым своим женатым знакомым, и я едва ли мог сомневаться, что теперь ему отплатят той же монетой.

Кризис надвигался. Не успели начаться каникулы, как слух о приближающемся весьма знаменательном событии облетел владения г-на Пеле; маляры, обойщики и полотеры разом взялись за работу, и в разговорах их то и дело слышалось «la chambre de Madame» и «le salon de Madame».^[135] Трудно предположить, чтобы старая мадам, хотя и обрадованная грядущим празднеством, сумела вдохновить своего отпрыска на такой акт сыновней признательности, чтобы он вознамерился отделать апартаменты специально для нее; совместно с кухаркой, двумя горничными и двумя судомойками я заключил, что владеть этими нарядными комнатами суждено новоявленной, более молодой мадам Пеле.

Вскоре было официально объявлено о торжестве, и спустя неделю мсье Франсуа Пеле и мадемуазель Зораиде Рюте предстояло навеки соединиться брачными узами. Упомянутый мсье собственной персоной явился мне это сообщить и под конец выразил пожелание, чтобы я по-прежнему был его наиболее искусным помощником и другом, а также пообещал повысить мне годовое жалованье на двести франков.

Я поблагодарил его, воздержавшись, впрочем, от определенного ответа, и, когда Пеле удалился, наскоро переоделся и отправился к Фландрским воротам, с тем чтобы, покинув город, остыть, успокоиться и привести хаотические мысли к какому-то порядку. В сущности, только теперь я осознал с полной ясностью необходимость ухода от г-на Пеле: коль скоро м-ль Рюте станет мадам Пеле, для меня просто невыносимо будет остаться, как и прежде, зависимым жильцом в доме, в который она войдет хозяйкой. Теперешнее ее обхождение со мной не лишено было ни холодных приличий, ни сдержанной учтивости, но я

не сомневался, что подлинное ее отношение ко мне ничуть не изменилось. Декорум и Политичность основательно скрыли его, однако обстоятельства могли оказаться сильнее их обоих, и Соблазн преодолел бы их защиту.

Я не был святошей и едва ли мог похвастаться безгрешностью; иначе говоря, если б я остался — а возможность такая была — месяца на три, то под крышей ничего не подозревающего Пеле вовсю развернулся бы самый тривиальный французский роман. Однако подобные интриги были не в моем вкусе и нисколько меня не прельщали.

Хотя и обладая весьма скудным жизненным опытом, я сумел вообразить пример того, к чему приводит полная романтики супружеская измена. Представленный мною образчик не обладал золотым нимбом; я видел его насквозь, и был он крайне отвратителен. Я представил ум, деградировавший от постоянной лжи и всевозможных гнусных уверток, и тело, испорченное губительным воздействием порочной души. Я заставил себя, невзирая на муки, лицезреть это скверное зрелище и теперь не жалею, что доставил себе такое переживание, ибо одна память об этом действовала как эффективнейшее противоядие соблазну. Я исполнился уверенности, что незаконное удовольствие, ущемляющее права другого человека, — удовольствие обманчивое, ядовитое; со временем обманчивость его обнаруживается и приносит горькое разочарование, его яд впоследствии доставляет немало мучений и отравляет навсегда.

Из всего этого вытекало, что я должен немедленно покинуть дом Пеле. «Но тебе ведь некуда уйти и не на что жить», — возразила мне Осторожность. И тогда нахлынули на меня грезы истинной любви. Фрэнсис, казалось, была так близко, тонкая ее талия будто желала моих объятий, ее рука искала мою, и я чувствовал, что маленькая ее ладошка была создана для того, чтобы приютиться в моей; я не мог отказаться от своих надежд, не мог навсегда уйти от ее глаз, которые обещали столько счастья и столь редкое единение сердец, — от глаз, выразительный взгляд которых так глубоко проникал в меня, в которых я мог затеплить блаженство и благоговение, возжечь восхищение, которые я мог заставить радостно искриться и смятенно замирать.

Мои надежды и решимость работать, чтобы добиться материального благополучия и веса в обществе, обступали меня боевыми порядками — я же теперь готов был кинуться в море абсолютной нищеты.

«И все это, — внушал мне внутренний голос, — оттого, что ты бежишь от дьявола, который, быть может, никогда и не появится». — «Появится, и ты прекрасно это знаешь», — возражал ему упрямый мой советчик Рассудок. «Поступай, сообразуясь только с собственными чувствами. Подчинись, доверься мне, и даже в отчаянной нужде я обеспечу тебе надежную опору».

И тогда, в то время как я быстро шагал по дороге, меня охватила странная мысль о том, что некое Верховное Существо, невидимое, но вездесущее, желающее мне лишь благоденствия, следит теперь за борьбой добра и зла в моей душе и ждет, внемлю ли я его гласу, тихо раздающемуся в сознании, или же прислушаюсь к мнимым истинам, которыми его — и мой также — противник, Дух Зла, пытается сбить меня с правильного пути.

Каменистым, идущим круто в гору был путь, указанный мне божественным светом, совсем не похож он был на скользкую, наклонную зеленую дорожку, вдоль которой Соблазн разбросал свои яркие цветы; но, несмотря на это, мнилось мне, что божество Любви, покровитель всего живущего, улыбнулось бы удовлетворенно, если б я не медля препоясал чресла и двинулся вверх по суровому крутому склону, — и напротив, каждое маломальское отступление к мягкому пологому спуску, казалось, зажигало бы победную улыбку на лице врага Господа и рода человеческого.

Я резко развернулся и прибавил шаг; через полчаса я снова был в доме Пеле. Директор был в школе, и долгих объяснений нам не потребовалось, поскольку даже мой вид красноречиво свидетельствовал о полной решимости покинуть должность; впрочем, полагаю, г-н Пеле в душе одобрил мои действия.

Поговорив с ним минут двадцать, я вернулся в свою комнатку, по собственной воле лишившись средств к существованию и самого себя изгнав из этого жилища, с тем чтобы не более чем за неделю приискать новое.

ГЛАВА XX

Едва закрыв дверь, я увидел на столе два письма; я предположил было, что это пригласительные записки от родственников моих учеников — мне случалось получать подобные знаки внимания; о более же интересной корреспонденции для меня, не имевшего друзей, вопроса не стояло: все то время, что я жил в Брюсселе, прибытие почты не представлялось мне событием особой значимости.

Я взялся за конверты и, равнодушно глядя на них, приготовился распечатать; но тут и взгляд и рука у меня застыли: я был ошарашен такой неожиданностью — будто, ожидая увидеть лишь пустую страницу, я вдруг обнаружил яркую картинку; на одном конверте была английская марка, на другом же — изящный, четкий, явно женский росчерк. Я начал со второго письма и прочел следующее:

«Мсье, я обнаружила то, что Вы сделали в тот самый день, когда посетили, меня; Вы, вероятно, поняли, что я каждый день вытираю пыль с фарфора; поскольку никого, кроме Вас, у меня в доме не было за всю неделю, а волшебных денег в Брюсселе не водится, вряд ли стоит сомневаться, кто оставил двадцать франков у меня на каминной полке. Когда я нагнулась поискать Вашу перчатку под столом, я услышала, как Вы тронули вазочку, и немало удивилась тому, что Вы вообразили, будто перчатка могла туда попасть. Итак, мсье, поскольку деньги эти не мои, я ими не воспользуюсь. Не посылаю их с этим письмом, потому что оно может потеряться, однако при первой же встрече я их возвращу — и Вы не должны этому воспротивиться: во-первых, мсье, надеюсь, Вы способны понять человека, предпочитающего отдавать свои долги, чтобы не быть никому чрезмерно обязанным; во-вторых, теперь я вполне могу себе это позволить, потому как обеспечена местом.

Собственно, в связи с последним обстоятельством я и решила написать Вам: добрые вести всегда приятно сообщать, а на сегодняшний день у меня есть только мой учитель, с кем я могу чем-либо поделиться.

Неделю назад меня пригласили к миссис Уортон, английской леди; старшая ее дочь выходила замуж, и один богатый родственник презентовал ей фату и платье с дорогими старинными кружевами, ценными как бриллианты, но чуточку попорченными от времени, — их мне и поручили починить. Работу эту я делала у невесты в доме, и, кроме того, меня попросили закончить кое-какие вышивки — так что на все это ушла без малого неделя. Когда я работала, мисс Уортон часто заходила в комнату и усаживалась возле меня, иногда к ней присоединялась и миссис Уортон. С ними мне пришлось говорить по-английски, и однажды они спросили, как мне удалось так хорошо овладеть языком; затем они поинтересовались, что еще я знаю, какие книги читала, и, казалось, весьма были удивлены моими познаниями. Как-то раз миссис Уортон привела с собою одну парижанку, чтобы проверить, насколько хорошо я знаю французский. В результате — вероятно, благодаря тому, что предсвадебный душевный подъем подвигал и мать и дочь на благотворительность, и тому, что они вообще по природе добры и великодушны, — они решили, что желание мое заниматься более серьезным делом, нежели чинить кружева, вполне разумно и похвально, и в тот же день они усадили меня в свой экипаж, собираясь ехать к миссис Д***, директрисе первой английской школы в Брюсселе. Директриса эта как раз искала француженку, которая смогла б давать уроки географии, истории, грамматики и словесности на французском языке. Миссис Уортон прекрасно меня отрекомендовала, а поскольку две ее младшие дочери учатся в этой школе, покровительство ее помогло мне получить место. Мы уговорились, что приходить я буду ежедневно на шесть часов (к счастью, от меня не требовалось жить при школе: мне было б ужасно грустно расстаться со своим домом), за что миссис Д*** будет платить мне двенадцать сотен франков в год.

Теперь Вы видите, мсье, что я богата — богаче, чем когда-либо на это надеялась. Это так замечательно, в особенности потому, что из-за долгой работы с тонким кружевом у меня начало портиться зрение, к тому же я так уставала, засиживаясь с ним до поздней ночи, что уже не в силах была читать или учиться. У меня появились опасения, что если я вдруг заболею, то не смогу себя прокормить; теперь этот страх большей частью отступил. И я благодарю Господа за помощь и чувствую, что просто необходимо поведать о

своем счастье кому-нибудь, у кого достаточно доброе сердце, чтобы возрадоваться чужой удаче. Потому я не могла противиться искушению написать Вам; я убеждала саму себя, что для меня наслаждение писать это письмо, а Вас оно не слишком отяготит, хотя, возможно, и немного наскучит. Не гневайтесь на мою многоречивость и не блестяще отделанные фразы.

Преданная Вам ученица, Ф.Э.Анри».

Прочитав письмо, я некоторое время размышлял над его содержанием — ощущал ли я при этом только радость, или же охватило меня иное чувство, скажу чуть позже.

Я взял другое письмо. Конверт был надписан незнакомым мне почерком, мелким и очень ровным, не мужским и не то чтобы женским; на печати был герб, относительно которого я мог сказать лишь, что это не герб Сикомбов, следовательно, послание это не могло прийти ни от кого из моих почти уже забытых и определенно забывших меня совершенно родственников-аристократов. От кого же тогда оно? Я вскрыл конверт, развернул вложенный в него листок и прочел:

«Ни в коей мере не сомневаюсь, что Вы процветаете в своей грязной Фландрии, определенно питаясь туком этой жирной земли; ^{11} что сидите, как черноволосый, смуглый и носатый сын израилев у котлов с мясом в земле Египетской^{12} или же как бесчестный левит^{13} у медного котла, то и дело погружая священный багор в море похлебки и вытягивая себе кусочек пожирнее да помясистее. Это я знаю наверняка, поскольку в Англию Вы ни разу не написали.

Неблагодарный! Я, посредством великолепной рекомендации, добыл Вам место, где теперь Вы как сыр в масле катаетесь, — и хоть бы словечко благодарности, хоть бы какой-то знак признательности в ответ! Однако я еду Вас повидать и думаю, что даже с Вашими вялыми аристократическими мозгами Вы могли бы хотя бы в общих чертах представить, какой нравственный урок, уже упакованный в моем багаже, будет Вам преподнесен немедленно по моем приезде.

Между тем я в курсе всех Ваших дел и недавно узнал из последнего письма Брауна, что ходят слухи, будто Вы намерены

связать себя выгодной партией с маленькой богатой бельгийской учительницей — м-ль Зенобией или что-то в этом роде. Не удостоюсь ли я чести хотя б взглянуть на нее по прибытии? Смею Вас уверить, если она удовлетворит мой вкус или я сочту ее привлекательной с точки зрения материальной, я вцеплюсь в Вашу добычу и, вырвав из Ваших зубов, торжествующе унесу ее к себе (хотя я не люблю маленьких и коренастых, а Браун пишет, что она низкорослая и плотная — в самый раз для такого тощего и на вид изголодавшегося малого, как Вы).

Так что будьте настороже, ибо Вам не известно ни в какой день, ни в какой час Ваш.....(дабы не богохульствовать, оставлю пропуск).

Искренне ваш Хансден Йорк Хансден».

— Хм! — мрачно хмыкнул я и, положив письмо, снова воззрился на убористый, аккуратный почерк, вроде бы не имеющий ничего общего с таким человеком, как Хансден.

Говорят, почерк соответствует характеру человека, — и какое ж соответствие было в этом письме? Впрочем, припомнив своеобразную наружность его автора, характерные особенности его натуры, о которых я скорее догадывался, нежели знал, я ответил себе: «Соответствие есть, и отнюдь не малое».

«Итак, — размышлял я, — Хансден едет в Брюссель, и когда он прибудет, не известно. Ясно только, что он предвкушает увидеть меня в пике благоденствия, собирающимся жениться, обосноваться в теплом гнездышке и с комфортом устроиться под боком у чистенькой, упитанной супруги. Хотел бы я, чтобы он полюбовался в действительности той картиной, которую нарисовал. Что он скажет, когда вместо парочки пухленьких голубков, воркующих и целующихся в увитом розами домике, он обнаружит одинокого исхудалого баклана, без подруги и без крова, стоящего на продуваемом всеми ветрами утесе нищеты? А, к черту! Пусть приезжает, пусть повеселится над контрастом между слухами и тем, что есть на самом деле. Уж не дьявол ли он, если я не могу ни возлюбить его за все, им сделанное для меня, ни скрыться от него и должен постоянно отвечать искусственной улыбкой и дерзким словом на его убийственный сарказм».

Затем я снова обратился к письму Фрэнсис, этой звонкой струне, звука которой я не мог бы заглушить, даже зажав руками уши, ибо

звенела она во мне; и, хотя музыка эта была сама гармония и совершенство, каденция неизменно звучала стоном.

Тот факт, что Фрэнсис высвободилась из-под гнета нужды, что проклятье неимоверного труда было наконец с нее снято, разумеется, переполнял меня радостью; то, что первым ее порывом было поделиться со мною приятной новостью, нашло благодарный отклик в моем сердце. Я словно сделал два глотка из чаши с ароматным нектаром, но стоило мне в третий раз коснуться губами чаши — напиток в ней показался уксусом с желчью.

Два человека с умеренными запросами могут довольно-таки неплохо прожить в Брюсселе на те средства, которых едва ли может хватить на более-менее приличное существование в Лондоне — и вовсе не потому, что основные жизненные потребности столь дороги в английской столице или налоги столь высоки, но потому, что англичане в отношении дорогостоящих капризов опережают все прочие нации на земле и являются более жалкими рабами общественного мнения и привычки поддерживать общепринятую форму, чем итальянцы являются рабами римской церкви, французы — тщеславия, русские — своего царя, а немцы — темного пива.

Мне виделось больше здравого смысла в скромном убранстве небольшого, но уютного бельгийского дома, которое повергло бы в стыд роскошь и ненатуральное великолепие сотни респектабельных английских особняков. В Бельгии, если вам удалось обзавестись деньгами, вы можете их приберечь; в Англии же вряд ли такое возможно: соблюдение формы там за месяц проглотит то, что с большим трудом заработано за год. В этой стране роскоши и крайней нужды следовало бы презирать себя тем классам, что так рабски поклоняются общепринятому. На сей предмет я мог бы написать целую главу, а то и две, но — по крайней мере, теперь — должен воздержаться.

Имей я тогда надежных шестьдесят фунтов в год (при пятидесяти фунтах годовых у Фрэнсис), я мог бы не мешкая отправиться прямо к ней и изложить все то, что, подавленное и приглушенное, невыносимо терзало мне сердце; совокупного нашего дохода вполне хватило бы на довольно сносное существование, поскольку жили мы в стране, где бережливость не расценивалась как убожество, где умеренность в туалетах, пище, обстановке не смешивалась с вульгарностью. Но как

мог помышлять об этом учитель без места, без средств и без связей! Такое чувство, как любовь, такое слово, как супружество, были просто неуместны в сердце у него и на устах. Только теперь я смог по-настоящему проникнуться тем, что значит бедность, только теперь та жертва, что я принес, отказавшись от должности, обозначилась в ином свете — вместо правильного, разумного, достойного шага я увидел в ней легкомысленный, безрассудный поступок.

Добрую четверть часа я проходил по комнате от окна к стене и обратно; из окна на меня глядел молчаливый самоукор, со стены же — презрение к себе. Неожиданно зазвучал голос Рассудка.

«Ничтожные, бестолковые мучители! — кричал он. — Человек исполнил свой долг; вы не смеете так изводить его мыслями о том, что все могло бы быть иначе; он отказался от сиюминутного, сомнительного блага ради того, чтобы избежать долгого и тяжкого зла, — и он прав. Дайте ему немного поразмыслить — и, когда ваша ослепляющая и оглушающая завеса осядет, он отыщет верный путь».

Я сел, подпер руками лоб; я думал час, думал два — все бесплодно. Я был похож на человека, запертого в подzemелье, который вглядывается в крошечную тьму и ждет, что сквозь камень и цемент в ярд толщиной к нему пробьется свет, — ведь даже в самой вроде бы надежной кладке могут оказаться щели, возникнуть трещины.

Нашлась такая щель и в моем тупиковом положении; через некоторое время я увидел — или мне это только мнилось — луч света, слабого, холодного, мертвенного, но все-таки света, что показал узкий выход, обещанный Рассудком. После двух-трех часов мучительных поисков я отыскал в памяти осколки кое-каких обстоятельств и обнадежил себя тем, что, если их сложить, у меня в руках окажется неплохой инструмент и я выберусь из тупика.

Обстоятельства эти вкратце были таковы.

Месяца за три до этого г-н Пеле по случаю своих именин решил устроить мальчикам праздничное развлечение, закатив пикник в одном из предместий Брюсселя, названия которого мне теперь не припомнить; близ него было несколько водоемов, именовавшихся *étangs*; ^[136] среди них выделялся один *étang*, значительно больше остальных, и по праздникам многие горожане обыкновенно развлекались тем, что катались по нему в маленьких лодочках.

Питомцы г-на Пеле, уничтожив несметное количество gaufres^[137] и опорожнив несколько бутылок лувенского пива в тенистом садике, специально разбитом для подобных развлечений, принялись умолять директора позволить им покататься по étang.

Полдюжине мальчиков — тем, что постарше, — удалось добиться такого разрешения, мне же поручено было их сопровождать. В числе этих счастливиц случилось оказаться некому Жану Батисту Ванденгутену — самому увесистому в школе юному фламандцу, который в свои шестнадцать лет при невысоком росте обладал фигурой необъятной, вполне национальных габаритов.

К несчастью, Жан первым ступил в лодку; он споткнулся, завалился на борт, и легкая лодочка, возмущенная его весом, опрокинулась. Ванденгутен погрузился в воду, как свинец, затем на миг показался на поверхности и снова устремился ко дну.

Мой сюртук и жилет в мгновение ока были сброшены — не напрасно я воспитывался в Итоне и целых десять лет вовсю плавал, нырял и катался на лодках; так что кинуться на помощь тонущему для меня было естественно и просто.

Остальные мальчики и лодочник уж было завопили, уверенные, что будет два утопленника вместо одного; но, когда Жан всплыл в третий раз, я ухватил его за ногу и за воротник, и через три минуты мы оба уже сидели на берегу.

По правде говоря, этот мой поступок, в сущности, не был особо героическим: никакой опасности моя жизнь не подвергалась, я даже не схватил простуды; но, когда чета Ванденгутинов, у которой Жан Батист был единственным отпрыском и надеждой, узнала о моем подвиге, они преисполнились уверенностью, что я проявил беспримерную храбрость и самопожертвование и никакою благодарностью сие не вознаградить. Мадам, в частности, говорила, что я, должно быть, нежно любил ее драгоценного сыночка, иначе не стал бы «рисковать собственной жизнью ради его спасения». Мсье Ванденгутен, весьма представительный, хотя и несколько флегматичный господин, был немногословен, однако не отпустил меня, пока не добился обещания, что в случае, если мне потребуется какая-либо помощь, я непременно к нему обращусь и тем самым предоставляю возможность меня отблагодарить.

Эти-то его слова и были теперь для меня лучом надежды, именно здесь я видел для себя единственный выход — и тем не менее холодный этот свет меня не радовал, и выход был не таким, через который мне хотелось бы выбраться. Г-н Ванденгутен, в самом деле, не был передо мною должником, и на основании своей ничтожной заслуги я, разумеется, к нему обратиться не мог, — но меня вынуждала необходимость: мне надо было срочно подыскать работу, и лучшим шансом ее найти было заручиться его рекомендацией. Я знал, что стоит только попросить — и я тотчас ее получу; но я не мог просить ее: это возмущало мою гордость и вообще было противно моим правилам; я чувствовал, что подобная просьба бесчестна и что, пойдя на это, я, возможно, буду раскаиваться всю жизнь.

В тот вечер я все же отправился к г-ну Ванденгутену. Но я напрасно гнул лук и приспособливал стрелу: тетива лопнула.

Я остановился у массивной двери большого, красивого дома в фешенебельном квартале Брюсселя; открыл мне слуга, и я спросил г-на Ванденгутена; мне ответили, что хозяин с семьей уехали в Остенде и неизвестно, когда вернутся. Я оставил свою карточку и так ни с чем и ушел.

ГЛАВА XXI

Минула неделя, наступил le jour des posces;^[138] брачная церемония состоялась в соборе Св. Иакова; м-ль Зораида стала мадам Пеле née^[139] Рюте, и через час после этого превращения «счастливая молодая чета», как обозначили ее в газетах, была уже на пути к Парижу, где, согласно ранней договоренности, должен был пролететь ее медовый месяц.

На следующий же день я покинул дом Пеле. Я сам и мое движимое имущество (одежда и книги) вскоре переместились в скромное жилище, нанятое неподалеку. За полчаса одежда была разложена по ящикам комода, книги встали на полку — и переезд был завершен. Едва ли я чувствовал бы себя в тот день несчастным, если б не острая душевная боль, оттого что непреодолимое желание пойти на Рю Нотр-Дам-о-Льеж сталкивалось с твердым решением избегать эту улицу, пока не рассеется туман неопределенности перед моими перспективами.

Был очень тихий и мягкий сентябрьский вечер, дел особых у меня не было; я знал, что Фрэнсис уже должна была освободиться после уроков; мне подумалось, что она, возможно, хотела бы повидать своего учителя — я же определенно хотел видеть свою ученицу. Воображение ласковым шепотком начало тихонько рассказывать мне о возможных радостях.

«Ты найдешь ее за чтением или письмом, — вещало оно, — и незаметно сядешь рядом; не стоит сразу нарушать ее покой непривычным для нее поспешным жестом или же смущать ее странными речами. Будь таким, как всегда: окинь строгим взглядом то, что она написала, послушай, как она читает; побрани ее или слегка похвали — ты ведь знаешь, как действует на нее и то и другое; ты знаешь, какой лучистой бывает ее улыбка, какое воодушевление порою светится в глазах; тебе знаком секрет, как пробудить в них именно то выражение, какое ты желаешь, и тебе дано выбирать из всей их палитры.

Она будет тихо сидеть и слушать тебя столько, сколько тебе угодно будет говорить; в твоей власти держать ее под

могущественными чарами, скреплять печатью молчания ее уста и заставлять выразительные черты, ее радостную улыбку окутываться пеленою робости.

Впрочем, тебе известно: она не бывает однообразно мягка и покорна; тебе уже доводилось с каким-то странным наслаждением наблюдать, как в ее эмоциях, в выражении лица воцарялись негодование, презрение, строгость, досада. Ты знаешь, далеко не многие сумеют ею управлять. Она скорее сломается под рукой Тирании и Несправедливости, но никогда не склонится; зато Благоразумие и Доброта могут с легкостью ею править.

Так испытай же их силу! Иди — эти орудия не вызовут взрыва страстей, ты можешь их применить совершенно безопасно».

«Нет, я не пойду, — был мой ответ на это сладостное искушение. — Есть предел у любого самообладания. Разве могу я встретиться сегодня с Фрэнсис, разве могу сидеть с ней наедине в тихой, уютной комнате — и общаться лишь на языке Благоразумия и Доброты?»

«Нет», — последовал быстрый и пылкий ответ той Любви, что властвовала теперь мною.

Время словно замерло, солнце как будто и не собиралось садиться, и, хотя часы звучно тикали, мне казалось, что стрелки абсолютно неподвижны.

— Какая духота сегодня! — вскричал я и резко распахнул окно. И впрямь столь разгоряченное состояние у меня бывало крайне редко.

Услышав шаги на парадной лестнице, я неожиданно подумал, может ли этот locataire,^[140] поднимающийся теперь к своей квартире, быть в состоянии столь же возбужденного ума и растрепанных чувств, как я, — или же он неизменно спокоен, уверен в своих доходах и свободен от разгулявшихся страстей?

Что я слышу?! Уж не собирается ли он ко мне заявиться и ответить на вопрос, едва успевший родиться в моих мыслях? Он действительно постучался в мою дверь, быстро и с силой, и не успел я пригласить его войти, как он шагнул через порог и закрыл за собою дверь.

— Ну, и как вы тут? — негромко спросил он по-английски совершенно равнодушным тоном.

Далее мой гость без всяких церемоний, не представившись, невозмутимо положил на стол шляпу и в нее — перчатки, чуть придвинул к центру единственное в комнате кресло и со спокойнейшим видом в него уселся.

— В состоянии ли вы сказать хоть слово? — спросил он таким небрежным тоном, будто давая понять, что на этот вопрос я могу и не отвечать.

Тут я счел необходимым воспользоваться услугой добрых моих друзей les bésicles,^[141] впрочем, не для того, чтобы установить личность гостя — поразительная его наглость и без того мне это прояснила, — но чтобы разглядеть его получше, увидеть выражение его лица.

Я не торопясь протер стекла и надел очки так же неспешно, аккуратно, чтобы, не дай Бог, они не поцарапали мне переносицу и не запутались в волосах. Я сидел у окна, спиной к свету и vis-à-vis с гостем; место это было бы более удачным для него, поскольку он всегда предпочитал рассматривать кого-либо, нежели самому быть рассматриваемым.

Да, это был он — никакой ошибки быть не могло — с его шестифутовой, приведенной в сидячее положение фигурой в темном дорожном платье с бархатным воротником, в серых панталонах и с черным шарфом; это было его лицо, оригинальнее коего вряд ли сотворяла Природа, хотя вроде бы ничем особенным не выделяющееся; лицо, в котором нет ни одной черты достаточно броской или странной — и в целом представляющее собою нечто уникальное. Впрочем, стоит ли описывать неопишуемое!

Не торопясь начать разговор, я сел и уставился на гостя без тени смущения.

— О, вам угодно так поиграть, да? — произнес он наконец. — Хорошо, посмотрим, кто скорее утомится.

И он извлек из кармана красивый портсигар, медленно достал сигару, закурил, затем снял с ближайшей полки какую-то книгу и, откинувшись на спинку кресла, принялся читать и курить с такой невозмутимостью, будто находился в собственном доме на Гров-стрит, в ***шире, в Англии. Я знал, что сидеть так он мог хоть до полуночи, если уж ему припал вдруг такой каприз, и потому я поднялся, забрал у него книгу и сказал:

— Не испросив разрешения, вы не будете ее читать.

— Она глупая и скучная, — отозвался он, — так что я немного теряю. — И поскольку лед молчания был таким образом пробит, он продолжал: — Я полагал, вы живете у Пеле. Я отправился туда днем и уже настроился умереть с голоду, ожидая вас в классной комнате, как вдруг узнал, что вас нет и что переехали вы еще утром. Впрочем, вы оставили свой новый адрес, о котором я и осведомился, — признаюсь, не ожидал от вас подобной предусмотрительности. Так почему вы оттуда уехали?

— Потому что Пеле женился как раз на той леди, которую вы с мистером Брауном прочили мне в жены.

— О, в самом деле?! — воскликнул Хансден и испустил ехидный смешок. — Так, значит, вы потеряли разом и невесту и должность?

— Именно.

Он быстро окинул взглядом мою тесную комнатку с убогой обстановкой и, мгновенно уяснив положение дел, казалось, снял с меня прежнее обвинение в преуспевании.

Любопытный эффект произвело сие открытие на этого странного человека: я больше чем уверен, что, если б он обнаружил меня в роскошной гостиной возлежащим на мягкой кушетке с хорошенькой и богатой супругой подле, он бы меня возненавидел; тогда пределом его любезности явился бы краткий, холодно-надменный визит, и больше Хансден ко мне даже не приблизился бы, пока поток фортуны нес бы меня, мерно покачивая. Однако дешевая крашенная мебель, голые стены комнаты и мое унылое одиночество смягчили его непреклонную натуру, и, когда он вновь заговорил, я заметил эту перемену в его голосе и глазах.

— У вас уже есть другая работа?

— Нет.

— А что-нибудь на примете?

— Нет.

— Это скверно. Вы обращались к Брауну?

— Разумеется, нет.

— А не мешало бы, в подобных случаях он часто в силах посодействовать.

— Однажды он уже оказал мне помощь; у меня к нему нет никаких претензий, и я не собираюсь беспокоить его еще раз.

— О, если вы так робки и боитесь показаться назойливым, вам остается только поручить это мне. Сегодня я его увижу, так что могу замолвить за вас словечко.

— Я попросил бы вас этого не делать, мистер Хансден. Я и без того ваш должник; еще в К*** вы оказали мне добрую услугу, вытащив из клетки, в которой я погибал, — та услуга еще не оплачена, и я категорически отказываюсь добавить хотя бы один пункт к тому счету.

— Ну, если так, все встает на свои места. Я думал, беспримерное мое великодушие, выразившееся в том, что я вызволил вас из той проклятой конторы, будет однажды должным образом оценено. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его», ^{14}. — учит Священное Писание. И в самом деле, присмотритесь ко мне внимательнее, юноша, — я бесподобен, вы ничего похожего не встретите в людском стаде. Между тем, если отбросить весь этот вздор и говорить серьезно, вы, согласившись, можете немало выгадать; к тому же просто глупо отвергать помощь, когда вам ее так настойчиво предлагают.

— Довольно, мистер Хансден, вопрос этот исчерпан, поговорим о чем-нибудь еще. Что нового в К***?

— Вопрос этот не исчерпан, или, по крайней мере, надо еще кое о чем поговорить, прежде чем перейти к К***. Эта мисс Зенобия...

— Зораида, — поправил я.

— Хорошо, Зораида. Она в самом деле вышла за Пеле?

— Я вам это уже сказал, и если не верите — сходите поинтересуйтесь у *sigé* собора Св. Иакова.

— И сердце ваше разбито?

— Едва ли. Вроде бы с ним все в порядке — бьется себе, как обычно.

— Значит, душа у вас не такая тонкая, как мне казалось. Вы, похоже, грубый и черствый человек, если вынесли столь ужасное потрясение, даже не пошатнувшись.

— Не пошатнувшись? А с чего бы мне шататься под тем обстоятельством, что бельгийка-директриса вышла замуж за француза-директора? Потомство у них, надо полагать, явит собою странный гибрид — но меня это уже не касается.

— Кстати, Пеле изрядный шутник: ведь с невестой они давно уже были обручены.

— Кто это сказал?

— Браун.

— Вот что я скажу вам, Хансден: Браун — старый сплетник.

— Да, но тем не менее, если то, что он говорит, не вяжется с действительностью, если у вас нет и не было никакого интереса к мисс Зораиде, почему тогда — о юный педагог! — вы расстались со своей должностью сразу после того, как эта особа сделалась мадам Пеле?

— Потому... — Тут я почувствовал, как щеки у меня запылали. — Потому... короче, мистер Хансден, я отказываюсь отвечать как на этот, так и на все прочие вопросы. — И я поглубже сунул руки в карманы брюк.

Хансден посмотрел на меня торжествующе и рассмеялся.

— Над чем вы так веселитесь, Хансден?

— Над вашим образцовым самообладанием. Бог с вами, юноша, не стану вам более надоедать расспросами; я и так все вижу: Зораида вас пленила, а вышла за того, кто побогаче, — что сделала бы всякая здравомыслящая женщина, представься ей такая возможность.

Я не ответил, решив, что пусть он думает обо всем этом, как ему заблагорассудится, поскольку не испытывал никакого желания ни разьяснять Хансдену действительное положение вещей, ни поддерживать ложные его домыслы. Однако провести его было не так-то просто: само молчание, последовавшее вместо горячих уверений в том, что собеседник мой погрешил против истины, казалось, вселило в него сомнения.

— Я склонен думать, — продолжал он, — что дело это поначалу решалось так, как всегда подобные дела решаются разумными людьми: вы предложили ей свою молодость и таланты — уж какие есть — в обмен на ее положение и деньги; вряд ли вы брали в расчет наружность или то, что именуется «любовью», да это и понятно: она намного старше вас и, по словам Брауна, на вид скорее умна, нежели красива. Эта особа, тогда еще не имея возможности заключить более выгодную сделку, решила с вами договориться, но тут Пеле, глава процветающей школы, предложил ей цену значительно выше; она приняла выгодное предложение, и Пеле взял ее. Совершенно

правильная сделка — вполне разумная и законная. Ну, а теперь можно поговорить о чем-нибудь еще.

— Пожалуй, — ответил я, чувствуя двойную радость: оттого что удалось уйти от нежелательной темы и к тому же обмануть проницательность собеседника — хотя последнее едва ли удалось полностью, поскольку взгляд его был по-прежнему внимательным и пронзающим и мысли Хансдена явно еще вертелись вокруг прежней темы.

— Вы хотите новостей из К***? А какой, позвольте, интерес может у вас быть к К***? Друзей у вас там не осталось за отсутствием таковых. Никто и никогда о вас там не осведомлялся — ни мужчина, ни женщина, и, когда мне случалось в каком-нибудь кругу упомянуть ваше имя, мужчины на меня смотрели так, будто я заговорил Бог знает о ком, а женщины украдкой посмеивались. Похоже, наши К***ские красотки вас недолюбливали. Как это вам удалось навлечь на себя их немилость?

— Не знаю. Я редко с ними общался: для меня они ничего особенного не представляли. Я считал их чем-то таким, на что хорошо поглядеть издалека; их туалеты и лица часто бывали приятны моему взору, но речи и гримаски были всегда непонятны. Когда мне доводилось уловить обрывки какого-то их разговора, это мало что давало, а игра их губ и глаз в этом помочь не могла.

— Так это ваш недостаток, а не их. В К*** женщины столь же умны, сколь красивы; в разговоре они превзойдут любого мужчину, и мне всегда доставляет удовольствие с ними беседовать. Но вы начисто лишены приятности манер, да и вообще в вас нет ничего, чтобы женщина стала к вам приветливой. Я наблюдал, как вы сидите в комнате, где собралась какая-нибудь компания, — слушая, но не вступая в разговор, глядя, как развлекаются другие, но сам не принимая в этом участия; в начале вечеринки вы кажетесь робким и бесстрастным, в середине — каким-то сконфуженно-натянутым, а в конце — обиженным и уставшим. Как вы считаете, можно подобным поведением внушить симпатию или возбудить интерес? Нет, конечно; и если вы не пользуетесь успехом, так сами это заслужили.

— Довольно! — воскликнул я.

— Нет, не довольно; вы видите красоту только с изнанки, вы обижены и потому насмехаетесь. Воистину все самое желанное на

свете — богатство, всеобщее признание, любовь, наконец, — всегда будут для вас все равно что кисти спелейшего винограда на недостижимой высоте; вы будете глядеть на него, испытывая танталовы муки, — но вам негде раздобыть лестницу, чтобы его достать, и вы уйдете ни с чем, обозвав его кислятиной.

В иных обстоятельствах столь язвительные речи показались бы обидными, но тогда они ничего во мне не всколыхнули. С тех пор как я покинул К***, жизненный мой опыт стал богаче и разнообразнее! — но Хансен ведь не мог этого знать. Он помнил меня лишь клерком мистера Кримсворта — существом зависимым, с вызывающей одно презрение наружностью и замкнутым, мрачным характером, человеком, не решающимся требовать внимания к своей особе, в котором, скорее всего, будет отказано, или выказывать кому-то особое предпочтение, которое наверняка будет высмеяно как никому не нужное.

Хансен не мог знать, что все это время, день за днем, юность и красота были для меня основными объектами наблюдения, что я изучил их досконально и узрел под красивой вышивкой саму материю. И даже своим острейшим взглядом не мог он проникнуть в мое сердце, не мог разобраться в моих мыслях и прочитать в них мои симпатии и антипатии. Он не настолько хорошо меня знал, чтобы понять, как незначительно может отразиться на моих чувствах то, что для большинства представляется могущественным, и, напротив, с какой силой и неудержимостью они могут возрасти под неким, совсем иным воздействием.

Не мог он также и вообразить подлинную историю моих взаимоотношений с м-ль Рюте, и для него, как и для всех остальных, было тайной странное ее увлечение мною, только мне были известны ее всевозможные уловки и вкрадчивые речи — а между тем все это чрезвычайно изменило меня, показав, что и я способен произвести на женщину особого рода впечатление. Эта сладостная тайна, глубоко обосновавшаяся в моем сердце, вырвала жало у хансеновского сарказма, благодаря ей я вовсе не ощущал себя оскорбленным или озлобленным.

Но пока что я вовсе не собирался этого раскрывать и, ответив Хансену молчанием, решил остаться полностью им недооцененным. И действительно, Хансен вообразил, что был со мною излишне крут

и что я определенно раздавлен под тяжестью его нареканий; потому, дабы утешить, он пустился уверять меня в том, что когда-нибудь я несомненно оправлюсь от такого удара судьбы, что жизнь моя только начинается и что, поскольку я не совсем лишен рассудка, из каждого неверного шага я извлеку полезный урок.

Тут я немного повернулся к свету; последние минут десять занятое мною положение у окна мешало Хансдену разглядеть мое лицо, однако стоило мне повернуться, как он уловил игравшую у меня на губах улыбку.

— Черт возьми! С каким упрямым самодовольством взирает сей юнец! Я думал, он готов уж сгореть со стыда, а он, видите ли, весь сияет, будто хочет сказать: «А, гори все синим пламенем! у меня в кармане философский камень, а в шкафчике — эликсир жизни, так что Судьба и Фортуна мне абсолютно нипочем».

— Хансден, вы тут изволили говорить о винограде. Знаете, есть некое растение, что привлекает меня гораздо сильнее, чем ваш К***ский доморощенный виноград, — уникальное, растущее на свободе, которое я склонен считать своим открытием и плоды которого надеюсь однажды собрать и отведать. Напрасно вы запугиваете меня смертью от жажды и предлагаете глотнуть своего напитка. Я не выношу приторного, я надеюсь ощутить во рту свежесть и ради этого готов отказаться от вашей помощи и претерпевать мучения.

— И как долго?

— До следующей попытки; и наградой за успех будет дорогое моему сердцу сокровище. Так что бороться я буду с яростью быка.

— Ну, знаете ли, неудача раздавливает быков с такой легкостью, будто это переспелые ягоды; и я уверен, она вас яростно преследует. Народились вы не в шелковой сорочке, это точно.

— Охотно верю, но я рассчитываю, что и моя полотняная послужит не хуже, чем кое-кому шелковая, — это уж как носить.

Хансден поднялся.

— Понимаю, — сказал он. — Вы, я вижу, из тех, что лучше возрастают без присмотра и без помощи со стороны. Делайте, как знаете. Ну, я, пожалуй, пойду.

И он решительно двинулся к выходу, однако в дверях обернулся:

— Да, Кримсворт-Холл пошел с молотка.

— Пошел с молотка! — эхом отозвался я.

— Да, вы разве не знаете, что брат ваш месяца три назад прогорел?

— Что?! Эдвард Кримсворт?

— Именно. А жена его вернулась в отчий дом. Когда дела у Кримсворта пошли совсем скверно, характер его был с ними солидарен; Кримсворт стал дурно с ней обходиться. Я, помнится, вам говорил однажды, что когда-нибудь он по отношению к жене превратится в тирана. Ну, а что касается его самого...

— Да, что с ним случилось?

— Ничего сверхъестественного, не волнуйтесь так. Он отдался под защиту суда и, придя к компромиссу с кредиторами, частично погасил долги; за полтора месяца он снова встал на ноги, уговорил вернуться жену и теперь свеж и зелен, как лавровое деревце.

— А Кримсворт-Холл? Мебель тоже распродана?

— Не только мебель — все, начиная с рояля и кончая скалкой.

— И из дубовой столовой все продано?

— Разумеется. Почему диван да стулья в этой комнате должны считаться более неприкосновенными, нежели в любой другой?

— И картины?

— Какие картины? Насколько мне известно, у Кримсворта не было особой коллекции — он как-то не заявлял о себе как о знатоке-любителе.

— В столовой висели два портрета — у камина. Вы должны их помнить, мистер Хансен, вы однажды заговорили о портрете леди...

— А, помню! Особа благородных кровей с тонким лицом и в шали, накинутой как драпировка. Ясное дело, ее портрет продали вместе с прочими вещами. Будь вы богаты, то могли б его купить — вы, если не ошибаюсь, говорили, что на нем представлена ваша матушка. Вот видите, что значит иметь пустой карман. Да, этого я не мог не видеть.

«Но все ж таки, — подумал я, — не вечно же я буду прозябать в нищете. Может, настанет день, когда я смогу выкупить эти картины?»

— Кто приобрел этот портрет? Вы знаете? — нетерпеливо спросил я.

— Хорошенький вопрос! Я никогда и не пытался узнать, кто и что приобрел. Надо же! Вообразить, будто весь мир обеспокоен тем, что беспокоит его! Итак, всего хорошего. Завтра утром я отправляюсь в

Германию; вернусь через полтора месяца и, возможно, навещу вас опять — любопытно, вы все так же будете без работы? — Он рассмеялся с мефистофельской издевкой и злорадством. Так, со смехом, Хансен и удалился.

Есть люди, которые, как бы ни стали вам безразличны за долгое отсутствие, всегда ухитряются после встречи оставить по себе превосходнейшее впечатление. Хансен же не был из их числа; встретиться с ним было почти то же, что принять хины: горечи оставалось не меньше, только вот целебного воздействия не ощущалось.

Возмущенный дух всегда грозит бессонницей. После встречи с Хансеном я проворочался почти всю ночь; к утру я все же задремал, но не успела сия благословенная дремота перелиться в не менее благословенный сон, как я проснулся от шума в гостиной, к которой примыкала моя спальня. Я услышал шаги, мне даже показалось, будто передвинули что-то из мебели, — шум продолжался всего пару минут и утих одновременно с тем, как закрылась дверь.

Я прислушался. Было абсолютно тихо — так что было бы слышно, как мышка шевельнется. Может быть, приснилось? Или может, locataire угораздило ошибиться дверью? На часах не было еще пяти — и мне, и солнцу вставать еще не приспело; я повернулся в постели и мгновенно погрузился в сон.

Пробудившись пару часов спустя, я уже не помнил о том странном шуме, однако первое, что я увидел по выходе из спальни, живо вызвало его в памяти. Прямо у входной двери стоял на полу грубо сколоченный деревянный ящик, достаточно широкий, но высоты небольшой; вероятно, посыльный внес его в комнату, но, никого не обнаружив, так и оставил у входа.

«Едва ли это мне, — подумал я, подходя поближе. — Скорее всего, здесь какая-то ошибка».

И я нагнулся прочитать адрес:

«Уильяму Кримсворту, эсквайру,
№ ***, *** Ст., Брюссель».

Я был немало озадачен и, заключив, что лучший способ что-либо выяснить — заглянуть внутрь, быстро перерезал веревки и вскрыл

посылку.

Содержимое ящика было завернуто в зеленое сукно, аккуратно зашитое по краям; я подпорол перочинным ножичком шов, и, когда он чуть разошелся, через щелку блеснула позолота. Когда наконец доски и сукно были отброшены в сторону, в руках я держал большую картину в роскошной раме; прислонив ее к креслу так, чтобы она получше освещалась из окна, я отступил на несколько шагов и надел очки.

Небо на картине, затянутое тучами, грозное и мрачное, и деревья в отдалении, написанные в насыщенных темных тонах, делали особенно рельефным бледное и печальное женское лицо, оттененное мягкими темными волосами, почти сливающимися со столь же темными тучами фона. Глубокие, внимательные глаза смотрели на меня с задумчивостью и грустью; нежная щека покоилась на маленькой изящной ладони; шаль, уложенная искусной драпировкой на плечах, полуприкрывала тонкую фигуру.

Сторонний наблюдатель — окажись он в тот момент в моей комнате — услышал бы, как после добрых десяти минут безмолвного и пристального рассматривания картины я воскликнул: «Мама!». Вполне возможно, что сказал бы я и больше, однако первое слово, произнесенное довольно громко наедине с собой, мгновенно отрезвило меня, будто напомнив, что только помешанные беседуют сами с собой, — и тогда, вместо того чтобы проговорить свой монолог вслух, я изложил его мысленно.

Размышлял я довольно долго, все это время поглощенный мягкостью, чистотой и — увы! — несказанной грустью милых серых глаз матери, силой духа, запечатленной на ее челе, и удивительной тонкостью, чувствительностью, столь осязаемыми в строгом очертании рта.

Наконец оторвавшись от ее лица, я наткнулся взглядом на небольшой листок бумаги, вставленный в угол картины между рамой и холстом, и только теперь я спросил себя: «Кто ж прислал мне картину? Кто мог это сделать? Кто, вспомнив обо мне, спас ее из катастрофы Кримсворт-Холла и теперь передает законному владельцу?»

Я взял в руки листок и прочел следующее:

«Есть некая странная и глупая забава в том, чтобы преподнести ребенку сласти, дураку — бубенчики, а собаке — кость. За доброту свою ты вознагражден тем, что лицезришь, как ребенок перепачкивает себе конфетами всю физиономию, как дурак в радостном исступлении делается дурнее обычного, а добродушная псина обнаруживает свою собачью природу в неистовом терзании кости. Даруя Уильяму Кримсворту портрет его матери, я тем самым вручаю ему одновременно и сласти, и бубенчики, и кость. Огорчительно только, что не приведется мне наблюдать произведенного этим подарком эффекта, — я бы, пожалуй, добавил пять шиллингов к своей цене, если б на аукционе мне посулили такое удовольствие.

Х.Й.Х.

P.S. Минувшим вечером Вы решительно отказались хотя б на пункт удлинить свой счет. Не находите ли Вы, что я все ж таки устроил Вам сию неприятность?»

Я поскорее завернул картину в зеленое сукно, уложил в ящик и, отнеся в спальню, убрал с глаз долой под кровать. Вся радость моя была теперь отравлена язвительным посланием Хансдена, и я решил не доставать картину, по крайней мере, до тех пор, пока не смогу взирать на нее с достаточной безмятежностью. Если б вдруг Хансдену случилось явиться ко мне в ту минуту, я б сказал ему: «Я ничем вам не обязан, Хансден, — ни фартингом; своей ядовитой насмешкой вы себе сполна заплатили».

Слишком возбужденный и раздосадованный, чтобы долго пребывать в одиночестве и бездействии, я, наскоро позавтракав, отправился снова к г-ну Ванденгутену безо всякой надежды застать его дома (после первого моего визита не прошло недели), но рассчитывая хотя бы выяснить, когда ожидается его возвращение.

Однако все оказалось лучше, чем я мог предположить: оставив семейство в Остенде, г-н Ванденгутен на день приехал в Брюссель по делам. Он принял меня с искренней теплотой и доброжелательностью, хотя и не был человеком особенно открытым и душевным. Не просидел я и пяти минут с ним у бюро, как ощутил неизъяснимый комфорт, что крайне редко со мною случалось в общении с малознакомыми людьми. Состояние это весьма меня удивило,

поскольку сама цель визита — просить милости — чрезвычайно уязвляла мое самолюбие. Я не знал в точности, на чем держится это мое спокойствие, и опасался, что основание под ним может оказаться обманчивым. Впрочем, довольно скоро я убедился в его прочности и уяснил, в чем оно заключалось.

Г-н Ванденгутен был богат, всеми уважаем и влиятелен — я же беден, презираем и беспомощен. Мы выступали членами единого общества, но каждому из нас уготовано было в нем свое положение.

Голландец (а Ванденгутен был именно чистокровным голландцем, а не фламандцем), он казался во всем умерен и хладнокровен, обладал немалым добродушием и в то же время трезвым, расчетливым умом. Я же, англичанин, был более эмоционален, деятелен и скор как в замыслах, так и в реализации задуманного. Голландец этот был великодушен, англичанин же — чувствителен, короче говоря, характеры наши как нельзя более друг другу подходили, при этом мой ум, будучи подвижнее и импульсивнее, сразу же присвоил себе и без труда удерживал некоторое превосходство.

Вкратце обрисовав хозяину ситуацию, я заговорил о главной своей проблеме с такой неподдельной, глубокой откровенностью, которая единственно способна внушить абсолютное доверие. Ванденгутен явно был польщен тем, что к нему обратились подобным образом; он поблагодарил за предоставленную возможность хоть что-либо для меня сделать. Я объяснил, что нуждаюсь не столько в реальном содействии со стороны, сколько в том, чтобы суметь помочь самому себе, что от него я не желаю никаких активных действий, а лишь рекомендации и совета, куда мне обратиться.

Изложив все это, я поднялся, чтобы уйти. Ванденгутен на прощание протянул мне руку — жест гораздо более знаменательный у иностранцев, нежели у англичан. Улыбнувшись в ответ на приветливую улыбку, я подумал, что такая безграничная доброжелательность на его искреннем лице намного лучше, чем отпечаток ума на моем, и что соприкосновение с такой живой и чистой душой, как у Виктора Ванденгутена, для сердца моего утешительней бальзама.

Последовавшие за этой встречей две недели изобиловали всевозможными событиями и переменами; жизнь моя в то время более всего походила на осеннее ночное небо, в котором особенно часто

вспыхивают и быстро падают звезды. Надежды и опасения, ожидания и разочарования падали метеоритным дождем — мимолетно было каждое это явление и, едва возникнув, окутывалось мраком.

Г-н Ванденгутен помог мне на совесть; он направил меня в несколько мест и даже лично пытался обеспечить должностью, однако долгое время мои запросы и его рекомендации не приносили никакого результата — дверь захлопывалась у меня перед носом, едва я хотел войти, или же другой кандидат, опередив меня, делал мой визит совершенно напрасным.

Впрочем, я пребывал в таком лихорадочно-возбужденном состоянии духа, что разочарования эти не могли меня остановить; неудача быстро сменяла неудачу, но это лишь закаляло мою волю. Я изжил в себе всякую разборчивость и щепетильность, заглушил гордость; я спрашивал, я настаивал, я увещевал, я требовал с невообразимой назойливостью.

Жизнь наша такова, что благоприятные возможности будто собраны в заветный, недостигаемый круг, восседая в котором Фортуна милостиво раздает их по своему усмотрению. Моя настойчивость сделала мне известность; благодаря назойливости меня запомнили. Родители же бывших моих учеников, порасспросив детей, узнали, что я слышу человеком способным и искусным учителем, и не преминули сообщить другим сей отзыв. Слух этот, беспорядочно распространявшийся по городу, достиг наконец тех ушей, которых, по причине их исключительности, мог бы никогда не достигнуть, если б не Фортуна, — в самый критический момент, когда я безуспешно использовал последний шанс и уже не знал, что делать дальше, в одно прекрасное утро Фортуна заглянула ко мне в комнату, где я сидел понуро, в неизбывной тоске и безнадежности, подмигнула с фамильярностью старого знакомого — хотя, видит Бог, я никогда дотоле с нею не встречался — и кинула мне на колени свой подарок.

Ближе к середине октября 18** года я получил место преподавателя английского во всех классах *** Коллежа в Брюсселе с годовым жалованьем в три тысячи франков и, помимо того, уверение, что, пользуясь своим авторитетным положением и репутацией, смогу зарабатывать еще и частными уроками. В полученном мною уведомлении, где все это излагалось, было также упомянуто, что

благодаря убедительной рекомендации г-на Ванденгутена при выборе претендента весы склонились в мою пользу.

Сразу же по прочтении этой бумаги я поспешил к г-ну Ванденгутену, без слов положил ее перед ним на бюро, и, когда он прочел уведомление, схватил голландца за обе руки и стал благодарить с неистовой горячностью. Мои страстные слова и выразительнейшая жестикуляция вмиг сменили его голландскую невозмутимость на столь редкое для него воодушевление. Он сказал, что был безмерно счастлив оказать мне любезность, однако не сделал ничего заслуживающего столь бурных благодарностей, — дескать, не выложил он ни сантима, лишь нацарапал на бумаге несколько строк.

— Вы совершенно меня осчастливили, — заговорил я снова, — но сделали это именно так, как мне хотелось. Добрая ваша рука не ввергнула меня в тягостное осознание долга, и оказанная милость не заставит меня избегать вас. Позвольте мне с этого дня быть вашим добрым другом и не раз еще получить удовольствие от общения с вами.

— Ainsi soit-il, [\[142\]](#) — последовал его ответ, и лицо Ванденгутена озарилось сердечной и радостной улыбкой, сияние которой я, распрощавшись, унес в сердце.

ГЛАВА XXII

Когда я вернулся к себе, было уже два часа пополудни; обед мой, только что доставленный из соседней гостиницы, дымился на столе, и я сел, помышляя подкрепиться; однако, словно на тарелке вместо вареной говядины с фасолью были навалены глиняные черепки да осколки стекла, я не мог съесть ни куска: аппетит меня покинул напрочь.

Раздраженный видом пищи, к которой не мог и прикоснуться, я убрал ее в посудный шкаф и, снова сев, спросил себя: «Ну, и что ты будешь делать до вечера?» — поскольку до шести часов мне ни к чему было идти на Рю Нотр-Дам-о-Льеж, обитательницу которой (а мне она там, разумеется, представлялась единственной) задерживали где-то уроки.

С двух до шести я проходил по Брюсселю и по собственной комнате, за все это время ни разу даже не присев. Когда наконец пробило шесть, я находился в спальне, где, только что ополоснув лицо и нервно дрожащие руки, стоял у зеркала; щеки у меня были багровыми, глаза горели, хотя во всем остальном я казался, как обычно, спокоен.

Быстро сбежав по лестнице и оказавшись на улице, я с радостью отметил, что уже сгущаются сумерки; они тут же окутали меня благодатной тенью, и осенняя прохлада, наносимая порывистым ветром с северо-запада, действовала бодряще. Другим же прохожим, как я заметил, вечер казался холодным: женщины зябко кутались в теплые шали, мужчины застегивались на все пуговицы.

Бываем ли мы абсолютно счастливы? Пребывал ли я тогда на вершине счастья? Нет, неотступный, все возрастающий страх не давал мне покоя с той самой минуты, когда я получил наконец хорошие вести. Как там Фрэнсис? Вот уже два с лишним месяца, как мы не виделись, и полтора — с того дня, когда я получил от нее последнюю весточку. На то ее письмо я ответил короткой запиской в дружеском, но бесстрастном тоне, без малейшего намека на продолжение переписки или возможный визит.

Тогда мое суденышко зависло на самом гребне волны рока и я не знал, куда его выбросит безжалостный вал; я не мог тогда связать даже тончайшей нитью судьбу Фрэнсис со своей: я решил, что, если суждено мне разбиться о скалы или прочно сесть на мель, никакой другой корабль не разделит со мною несчастье.

Но ведь полтора месяца — время немалое, и положение мое изменилось. Только все ли у нее хорошо, как прежде? Разве мудрецы все не сошлись на том, что вершинам истинного счастья нет места на земле? Я едва осмеливался думать о том, что всего пол-улицы, возможно, отделяют меня от полной чаши блаженства, от той благословенной влаги, что, говорят, проливается только в раю.

Наконец я остановился у ее парадной двери; я вошел в тихий дом, поднялся по лестнице; в коридоре было пустынно, все двери были закрыты; я поискал глазами опрятный зеленый коврик — он лежал на своем месте.

«Это обнадеживает! — подумал я и подошел к двери. — Однако надо приуспокоиться. Нельзя врываться к ней и с ходу устраивать бурную сцену встречи».

И я замер у самой двери.

«Там абсолютно тихо. Она дома? Есть ли там хоть кто-нибудь?» — спрашивал я сам себя.

Словно в ответ послышался тихий шорох, будто просыпались мелкие угольки через решетку, затем в камине пошевелили, и кто-то заходил взад и вперед по комнате.

Я стоял как зачарованный, напряженно вслушиваясь в эти звуки, и еще более был заморожен, когда уловил тихий голос, голос человека, явно говорящего с самим собою, — так Одиночество могло бы говорить в пустыне или в стенах заброшенного дома.

Я различил слова старинной шотландской баллады. Вскоре, однако, баллада оборвалась, последовала пауза; затем было декламировано другое стихотворение, уже по-французски, совсем иного содержания и стиля. Написано было оно от первого лица; героиня весьма трогательно изображала развитие отношений своих с неким учителем, который, выделяя эту девушку из прочих учениц, обходился с ней неизменно требовательно и сурово; впрочем, вследствие этого она еще больше вдохновлялась на нелегкий ученический труд и, черпая новые силы в учительском слове или

взоре, преисполнялась к учителю самыми теплыми чувствами и безграничной благодарностью.

За соседней дверью послышался какой-то шум, и, чтобы меня не застегнули подслушивающим в коридоре, я поспешно постучал к Фрэнсис, вошел — и предстал прямо перед ней. Фрэнсис медленно ходила по комнате, и занятие это вмиг было прервано моим неожиданным вторжением.

С нею были лишь сумерки и мирное рыжеватое пламя; с этими своими союзниками, Светом и Тьмой, Фрэнсис и говорила стихами, когда я вошел. В первых строфах, в которых я узнал балладу Вальтера Скотта, звучала речь, далекая, чуждая ее сердцу, как эхо шотландских гор; во втором же словно говорила сама ее душа.

Фрэнсис казалась грустной, сосредоточенной на какой-то одной мысли; она устремила на меня взгляд, в котором не было и тени улыбки, — взгляд, только вернувшийся из мира отвлеченности, только расставшийся с грезами. Каким милым было ее простое платье, как аккуратно и гладко убраны темные волосы, как уютно и чисто было в ее маленькой тихой комнате!

Но к чему — с этим ее задумчивым взором, с надеждой только на собственные силы, со склонностью к размышлениям и творческому поэтическому подъему — к чему ей любовь? «Ни к чему, — словно отвечал ее печальный, мягкий взгляд. — Я должна взращивать в себе силу духа и дорожить поэзией: первая явится мне поддержкой, а вторая — утешением в этом мире. Нежные чувства человеческие не расцветают во мне, как не вспыхивают и человеческие страсти».

Подобные мысли посещают порою некоторых женщин. Фрэнсис, будь она и в самом деле так одинока, как ей это казалось, едва ли особенно отличалась бы от тысяч представительниц своего пола. Посмотрите на целую породу строгих и правильных старых дев — породу, многими презираемую; с самых молодых лет они пичкают себя правилами воздержанности и безропотной покорности судьбе. Многие из них буквально костенеют на столь строгой диете; постоянный контроль и подавление собственных мыслей и чувств со временем сводит на нет всю нежность и мягкость, заложенную в них природой, и умирают эти особы истинными образчиками аскетизма, словно сооруженными из костей, обтянутых пергаментом. Анатомы вам сообщат, что в иссохшем теле старой девы обнаружено было сердце —

точно такое же, как у любой жизнерадостной супруги или счастливой матери. Возможно ли сие? Сказать по правде, не знаю — но весьма склонен в этом усомниться.

Итак, я вошел, пожелал Фрэнсис «доброго вечера» и сел. Возможно, с того стула, который я себе выбрал, она только недавно поднялась — стоял он возле маленького столика, где лежали бумаги и раскрытая книга. Трудно сказать, узнала ли меня Фрэнсис в первый момент, во всяком случае, теперь-то уж узнала точно — поздоровалась она со мною мягко и почтительно.

Она не выказала ни малейшего удивления, я же был, как всегда, хладнокровен. Мы встретились так, как всегда встречались прежде — как учитель и ученица, не более того. Я принялся перебирать бумаги; Фрэнсис — внимательная и услужливая хозяйка — принесла из соседней комнатки свечи, зажгла и установила поближе ко мне; затем она задернула штору на окне и, добавив немного дров в камин, и без того яркий, подставила к столику второй стул и села справа от меня.

Первый листок в стопке содержал перевод некоего очень мрачного французского автора на английский, вторым был листок со стихами, за который я тут же и взялся. Фрэнсис чуть приподнялась, порываясь забрать у меня захваченную добычу и говоря, что ничего интересного там нет — так, мол, черновик стишков. Я оказал решительное сопротивление, перед которым, я был уверен, она отступит; однако вопреки ожиданиям пальцы ее цепко ухватились за листок, и я едва его не лишился. Но стоило мне только коснуться ее пальцев, как Фрэнсис отпустила листок и отдернула руку, моя же рука охотно последовала бы за ее, однако я сдержал этот порыв.

На первой страничке моего трофея были строки, которые мне довелось уже услышать из-за двери; продолжение являло собою не то, что почерпнул автор из собственной жизни, но что родилось в его воображении, отчасти навеянное пережитым. Стержнем этого стихотворения было глубокое нежное чувство, таящееся в самых недрах души как ученицы, так и учителя, тщательно скрываемое наружной холодной сдержанностью и строгостью манер и лишь изредка проявляющееся в отдельных знаках внимания, — чувство, что со всею силою заявило о себе только в момент расставания героев, когда ученица вот-вот должна была уплыть на корабле в другую страну и навсегда покинуть своего учителя.

Прочитав стихотворение, я принялся делать на полях незначительные карандашные пометки, думая тем временем совершенно о другом — о том, что героиня этой истории сидит сейчас рядом, не дитя-ученица, но девятнадцатилетняя девушка, что она может стать моей, как этого жаждет мое сердце, что теперь я избавился от проклятой Нищеты и что ни Зависть, ни Ревность не вторгаются в наше тихое свидание. Я чувствовал, что ледяной панцирь учителя уже готов растаять, хочу я этого или нет; нет больше надобности взирать сурово на ученицу и непрестанно хмурить брови, вызывая строгую морщинку над переносицей, — теперь можно позволить выплеснуться своим чувствам и искать, требовать, вымаливать ответных.

Размышляя таким образом, я пришел к выводу, что даже трава на Ермоне^{15} никогда не пила на заре более свежей и благодатной росы, чем то блаженство, каким упивался я в этот час.

Фрэнсис поднялась с некоторой обеспокоенностью и, пройдя передо мною, помешала в камине, который в этом вовсе не нуждался, затем стала переставлять разные маленькие безделушки на каминной полке — легкая, стройная и грациозная, в чуть колышавшемся и шелестящем всего в ярде от меня платье.

Случается, в нас возникают такие порывы, которые мы не в силах укротить, которые настигают, точно тигр в прыжке, и подчиняют нас себе. Не так уж часто подобные порывы бывают скверными, и Рассудок довольно скоро убеждается в благоразумности поступка, на который толкнул нас Порыв, и тем самым оправдывает собственную пассивность. Трудно передать, как это произошло, — я вовсе не намерен был этого делать, — но в следующий миг Фрэнсис уже сидела у меня на коленях: внезапно и решительно я усадил ее и теперь цепко удерживал.

— Monsieur! — воскликнула Фрэнсис и затихла, более ни слова не сорвалось с ее губ.

В первое мгновение она, казалось, была крайне поражена случившимся, однако очень быстро изумление это рассеялось; ни страха, ни негодования в ней не было: в сущности, она всего лишь сидела чуть ближе обычного к человеку, которого она бесконечно уважала и которому привыкла доверять; девственное смущение могло

бы побудить ее на борьбу, но чувство достоинства предотвратило бесполезное сопротивление.

— Фрэнсис, насколько хорошо вы ко мне относитесь? — спросил я.

Ответа не последовало: она оказалась в слишком необычной, удивительной для себя ситуации, чтобы что-либо мне сказать. Понимая это, я не торопил ее и выдерживал молчание, которое лишь подогревало во мне нетерпение. Потом я повторил вопрос, причем отнюдь не бесстрастным тоном; она взглянула на меня — не сомневаюсь, что лицо мое не являло собою образец хладнокровия, а глаза — зеркало абсолютного спокойствия.

— Ответьте мне, — потребовал я.

И очень тихо, быстро и без тени лукавства, она проговорила:

— Monsieur, vous me faites mal; de grâce lâchez un peu ma main droite.^[143]

И действительно, я вдруг обнаружил, что держу упомянутую «main droite» в безжалостных тисках. Я немедленно выполнил требование Фрэнсис и в третий раз спросил ее уже мягче:

— Фрэнсис, насколько хорошо вы ко мне относитесь?

— Mon maître, j'en ai beaucoup.^[144]

— Фрэнсис, настолько ли, чтобы доверить себя мне в жены? Чтобы принять меня как своего супруга?

Сердце во мне бешено колотилось. Я видел, как пурпурный свет любви разливается по ее щекам, лбу и шее, мне хотелось заглянуть в глаза Фрэнсис, но они скрылись под опущенными ресницами.

— Monsieur, — прозвучал наконец нежный ее голос. — Monsieur désire savoir si je consens... enfin, si je veux me marier avec lui?^[145]

— Совершенно верно.

— Monsieur sera-t-il aussi bon mari qu'il a été bon maître?^[146]

— Я постараюсь, Фрэнсис.

Она помолчала; потом с несколько иной интонацией, возбуждившей во мне радостный трепет, и с улыбкой à la fois fin et timide,^[147] что в совершенстве дополняла ее голос, Фрэнсис произнесла:

— C'est à dire, Monsieur sera toujours un peu entêté, exigeant, volontaire...^[148]

— Я разве был таким, Фрэнсис?

— Mais oui, vous le savez bien. ^[149]

— А было что-нибудь кроме этого?

— Mais oui, vous avez été Mon Meilleur Ami. ^[150]

— А вы, Фрэнсис, по отношению ко мне?

— Votre dévouée élève, qui vous aime de tout son cœur. ^[151]

— И ученица моя согласна пройти со мною рядом всю жизнь?

Отвечайте по-английски, Фрэнсис.

Несколько мгновений она думала, как ответить, и наконец медленно проговорила:

— При вас я всегда чувствовала себя счастливой. Мне приятно слышать ваш голос, видеть вас, находиться рядом; я уверена, вы очень хороший и самый лучший; я знаю, вы суровы к тем, кто ленив и легкомыслен, но неизменно добры к ученикам внимательным и трудолюбивым, даже если они и не блещут умом. Учитель, я буду очень рада всегда быть с вами. — И она сделала легкое движение, будто хотела прильнуть ко мне, но, сдержавшись, лишь добавила с большей пылкостью: — Учитель, я согласна пройти рядом с вами всю жизнь.

— Замечательно, Фрэнсис.

Я привлек ее к груди и запечатлел первый поцелуй на ее устах, скрепив таким образом наше соглашение. Потом и она и я сидели безмолвно — и безмолвие наше не было кратким. Не знаю, о чем думала в это время Фрэнсис, я и не пытался это угадать; я не изучал выражение ее лица и ничем другим не нарушал ее покоя. Я ощущал в себе счастье и умиротворенность и надеялся, что и она чувствует то же; я все так же придерживал ее рукой, но объятие это было мягким и нежным, поскольку никакого сопротивления уже ему не препятствовало. Я неотрывно глядел на рыжевато-красное пламя, и сердце мое, переполненное любовью, обнаруживало в себе все новые, неизмеримые глубины.

— Monsieur, — произнесла наконец еле слышно молчаливая моя подруга, которая, словно не веря своему счастью, замерла, как перепуганная мышка. Даже обратившись ко мне, она лишь чуточку приподняла голову.

— Да, Фрэнсис?

Мне нравилась такая немногословная беседа — я не из тех, кто пускает в ход бесчисленные любовные эпитеты и назойливые знаки

внимания.

— Monsieur est raisonnable, n'est-ce pas?^[152]

— Да, особенно когда об этом меня просят по-английски. Но почему ты спросила? По-моему, я веду себя ненавязчиво и без излишней горячности. Или я недостаточно спокоен?

— Ce n'est pas cela,^[153] — начала Фрэнсис.

— По-английски! — напомнил я.

— Хорошо; я хотела только сказать, что мне было бы желательно по-прежнему работать учительницей. Вы ведь не оставите преподавание, Monsieur?

— О, разумеется! Это единственный для меня источник доходов.

— Bon! Хорошо. Значит, у нас с вами будет одна профессия. Мне это нравится. И я буду стремиться к успеху с таким же необузданным рвением, как и вы.

— Ты б хотела быть от меня независимой?

— Да, Monsieur; как бы то ни было, я не хочу быть вам обузой.

— Но, Фрэнсис, я еще ничего тебе не рассказал о своих планах. Я ушел от Пеле и после месяца поисков получил другую должность с жалованьем в три тысячи франков в год, которое без труда могу удвоить за счет частных занятий. Так что, сама видишь, тебе совсем ни к чему изнурять себя уроками — на шесть тысяч франков мы с тобой можем неплохо прожить.

Есть нечто льстящее самолюбию мужчины, нечто приятно волнующее его гордость в том, чтобы стать для любимой женщины бережным хранителем и опекуном, чтобы кормить, и одевать ее, и обеспечивать всем, как Господь Бог — цветы долин. И, видя, что Фрэнсис обдумывает мною сказанное, я поспешил продолжить, чтобы направить ее решение в желательную сторону:

— Жизнь твоя была очень нелегкой и полной трудов, Фрэнсис, тебе необходим отдых. Твои тысяча двести франков — не Бог вещь какая прибавка к нашему доходу, а чтобы их заработать, надо стольким пожертвовать! Оставь свою работу; я буду счастлив устроить тебе отдых — позволь мне это сделать.

Не уверен, отнеслась ли с должным вниманием Фрэнсис к моим пылким увещаниям. Она только вздохнула и произнесла:

— Какой вы богатый, Monsieur! — и беспокойно шевельнулась у меня на коленях. — Три тысячи франков! Тогда как я получаю всего

тысячу двести. — Далее она заговорила быстрее: — Но это пока. Вы, Monsieur, кажется, изволили сказать, чтобы я отказалась от учительского места? О нет! Я буду крепко за него держаться. — И она с чувством сжала маленькими пальчиками мою руку. — Вы полагаете, что, выйдя за вас, я сделаюсь содержанкой? Я бы не смогла так жить; как скучны были б мои дни! Вы бы с утра до вечера занимались в классах, а я сидела бы дома одна и без дела; я бы сделалась угрюмой и подавленной и очень скоро бы вам надоела.

— Но, Фрэнсис, ты могла бы много читать, учиться — тебе ведь так это нравится.

— Нет, не могла бы; мне нравится созерцательная жизнь, но я предпочитаю активную. Я должна что-то делать — и делать вместе с вами. Мне кажется, Monsieur, что два человека, которые в обществе друг друга лишь отдыхают, не могут так по-настоящему любить, так высоко ценить друг друга, как те, кого соединяет еще и труд или сближают невзгоды.

— Да, ты совершенно права, — ответил я. — И у тебя будет собственный путь, ибо это путь достойный. Ну, а теперь — в награду за столь скорое согласие — поцелуй меня.

Немного поколебавшись, что вполне естественно для новичка в искусстве поцелуев, Фрэнсис очень робко и нежно коснулась губами моего лба. С скромный этот дар я принял как заем и расплатился немедленно, причем с немалой для себя выгодой.

Не знаю, действительно ли Фрэнсис так сильно изменилась наружностью с тех пор, как я впервые ее увидел; во всяком случае, в моих глазах она была теперь совсем иной — той печали в глазах, бледности на щеках, того угнетенного, безрадостного выражения лица как не бывало; я видел перед собою весьма привлекательное розовое личико с милой улыбкой и ямочкой на щеке.

Прежде меня не раз посещала ласкающая самолюбие мысль, что столь сильное мое чувство к Фрэнсис доказывает особую проницательность моей натуры и исключительную способность разбираться в людях: девушка эта не была красивой, богатой, не была даже достаточно образованной — и тем не менее виделась мне сокровищем.

В этот вечер я понял, что заблуждался: дело было вовсе не в моих якобы уникальных способностях раскрывать в ком-либо духовные

достоинства и ставить их выше внешнего очарования.

Для меня Фрэнсис была прекрасна и очаровательна во всех отношениях; в ней не было изъянов, к которым пришлось бы привыкать; ее глаза, зубки, кожа, изящные формы повергли бы в восторг любого ценителя женской красоты. Женщина может любить человека безобразной наружности, если только он неординарная, одаренная личность; однако, если бы Фрэнсис была *édentée*, *tyore*, *rugueuse*, *ou bossue*, ^[154] я мог бы быть к ней столь же добр, но никогда не воспылал бы страстью; я благосклонно относился к маленькой жалкой неудачнице Сильвии, но к ней во мне никогда не пробудилось бы любви.

По правде говоря, в первую очередь Фрэнсис заинтересовала меня своими внутренними качествами, и они по-прежнему укрепляли мое чувство к ней, однако утонченность ее наружности нравилась мне отнюдь не меньше. Я извлекал несказанное, чисто физическое удовольствие при виде ее карих ясных глаз, гладкой нежной кожи, ровных жемчужных зубов, великолепно сложенной тонкой фигуры, и в моем отношении к Фрэнсис это было едва ли малозначаще. А отсюда следовало, что я по природе человек чувственный, хотя в этом плане по-своему сдержан и разборчив.

...Пока я писал последние странички, читатель, я питал тебя исключительно нектаром с душистых цветов. Однако нельзя так долго пробавляться одной лишь приторной пищей. Попробуй теперь чуточку желчи — всего глоток для сравнения.

Домой в тот вечер я вернулся достаточно поздно и, напрочь забыв, что человеку свойственны столь прозаические потребности, как есть и пить, лег спать на голодный желудок. День выдался напряженным, а с восьми утра во рту у меня не было ни крошки; кроме того, в течение последних двух недель я не отдыхал толком ни душою ни телом, а весь вечер пребывал в лихорадке влюбленности — причем состояние это меня не покидало, а еще долго за полночь изгоняло прочь покой, в котором я так нуждался.

Наконец я все же задремал, но ненадолго; я открыл глаза — было еще совсем темно, и пробуждение мое было подобно пробуждению Иова: ^{16} «дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне»; я мог бы продолжить эту аналогию: хотя облика его не было пред глазами моими, «ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от

него»; «тихое веяние, — и я слышу голос», говорящий: «Мы умираем, не достигши мудрости».

Этот голос и ощущение потустороннего холода многие расценили бы как нечто сверхъестественное, но по своему состоянию я сразу распознал, что это было.

Человека всегда гнетет осознание своей смертности, и в тот час именно смертная моя природа лепетала во мне и сетовала на свою участь, и дребезжащие нервы порождали этот мнимый звук, и было это следствием того, что дух мой, неукротимо рванувшийся к вожаемой цели, истомил тело, и без того ослабшее.

Страх перед великою тьмою обрушился на меня; я чувствовал, что в комнате моей воцарилось то, что, случалось, наступало меня и прежде, но, как мне казалось, покинуло уже навсегда.

Я снова оказался во власти ипохондрии.

Когда-то, еще в детстве, я знал ее, она даже была моей гостьей; целый год я принимал ее у себя, хотя сама она оставалась для меня тайной; она проводила со мною ночи, неизменно присутствовала за столом, гуляла со мною по окрестностям, заводя в укромные, безлюдные места в лесах и горах, где мы усаживались рядом и где она могла набросить на меня свое мрачное тоскливое покрывало и тем самым скрыть от моего взора небо и солнце, травы и зеленые деревья; она полностью овладевала мною и держала, вцепившись костлявыми пальцами.

Каких только историй не рассказывала она мне в эти часы, каких песен не пела! Она расписывала мне загробную свою страну, снова и снова обещая скоро взять меня туда; подтягивая к самому краю берега черной реки, она указывала мне могильные насыпи на другом берегу с памятниками и табличками, встающие в тусклом полуночном свете. «Там кладбище! — шептала она, простирая руку в сторону освещенных бледным сиянием могил и прибавляла: — Там и для тебя готов уж дом».

Я был одиноким ребенком, не знавшим родительской ласки и радостного, живого общения с братом или сестрой, — потому нет ничего удивительного, что едва я вступил в пору ранней юности, колдунья эта отыскала меня, затерявшегося в смутных блужданиях духа, переполненного чувствами и не имеющего объекта, куда их направить, с горячими устремлениями и размытыми перспективами, с

сильными, яркими желаниями и тусклыми, слабыми надеждами, — и, подняв свой призрачный фонарь, она заманила меня в сводчатый свой дом, в обиталище страхов.

Неудивительно, что *тогда* заклинания ее имели силу, — но *теперь*, когда путь мой расширился, когда перспективы передо мною открылись и заблистали, когда чувствам было куда устремиться, когда желания мои, уставшие бороться с встречным ветром, сложившие уже крылья, приземлились вдруг на самую благоприятную для их осуществления полосу земли и обосновались там в тепле, довольстве и под опекой заботливой руки, — почему *теперь* подступила ко мне ипохондрия?

Я оттолкнул ее, как оттолкнул бы молодой супруг ужасного призрака своей любовницы, явившегося отравить любовь его к нареченной; однако ипохондрия преследовала меня не только всю ночь и весь следующий день, но еще восемь дней, — лишь тогда я постепенно воспрянул духом, ко мне вернулся аппетит, и в пару недель я окончательно оправился.

Все это время я ходил из угла в угол и никого не посвящал в свои переживания; как же обрадовался я, когда, избавившись от жестокой тирании своего демона, смог отправиться к Фрэнсис и снова быть с нею рядом.

ГЛАВА XXIII

В одно ясное, морозное ноябрьское воскресенье мы с Фрэнсис долго гуляли по городу; мы прошли по бульварам и, когда Фрэнсис пожаловалась на усталость, сели на одну из осененных деревьями скамей, расставленных вдоль дороги как благодатное пристанище для притомившихся путников. Фрэнсис оживленно рассказывала о Швейцарии, и я подумал уже, что глаза ее говорят не менее красноречиво, чем язык, как внезапно она прервала рассказ и заметила:

— Monsieur, этот джентльмен, вероятно, вас знает.

Я поднял глаза. Мимо нас проходили трое богато одетых мужчин, которые, судя по их виду, поступи, равно-как и чертам лица, были англичане; в самом высоком из этой троицы я сразу же признал м-ра Хансдена — он театральным жестом приподнял шляпу, приветствуя Фрэнсис, затем отпустил мне многозначительную гримасу и отправился дальше.

— Кто это? — удивилась Фрэнсис.

— С этим человеком я знаком был еще в Англии.

— А почему он мне так поклонился? Ведь он меня не знает.

— Ну, в некотором смысле знает.

— Откуда же, Monsieur? — Она по-прежнему называла меня «Monsieur», и мне никак не удавалось убедить ее пользоваться более мне приятным и ласковым наименованием.

— Ты не заметила, какой у него был взгляд?

— Его взгляд? Нет. И что он говорил?

— Тебе он сказал просто: «Как поживаете, Уильямина Кримсворт?», — а мне: «Итак, вы нашли наконец себе достойное дополнение — вот она, женская особь вашего типа!»

— Но вы не могли прочесть все это в его глазах: он так быстро прошел мимо.

— Положим, я прочел не только это, Фрэнсис. Я узнал, что он навестит меня сегодня вечером или при ближайшем удобном случае и, не сомневаюсь, будет требовать, чтобы я представил его тебе. Привести его?

— Как вам будет угодно, Monsieur, я не возражаю. Думаю, мне интересно будет узнать его получше: с виду он человек оригинальный.

Как я и предполагал, Хансден явился ко мне в тот же вечер, и первое, что он сказал, было:

— Можете не хвастаться, Monsieur le Professeur, я и так знаю, что вас пригласили в *** Коллеж, и все тому подобное — Браун мне всё сообщил.

Далее он сказал, что прибыл из Германии два дня назад, после чего несколько сурово спросил, не с мадам ли Пеле-Рюте видел он меня на бульваре. Я готов был с горячностью опровергнуть его предположение, однако, чуть поразмыслив, сдержался и, сделав вид, будто вовсе не намерен это отрицать, поинтересовался, какое впечатление она произвела на Хансдена.

— Что касается ее, то к тому я скоро вернусь, но для начала у меня найдется словечко и для вас. Я вижу, вы изрядный негодяй, если смеее так нагло разгуливать с чужой супругой! Я всегда считал, что в вас больше здравого смысла, чтобы оказаться замешанным в истории такого сорта.

— А как вам леди?

— Она определенно слишком хороша для вас; она в чем-то схожа с вами, но на ступень выше — не в смысле красоты, впрочем, — хотя, признаться, когда она поднялась со скамьи (а я оглянулся, когда вы двинулись в другую сторону), мне показалось, что фигура ее и осанка восхитительны. Эти иностранцы знают толк в грации. Но как обошлась она с Пеле! Всего ведь три месяца, как вышла за него — он, надо думать, деревянный!

Разговор в таком русле мне уже не нравился, и я решил вывести Хансдена из заблуждения.

— Пеле? Вы только и думаете, что о мсье и мадам Пеле! Только о них и говорите. Я молил бы всех святых, чтоб вы сами женились на мадемуазель Зораиде!

— Так эта молодая леди была не мадемуазель Зораида?

— Нет, и не мадам Зораида.

— Почему же вы солгали мне в таком случае?

— Я вам не лгал, это вы слишком поспешны в выводах. Она моя ученица, притом швейцарка.

— И вы, следует полагать, намерены на ней жениться? Не отпирайтесь.

— Жениться? Думаю, что да — если судьба будет щадить нас обоих еще пару месяцев. Это моя маленькая лесная земляника, Хансден, свежесть и аромат которой заставляют меня пренебречь вашим тепличным виноградом.

— Довольно! Не хвастайте, не выставляйтесь — я этого не выношу. Кто она? Из какой касты?

Я улыбнулся. Хансден невольно сделал особый акцент на слове «каста»; будучи фактически республиканцем и лордоненавистником, Хансден так чрезмерно гордился своей древней ***ширской кровью, своим происхождением и репутацией фамилии, достойной почтения и почитаемой всеми на протяжении уже многих поколений, как, вероятно, не гордился ни один пэр в королевстве своими нормандскими предками и титулом, дарованным при нормандском завоевании. Хансден мог так же помышлять о том, чтобы взять жену из низшего сословия, как лорд Стэнли^{17}. — породниться с Кобденами.^{18}

Я заранее смаковал его удивление, я упивался торжеством своей практики над его теорией; медленно, подавив в себе ликование, я выразительно изрек:

— Она — кружевница.

Хансден впился в меня взглядом. Он ни словом не выразил своего удивления — но удивлен он все же был немало, поскольку имел собственное убеждение касательно достойной партии. Вероятно, он решил, что я готов сделать весьма опрометчивый шаг, однако не стал меня урезонивать и лишь ответил:

— Ладно, вам виднее. В сущности, из кружевницы может получиться не менее славная жена, чем из леди, но, надеюсь, вы побеспокоились хорошенько выяснить, что, если уж у нее нет приличного воспитания, состояния и положения в обществе, она, по крайней мере, сполна наделена теми природными качествами, которые, на ваш взгляд, лучше всего обеспечат ваше счастье. Много у нее родственников?

— В Брюсселе ни одного.

— Это лучше. В подобных случаях родственники — истинное бедствие. Все же я не могу отделаться от мысли, что последствия этого

мезальянса будут висеть на вас проклятием до скончания века.

Немного помолчав, Хансден встал, собираясь откланяться. Та исключительная вежливость, с которой он протянул мне руку (чего никогда прежде он не делал), ясно показывала следующее: Хансден заключил, что я вконец лишился рассудка и потому, раз уж я так жестоко наказан Господом, с его стороны абсолютно неуместны цинизм или сарказм, а допустимы лишь доброта и снисходительность.

— Всего вам доброго, Уильям, — произнес он удивительно мягким голосом, тогда как на лице его изобразилось сострадание. — Всего доброго, молодой человек. Желаю вам и вашей избраннице величайшего благополучия и надеюсь, ей удастся удовлетворить вашу утонченную, привередливую натуру.

Большого труда стоило мне не рассмеяться при виде столь великодушно-сочувственной мины на его физиономии; напустив на себя вид отчаянного сожаления, я сказал:

— Я ожидал, что вы изъявите желание познакомиться с мадемуазель Анри.

— О, ее так зовут? Конечно, если это будет удобно, я пожелал бы ее увидеть, но... — Он заколебался.

— Что?

— Я никоим образом не хочу к ней вторгаться...

— Идемте, — решительно сказал я.

Мы вышли. В глазах Хансдена я, без сомнений, был несчастным сумасбродным влюбленным, который вознамерился показать ему свою невесту, жалкую рукодельницу, в ее жалком, скверно обставленном жилище где-то на чердаке; тем не менее он явно настроился держаться при встрече истинным джентльменом, и, справедливости ради надо заметить, под оболочкой его резкости имелось зерно такого рода.

Всю дорогу Хансден доброжелательно со мною беседовал — никогда еще он не был со мною так обходителен. Мы добрались до нужного дома, вошли, поднялись по ступеням; дойдя до лестничной площадки, Хансден направился было к узкой лесенке, ведущей наверх, — он и впрямь нацелился на чердачный этаж.

— Сюда, мистер Хансден, — сказал я негромко и постучал в дверь к Фрэнсис.

Хансден повернулся, слегка сконфуженный собственной оплошностью; он остановил взгляд на зеленом коврике, однако не

сказал ни слова.

Фрэнсис, сидевшая возле стола, поднялась нам навстречу; траурное одеяние делало ее похожей на затворницу, пожалуй, даже на монахиню, придавая изумительную неповторимость облику; скорбная простота платья подчеркивала не столько красоту Фрэнсис, сколько ее достоинство; единственно, что оживляло это тонкое шерстяное черное платье, — аккуратный белый воротничок и манжеты.

Фрэнсис приветствовала нас легким, но грациозно-степенным реверансом с видом женщины, предназначенной скорее для почитания, нежели для любви. Я отрекомендовал м-ра Хансдена, и Фрэнсис ответила по-французски, что чрезвычайно рада с ним познакомиться. Безупречное ее произношение, тихий и вместе с тем глубокий, чистый голос, казалось, мгновенно подействовали на Хансдена; ответил он ей также по-французски — я впервые слышал, как он изъясняется на этом языке, говорил же он на нем превосходно.

Я отошел к окну; м-р Хансен по приглашению хозяйки занял кресло у камина; со своего места я мог единым взором охватить всю комнату, включая их обоих. Комната, как всегда, сверкала чистотой и походила на маленькую изысканную гостиную; стоявшая в центре стола ваза с цветами и свежие розы в каждой фарфоровой вазочке на каминной полке придавали ей поистине праздничный вид.

Фрэнсис казалась очень серьезной, Хансен же отбросил обычную резкость манер; с исключительной любезностью они беседовали по-французски, и разговор их протекал довольно гладко, самые заурядные темы обсуждались с превеликой торжественностью, витиеватым слогом, и мне подумалось, что никогда в жизни я не встречал два таких воплощения благопристойности: Хансен, несколько стесненный иноязычной речью, вынужден был придавать законченность каждой фразе и тщательно взвешивать каждое слово, что исключало с его стороны всякую эксцентричность, обыкновенно свойственную ему при общении на родном языке.

Наконец разговор их коснулся Англии, и Фрэнсис принялась засыпать Хансдена вопросами. Оживившись, она начала меняться в лице, в точности как меняется мрачное ночное небо перед восходом: сначала показалось, будто лоб ее прояснился, затем заблестели глаза, лицо смягчилось, потеплело и сделалось подвижнее, на щеках заиграл

румянец — и, если прежде Фрэнсис имела вид всего лишь строгой леди, теперь она превратилась в веселую хорошенькую девушку.

У Фрэнсис имелось в запасе много вопросов к англичанину, недавно прибывшему из дорогой ее сердцу островной страны, и она осаждала ими Хансдена с таким любопытством и горячностью, которые очень быстро растопили его сдержанность, как жар от огня отогревает замерзшую гадюку. Сие не слишком лестное для него сравнение я употребил потому, что Хансден живо напомнил мне пробудившуюся после долгого оцепенения змею, когда он расправил плечи, поднял голову, ранее чуть склоненную, и, отбросив волосы с обширного саксонского лба, посмотрел на Фрэнсис с той откровенной, беспощадной насмешкой, что разожгли в нем нетерпеливый тон и пламенный взгляд собеседницы.

Теперь и Хансден и Фрэнсис сделались самими собою, и он не мог обратиться к ней иначе как на родном языке.

— Вы понимаете по-английски? — осведомился он для начала.

— Немного.

— Прекрасно; тогда вы услышите его в изобилии. Во-первых, в вас я нахожу не намного больше здравого рассудка, нежели кое в ком из моих знакомых, — тут он указал большим пальцем на меня, — иначе вы не стали бы так неистово терзать меня вопросами об этой грязной маленькой стране, именуемой «Англия»; именно безумную неистовость я нахожу в вас, англофобию вижу в ваших глазах, слышу в речах ваших. Как может, мадемуазель, человек хотя бы с крупицей рациональности преисполниться вдруг энтузиазма от одного лишь названия «Англия»? Еще пять минут назад вы представлялись мне некой аббатисой, и я отнесся к вам с соответствующим уважением; теперь же передо мной швейцарская фанатичка с ультраторийскими и ультраангликанскими понятиями.

— Англия — ваша родина? спросила Фрэнсис. — Да.

— И вы ее не любите?

— Я был бы жалок, если б любил ее! Маленькая, скверная, Богом проклятая нация, погрязшая в гадкой спеси и беспомощной нищете, прогнившая в своих пороках и, как червями, изъеденная предрассудками.

— Все это можно отнести почти к любой стране, везде есть пороки и предрассудки, и, думаю, в Англии их все же меньше, чем в

других странах.

— А вы поезжайте в Англию да убедитесь своими глазами. Съездите в Бирмингем да в Манчестер, побывайте в Лондоне — в квартале Сент-Джайлз — вы получите наглядное представление о нашем устройстве. Рассмотрите получше поступь нашей величественной аристократии — увидите, как шествует она по крови, мимоходом раздавливая сердца. Да загляните потом в лачуги английских бедняков, полюбуйтесь, как Голод застыл, припав к холодным черным камням очага, как Болезнь лежит на незастеленной постели, как Порок распутничает с Бедностью, хотя в действительности предпочитает как любовницу Роскошь и герцогский дворец ему более по вкусу, нежели убогая лачуга с соломенной крышей...

— Я думала не о пороках и нищете, существующих в Англии, я думала о том, что есть там лучшего — что называется национальным духом и характером, что взращивалось и передавалось из поколения в поколение.

— Нет там этого «лучшего» — по крайней мере, того, о чем вы были бы способны судить; у вас ограниченное образование и слишком низкое положение, потому вы совершенно не способны оценить ни успехов промышленности, ни прогресса в науках; что же касается Англии в историко-поэтическом свете — я не обижу вас, мадемуазель, если посмею предположить, что вы опирались на подобный сентиментальный вздор?

— Отчасти да.

Хансден рассмеялся с нескрываемой ядовитой издевкой.

— Да, это так, мистер Хансден. А вы из тех, что совершенно безразличны к подобному сентиментальному вздору, как вы изволили это назвать?

— Мадемуазель, что такое это ваше «сентиментальное» и вообще «чувство»? Мне не приводилось его видеть. Каковы его длина, ширина, вес, стоимость — да, особенно стоимость? Какую цену дадут ему на рынке?

— Ваш портрет для того, кто вас любил, хранимый из сентиментальности, будет бесценен.

Загадочный, непроницаемый Хансден, услышав это, вмиг покраснел, что было ему несвойственно, — Фрэнсис определенно

кольнула его в болезненную точку. Нечто мрачное и тревожное возникло перед его мысленным взором, и, не сомневаясь, в ту непродолжительную паузу, что последовала за столь удачным выпадом противника, Хансден возжелал, чтобы кто-нибудь любил его так, как жаждал он быть любимым, — кто-нибудь, на чью любовь он мог бы открыто ответить.

Противница его воспользовалась внезапно обретенным перевесом сил:

— Если ваш мир — мир без сентиментального и без чувства, мистер Хансден, я более не удивляюсь, что вы так ненавидите Англию. Не знаю в точности, каков из себя Рай и ангелы в нем, но восхитительнее края я не могу вообразить, и ангелы для меня — самые совершенные создания; так вот, если б один из них — Абдиил, «верный себе» (она вспомнила Мильтона), — вдруг лишился бы своих идеалов, я думаю, он очень скоро выбросился бы из Небесных Врат, покинул горние выси и устремился бы к преисподней — да, к той самой преисподней, от которой он «с презрением отворотил хребет».

Говорила Фрэнсис с удивительно сочной интонацией; слово же «преисподняя» она произнесла со столь потрясающей экспрессией, что Хансден даже посмотрел на нее с восхищением. Он ценил силу — и в мужчинах, и в женщинах; ему нравилось, когда кто-то находил в себе смелость перешагнуть общепринятые рамки. Едва ли когда-нибудь случалось ему услышать из женских уст произнесенное с такой силой, с такой категоричностью слово «преисподняя», и звук этот явно был приятен его слуху; Хансден был бы рад услышать снова, как она ударит по тем же струнам, — однако это было уже не в характере Фрэнсис.

Проявление этой странной внутренней силы никогда не доставляло ей радости; крайне редко, под действием каких-то чрезвычайных, чаще всего гнетущих, обстоятельств сила эта поднималась с глубин, где тихо тлела втайне от всех, и, даже разгоревшись, только вспыхивала ярким румянцем на щеках и проникала в голос. Порою, когда мы с Фрэнсис разговаривали наедине, она высказывала очень смелые суждения так же резко и горячо — но стоило этой силе всплеснуть, как она исчезала, и я уже не мог вызвать ее снова, — являлась она сама по себе и так же независимо скрывалась.

Фрэнсис спокойно улыбнулась Хансдену и перевела разговор в прежнее русло:

— Если Англия и в самом деле такая ничтожная страна — почему тогда на континенте она пользуется таким уважением?

— Я как-то склонен был считать, что это и ребенку ясно, — отозвался Хансден, который редко отказывал себе в удовольствии намекнуть на низший ум тому, кто начинал с ним спорить. — Если б вы были моей ученицей — хотя, мне кажется, вы имеете несчастье обладать таким скверным характером, какого не встретишь на сотню миль вокруг, — я б за ваше невежество поставил вас в угол. Неужели вы не понимаете, мадемуазель, что именно на *золото* наше покупаются французская любезность, немецкое расположение и швейцарское раболепие? — И он злобно усмехнулся.

— Швейцарское раболепие?! — вскричала Фрэнсис, глубоко задетая последними словами Хансдена. — Вы смее называть моих соотечественников раболепствующими? — Она с вызовом встала; в глазах ее бушевала ярость. — Вы при мне оскорбляете Швейцарию, мистер Хансден? Вы думаете, у меня нет высоких чувств и ценностей? Уж не считаете ли вы, что я могу жить, видя только пороки, серость и деградацию, что в избытке можно обнаружить в альпийских деревнях, и выкинув из сердца и из памяти величие нашего народа, нашу кровь добытую свободу или великолепие наших гор? Вы заблуждаетесь, весьма заблуждаетесь.

— Величие вашего народа? Называйте так, если вам угодно; ваши соотечественники — смышленные ребята: они сумели превратить в товар то, что для вас всего лишь абстрактные понятия; они недолго думая продали свое «величие» вкупе с «кровью добытой свободой», чтобы служить иностранным коронам.

— Вы были хоть раз в Швейцарии?

— Был, причем дважды.

— Вы совсем ее не знаете.

— Знаю.

— И при этом говорите, что швейцарцы торгоши, в точности как попугай твердит: «Попка дурак», или как бельгийцы здесь говорят, что англичанам недостает смелости, или как французы обвиняют их в вероломстве. В ваших словах нет ни капли справедливости.

— В них есть правда.

— Должна сказать вам, мистер Хансен, что вы в большей степени безрассудны, чем я; у вас искаженные понятия о том, что существует в действительности; вы отвергаете личный патриотизм и национальное величие, как атеист — Бога и существование собственной души.

— Куда это вас унесло? Вы отклонились от темы: мы, кажется, говорили о торгашеской природе швейцарцев.

— Да, и если б вы даже доказали мне это — чего вы не в силах сделать, — я не перестала бы любить Швейцарию.

— Значит, вы сумасшедшая, воистину сумасшедшая, если так фанатично любите миллионы торговых судов, нагруженных землей, лесом, снегом и льдом.

— Не такая сумасшедшая, как вы, который не любит ничего.

— В моем помешательстве есть какая-то система — в вашем же ее нет.

— Ваша система — это выжимать все лучшее из мироздания, а переработанные отходы мнить разумным и правильным.

— Вы не умеете доказывать свою мысль, — сказал Хансен. — У вас нет логики.

— Лучше быть без логики, чем без чувств, — парировала Фрэнсис, которая тем временем сновала между посудным шкафом и столом, занятая если не слишком гостеприимными мыслями, то, по крайней мере, гостеприимным делом: расстелив скатерть, она расставляла тарелки и раскладывала ножи с вилками.

— Это, вероятно, в мой адрес, мадемуазель? Вы полагаете, я бесчувствен?

— Я полагаю, вы в разладе с собственными чувствами, равно как и с чувствами других людей, и, рассуждая об иррациональности чувств, требуете подавить их, поскольку, по-вашему, они будто бы идут вразрез с логикой.

— И правильно делаю.

В этот момент Фрэнсис скрылась в маленькой кладовой; вскоре она появилась.

— Правильно делаете? Вот уж нет! И очень ошибаетесь, если так думаете. А теперь будьте добры пропустить меня к огню, мистер Хансен, мне нужно кое-что приготовить. — Она установила на огонь кастрюлю, затем, помешивая в ней, продолжала: — Правильно

делаете? Как будто было бы правильно подавить любое чувство, дарованное человеку Богом, особенно такое, что, как патриотизм, выносит человека за границы его эгоизма. — Она пошевелила дрова и подставила поближе к очагу блюдо.

— Вы родились в Швейцарии?

— Да, иначе с чего бы я стала называть ее своей родиной.

— А откуда у вас английские черты лица и сложение?

— Я наполовину англичанка: в моих жилах течет и английская кровь; так что я имею полное право удвоить свою силу патриотизма, будучи связана с двумя прекрасными, свободными и процветающими странами.

— Из Англии у вас матушка?

— Совершенно верно, а ваша матушка, надо полагать, с Луны или из Утопии, поскольку ни одна европейская нация вам не близка.

— Напротив, я мировой патриот — если вы способны понять меня правильно, моя страна — весь мир.

— Когда любовь распространяется столь широко, она не может быть глубокой. Не угодно ли вам пройти к столу? Monsieur, — это уже предназначалось мне, — прошу вас к ужину.

Сказано это было совсем не тем голосом, каким она разговаривала с Хансденом, — гораздо тише, ласковей и мягче.

— Фрэнсис, зачем ты беспокоилась об ужине? Мы не собирались здесь долго задерживаться.

— Ах, Monsieur, но вы ведь задержались, а ужин уже готов — так что вам ничего другого не остается, как только им заняться.

Ужин состоял из двух небольших, но вкусных иностранных блюд, искусно приготовленных и красиво разложенных, а также салата и *fromage français*.^[155]

Скромная трапеза обеспечила временное перемирие между воюющими сторонами, но едва закончился ужин, они снова оказались в состоянии войны. Свежим предметом словесной битвы явилась религиозная нетерпимость: Хансден утверждал, что в Швейцарии она чрезвычайно сильна, хотя швейцарцы и заявляют о своем свободолюбии. На сей раз Фрэнсис потерпела поражение, причем не столько потому, что не владела искусством спора, — просто по этому вопросу Фрэнсис почти полностью сходилась во взглядах с Хансденом, и если возражала ему, то лишь доигрывая роль

противника. В конце концов она капитулировала, сознавшись, что разделяет его мнение, однако вовсе не считает себя побежденной.

— Да и французы не считали себя побежденными при Ватерлоо.

— Это сравнение неуместно, — возразила Фрэнсис. — Моя борьба была притворной.

— Притворной или настоящей — вы все равно проиграли.

— Нет; хотя я не владею ни логикой, ни силой доказательства — если мое мнение действительно разнится с вашим, я буду твердо его придерживаться, даже не имея ни слова в его защиту; вы отступите перед моей безгласной решимостью. Вы тут упомянули Ватерлоо; ваш Веллингтон^[19] должен был быть разбит Наполеоном, но он упорно бился, невзирая на весь ход войны, и одержал победу вопреки принятой военной тактике. И я последую его примеру.

— Буду к этому готов; похоже, в вас действительно есть подобное упрямство.

— Было бы весьма прискорбно, если б я им не обладала. Веллингтон во многом схож с Теллем, и я, пожалуй, презирала бы швейцарца (или швейцарку), в характере которого не было бы ничего от нашего легендарного Вильгельма.

— Ну, если Телль был как наш Веллингтон, то он был просто осел.

— По-французски это «baudet»? — повернулась ко мне Фрэнсис.

— Нет-нет, — поспешно ответил я, — это значит «esprit-fort».^[156] Ну, а теперь, — продолжал я, видя, что между ними вот-вот разразится новая битва, — нам пора откланяться.

Хансен встал.

— До свидания, — сказал он Фрэнсис. — завтра я отбываю в вашу замечательную Англию и, скорее всего, появлюсь в Брюсселе не раньше чем через год; однако, когда бы я ни приехал, я непременно вас разыщу и уж тогда найду способ разъярить пуще дракона. Сегодня вы держались неплохо, но при следующей встрече вы открыто бросите мне вызов. К тому времени, подозреваю, вы станете уже миссис Кримсворт. Несчастливая юная леди! Впрочем, в вас есть искра духа — сберегите ее и осчастливьте ею своего драгоценного учителя.

— Вы женаты, мистер Хансен? — спросила вдруг Фрэнсис.

— Нет. Разве вы не смогли это угадать по моему бенедиктинскому виду?

— Если вы все-таки решите жениться, мой совет — не берите жену из Швейцарии. Ведь если вы приметесь поносить Гельвецию^{20} и дурно отзываться об ее кантонах да кроме всего прочего употребите слово «осел» рядом с именем Телля (а я знаю, что «baudet» значит именно «осел», хотя мсье учителю угодно было перевести его как «esprit-fort»), — ваша избранница-горянка однажды ночью задушит своего британца, как ваш шекспировский Отелло — Дездемону.

— Итак, я предупрежден, — сказал Хансен, — и вы также, молодой человек, — кивнул он мне. — Надеюсь еще лицезреть пародию на слезливую историю Мавра и его прекрасной леди, где роли будут представлены согласно только что набросанному плану; кстати, мой ночной колпак при этом будет на вас. Прощайте, мадемуазель! — Он склонился к ее руке, точно сэр Чарлз Грандисон к ручке Харриет Байрон,^{21} и добавил: — Смерть от таких пальчиков не лишена будет очарования.

— Mon Dieu! — воскликнула Фрэнсис, вскинув свои изящно выгнутые брови и широко раскрыв глаза. — C'est qu'il fait des compliments! Je ne m'y suis pas attendue!^[157] — Она улыбнулась в ответ с шутливой сердитостью, грациозно присела в реверансе, и на этом они простились.

Не успели мы выйти на улицу, как Хансен схватил меня за ворот.

— И это ваша кружевница? — грозно спросил он. — И по-вашему, вы сделали нечто замечательное и благородное, предложив ей руку и сердце? Как же! потомок Сикомба на деле доказал свое презрение к социальным различиям, решив жениться на ouvrière.^[158] А я еще жалел этого юнца, щадил его, думая, что от любви он совсем свихнулся, если сам себя наказывает такой партией.

— Сейчас же отпустите мой воротник, Хансен.

Не тут-то было — он вцепился еще крепче и затряс меня из стороны в сторону; тогда я обхватил его за пояс, мы начали бороться, благо улица была темной и пустынной, и скоро покатались вдвоем по тротуару. Через некоторое время мы с немалым трудом поднялись наконец на ноги и договорились вести себя более уравновешенно.

— Да, это моя кружевница, — вернулся я к разговору, — и — Божией волею — будет моею всю жизнь.

— Откуда вам известна Божия воля! Сколько в вас глупого самодовольства и спеси! Подумать только! Эта особа держится с вами

так почтительно, называет вас «Monsieur» и, обращаясь к вам, так меняет тон, будто вы существо превосходящее! Да и едва ли она с большим уважением могла бы относиться к кому-нибудь другому — ко мне, например, — если б фортуна была к ней благосклоннее и на эту леди пал мой выбор, а не ваш.

— Хансен, вас раздражает мой успех. Между тем вы видели лишь титульный лист моего счастья; вы не знаете, какую историю он открывает собою, и не можете почувствовать, сколь интересным, необычайным и волнующим будет это повествование.

Низким, приглушенным голосом — поскольку мы вышли на людную улицу — Хансен изъявил желание пойти со мной на мировую, пригрозив при этом сделать нечто ужасное, если я не перестану разъярять его своим хвастовством. На это я ему ответил взрывом смеха.

Довольно скоро мы добрались до гостиницы, и, прежде чем распрощаться, Хансен сказал:

— Передо мною вам нечем хвалиться. Ваша кружевница слишком хороша для вас — но недостаточно хороша для меня; ни в физическом, ни в духовном отношении она не соответствует моему идеалу женщины. Нет, я мечтаю о чем-то большем, нежели бледнолицая, вспыльчивая маленькая швейцарка (кстати, своей какой-то парижской живостью, нервозностью она весьма проигрывает перед здоровой, крепкой немецкой Jungfrau^[159]). Ваша мадемуазель Анри с наружностью chétive^[160] и умом sans caractère^[161] просто несравнима с царицей моей мечты. Вы, впрочем, можете удовольствоваться этой minois chiffonné,^[162] но я, чтобы жениться, должен видеть перед собой черты более яркие и правильные, не говоря уж о более благородной и богаче оформленной фигуре, чем та, которой может похвалиться эта упрямая девчонка.

— Подкупите серафима, чтобы доставил вам с неба животворный огонь, — сказал я, — да с ним на пару возожгите жизнь в самой высокой, крупной и полнокровной из рубенсовских женщин. Оставьте мне только мою альпийскую перу, и я не стану вам завидовать.

Мы одновременно развернулись друг к другу спиной; ни один не произнес: «Благослови вас Господь», хотя и знал, что уже на следующий день нас разделит огромное пространство.

ГЛАВА XXIV

Через два с небольшим месяца траур по тетушке Фрэнсис закончился. Одним январским утром, в самом начале нового года, я нанял фиакр и в сопровождении одного лишь г-на Ванденгутена отправился на Рю Нотр-Дам-о-Льеж; поднявшись по лестнице, я предстал перед Фрэнсис, которая уже ожидала меня в наряде, едва ли соответствующем тому ясному морозному дню.

Прежде я видел ее лишь в одеждах мрачных тонов — теперь же она стояла у окна, облаченная в белое пышное платье из тончайшей материи; конечно, наряд был незамысловат, однако выглядел эффектно и празднично в своей удивительной чистоте и воздушности; фата, ниспадавшая почти до пола, прикреплялась миниатюрным веночком из нежно-розовых цветов к тугой, уложенной по-гречески косе и словно струилась по обе стороны от лица.

Оказавшаяся в новом для нее положении невесты, Фрэнсис, казалось, только что плакала. Когда я спросил, готова ли она к выходу, Фрэнсис ответила с едва сдерживаемым рыданием: «Да, Monsieur», и, когда я взял лежавшую на столе шаль и обернул в нее Фрэнсис, по щекам ее одна за другой покатались слезы и вся она задрожала, как тростинка на ветру.

Я сказал, что очень расстроен, видя ее в таком упавшем настроении, и потребовал позволения устранить источник этого. Фрэнсис ответила лишь: «Этому не помочь», затем, поспешно вложив свою маленькую ручку в мою, она вышла со мною из комнаты и спустилась по лестнице так быстро и решительно, как человек, которому не терпится разделаться поскорее с каким-то очень важным делом.

Я посадил Фрэнсис в фиакр, г-н Ванденгутен ей помог подняться и устроил рядом с собой; так, втроем, мы покатали к протестантской церкви, откуда после соответствующей церемонии вышли мужем и женой, и только тогда г-н Ванденгутен отпустил от себя новобрачную.

Свадебного путешествия мы не предприняли; наше скромное, тихое, скрытое от всех и радующее своей уединенностью положение не требовало подобной предосторожности. Мы прямоком отправились

в маленький домик, нанятый в предместье, ближайшем к той части города, где мы оба работали.

Спустя три-четыре часа после венчания Фрэнсис, сменившая белоснежный наряд на миленькое сиреневое платье, более теплое, украшенное белым кружевным воротничком и лиловой лентой, в черном шелковом фартучке стояла на коленях перед шкафчиком в аккуратно и со вкусом обустроенной, хотя и не слишком просторной гостиной, расставляя по полкам книги, которые я подавал ей со стола.

Во второй половине дня погода испортилась, было холодно и ветрено, по свинцовому небу ползли унылые тучи, шел сильный снег, и к тому часу его напало уже по щиколотку. У нас же ярко пылал камин, новое наше жилище было чистым и радостным, мебель уже стояла по местам, и осталось разобрать лишь кое-какие мелочи вроде фарфора, посуды, книг и прочего, чем и занималась Фрэнсис, пока не подошло время чаепития. И после того как я объяснил и показал ей, как приготавливать чай по-английски, и Фрэнсис оправилась от ужаса, вызванного столь невиданным количеством положенного в чайник главного ингредиента, она устроила мне настоящее английское пиршество, за которым не было недостатка ни в свечах, ни в огне, ни в комфорте.

Пролетели праздники, и каждый из нас вновь приступил к работе, памятуя о том, что хлеб нам суждено зарабатывать тяжелым трудом, и не жалуясь на усталость. Дни наши были предельно загружены; утром мы прощались, как правило, в восемь часов и не виделись до пяти пополудни, — но каким благословенным отдыхом заканчивался для нас каждый суматошный день! Проглядывая вереницу воспоминаний, я вижу наши вечера в маленькой гостиной, которые представляются мне ниткой рубинов вокруг сумрачного чела прошлого. Схожи были эти камни своею огранкой и все как один были искристыми и яркими.

Минуло полтора года. Однажды утром (был какой-то праздник, и мы хотели посвятить друг другу весь день) Фрэнсис сказала мне с той особой интонацией, которая показывала, что моя супруга долго о чем-то размышляла и, придя наконец к некоему решению, собиралась проверить его правильность пробным камнем моего мнения:

— Я недостаточно работаю.

— А что такое? — спросил я, подняв глаза от кофе, который неторопливо помешивал, предвкушая, как в этот чудный летний день

(а был тогда июнь) мы с Фрэнсис отправимся подальше за город и, прогуляв до обеда, подкрепимся в каком-нибудь сельском домике. — Что такое? — спросил я и тут же понял по разгоревшемуся ее лицу, что у Фрэнсис родился какой-то жизненно важный прожект.

— Я не удовлетворена собой, — ответила она. — Вы теперь зарабатываете восемь тысяч франков, — это была суцая правда: благодаря моему трудолюбию, пунктуальности, а также широкой молве об успехах учеников и моему положению в *** Коллеже я действительно добился таких доходов, — тогда как у меня все те же ничтожные тысяча двести франков. Я могу лучше работать и хочу этого.

— По времени ты работаешь столько же, сколько и я, притом с не меньшим тцанием.

— Да, Monsieur, но я неправильно это делаю и убеждена в этом.

— Ты жаждешь перемен. Я вижу, в твоей головке созрел план дальнейшего продвижения вверх. Иди надень шляпку, и пока будем гулять, ты мне о нем поведаешь.

— Хорошо, Monsieur.

Она удалилась — послушно, как изумительно воспитанный ребенок; она действительно являла собою весьма любопытную смесь сговорчивости и упрямства.

Некоторое время я сидел, размышляя о ней и теряясь в догадках относительно ее плана; наконец Фрэнсис появилась.

— Monsieur, я решила отпустить Минни (нашу горничную), по случаю такой замечательной погоды, так что будьте столь добры, запиrite сами дверь и ключ возьмите с собой.

— Поцелуйте меня, миссис Кримсворт, — ответил я без всякой связи с ее словами, но она была так очаровательна в легком летнем платье и маленькой соломенной шляпке, и говорила она, как всегда, столь непринужденно и вместе с тем почтительно, что сердце мое заколотилось при ее появлении и поцелуй был просто необходим.

— Извольте, Monsieur.

— Почему ты всегда меня так называешь? Говори «Уильям».

— Мне затруднительно произносить ваше имя, к тому же «Monsieur» вам очень подходит и больше мне нравится.

Минни, надев чистый, свежий чепец и нарядную шаль, ушла; мы тоже отправились, оставив дом в одиночестве и тишине, нарушаемой

лишь тиканьем часов.

Довольно скоро Брюссель остался далеко позади; мы оказались среди лугов и полей с узкими дорогами, вдали от наводненных повозками и экипажами мостовых. Мы добрались до глухого местечка, по-настоящему деревенского, такого зеленого и уединенного, что казалось, расположено оно в какой-нибудь пастушеской английской провинции; небольшой бугорок под боярышником, поросший мягкой, как мох, травой, предложил нам пристанище слишком соблазнительное, чтобы пройти мимо, и когда мы вволю налюбовались чудными полевыми цветами, также напомнившими мне об Англии, то обратились к затронутому за завтраком вопросу.

Итак, что же она замыслила? Ничего сверхъестественного. План Фрэнсис заключался в том, что нам — или, по крайней мере, ей — предстояло подняться еще на ступень в профессиональной сфере. Фрэнсис предложила открыть свою школу. Мы успели уже скопить некоторые средства для небольшого начинания, не особо стесняя себя в расходах. Также к тому времени у нас появились и связи, достаточно обширные и полезные для нового дела (хотя круг знакомых, бывавших в нашем доме, был по-прежнему весьма ограниченным), — нас хорошо знали как толковых учителей во многих семьях и школах. Излагая свои замыслы, Фрэнсис вкратце обрисовала и свои виды на будущее. Если не подведет здоровье и не покинет удача, говорила она, мы со временем смогли бы добиться абсолютной независимости и благополучия, причем, может статься, задолго до того, как состаримся; тогда мы будем отдыхать от трудов — и что помешает нам переселиться в Англию? Да, Англия все так же была для Фрэнсис землей обетованной.

Я не отговаривал ее от задуманного и вообще несколько не возражал; я знал, что Фрэнсис из тех, кто не может жить в покое и праздности, без обязанностей, от которых она не может отстраниться, без работы, столь ее поглощающей. Множество добрых и сильных задатков развивались в ее натуре и требовали все новой пищи и большей свободы — и я не мог даже помыслить о том, чтобы уморить их голодом или как-то стеснить; напротив, я получал несказанное удовольствие, постоянно обеспечивая им средства к существованию и расчищая для них все большее пространство.

— Что ж, ты приняла решение, Фрэнсис, — сказал я, — достойное решение. Реализуй его; я одобряю твои намерения, и, если тебе когда-нибудь потребуется моя помощь, ты всегда ее получишь.

Фрэнсис посмотрела на меня с трогательной благодарностью, чуть не плача; потом одна-другая слезинка скатилась у нее из глаз, она обеими руками обхватила мою ладонь и некоторое время крепко держала ее, молвив только: «Спасибо, Monsieur».

Мы провели поистине божественный день и вернулись домой уж затемно, под сиянием полной луны...

Теперь десять лет пролетели передо мною в памяти на своих сухих, трепетных, неутомимых крыльях — годы суеты, неослабных усилий и неумной деятельности, годы, когда я и моя жена, пустившиеся по пути преуспевания, почти не знали ни отдыха, ни развлечений, никогда не потакали своим слабостям — и тем не менее, поскольку шли мы бок о бок, рука в руке, мы не роптали, не раскаивались и ни разу не усомнились в выбранной стезе. Надежда неизменно ободряла нас, здоровье поддерживало, гармония помыслов и деяний сглаживала многие трудности — и в конце концов усердие было вознаграждено сполна.

Наша школа сделалась со временем одной из известнейших в Брюсселе; постепенно мы разработали свою систему обучения и значительно расширили его границы, отбор учеников стал более тщательным, и к нам поступали дети даже из лучших бельгийских семей. Были у нас также и превосходные связи с Англией, установившиеся после неожиданной рекомендации м-ра Хансдена, который, хотя и стоял выше по положению и изощренно проклинал меня за благополучие, вскоре по возвращении домой отправил к нам трех своих ***ширских наследниц, своих племянниц, чтобы, как он выразился, «миссис Кримсворт навела на них лоск».

Упомянутая м-с Кримсворт в некотором смысле стала совсем другой женщиной, хотя в прочих отношениях ничуть не изменилась. Столь разной бывала она порой, что мне казалось, у меня две жены. Те качества Фрэнсис, что раскрылись еще до нашего брака, остались такими же свежими и сильными, однако иные качества, точно новые побеги, стремительно возросли и пышно разветвились, совершенно изменив первоначальный вид растения.

Твердость, энергичность и предприимчивость скрыли густой листвою солидности поэтичность и пылкую нежность ее души, но цветы эти под сенью окрепшего, сильного характера сохранились росистыми и благоуханными; возможно, во всем мире один я знал тайну их существования — для меня они всегда готовы были источать тончайший аромат и дарить первозданную, сияющую красоту.

Днем мой дом, включая школу, неизменно управлялся мадам директрисой — дамой статной и элегантной, с деловитой озабоченностью на челе и напускной чопорностью во всем облике. С такой леди я обыкновенно прощался сразу по окончании завтрака и отправлялся в свой коллеж, она же шла в классы. Приходя на час домой в середине дня, я заставал ее в классной комнате всегда предельно занятую. Когда она не вела непосредственно урок, то присматривала за ученицами и взглядом или жестом ими руководила, воплощая собою заботу и бдительность. Когда же она приступала к объяснению урока, то заметно оживлялась, и чувствовалось, что занятие это доставляет ей безмерное удовольствие. Язык ее всегда был прост, понятен и в то же время лишен сухих, избитых фраз; она любила импровизировать, и собственные ее фразы, весьма отличавшиеся от обычных штампов, были чрезвычайно выразительны и впечатляющи; нередко, объясняя ученицам любимые места из истории или географии, она обнаруживала даже подлинное красноречие и страстность.

Ученицы — по крайней мере, старшие из них — чувствовали в речах ее и манерах проявление превосходящего ума и духовной возвышенности; отношения между директрисой и пансионерками были достаточно добрые и теплые; все ученицы выказывали Фрэнсис уважение, а некоторые со временем искренне ее полюбили. Фрэнсис была с ними обычно сдержанной и строгой, иногда бывала милостивой — когда ученицы радовали ее своим поведением и успехами в науках — и всегда исключительно деликатной. Иной раз, когда кто-либо заслуживал порицания или наказания, она старалась быть терпеливой и снисходительной, но, если этих мер все-таки было не избежать — что порою случалось, — над провинившимся молнией разражалась суровость директрисы. Бывало — правда, очень редко, — проблеск нежности смягчал ее взгляд и манеры; происходила эта перемена обыкновенно, когда та или иная воспитанница была больна

или же безутешно тосковала по дому или когда перед Фрэнсис оказывалось маленькое, незащищенное, рано осиротевшее существо, которое было намного беднее своих соучениц и чей убогий гардероб вызывал презрение у едва ли не усыпанных драгоценностями юных графинь и разодетых в шелка девиц из богатых семей.

Этих слабеньких птенцов директриса укрывала и защищала своим добрым крылом, к их постелям подходила она ночами, чтобы подоткнуть одеяло, для них она зимой оставляла поудобнее место у печи, именно, они приглашались по очереди к ней в гостиную, чтобы получить дополнительный кусок пирога или фрукты, чтобы посидеть на скамеечке у огня, чтобы хоть в этот вечер насладиться домашним уютом и некоторой раскрепощенностью, чтобы услышать обращенные к ним добрые, мягкие слова, — и, когда подходило время сна, обласканные, приободренные, они отпускались с нежнейшим поцелуем.

Что же касается Джулии и Джорджианы Г***, дочерей английского баронета, м-ль Матильды де ***, единственной наследницы бельгийского графа, и множества других представительниц знати — директриса заботилась о них так же, как и об остальных, волновалась за их успехи так же, как и за успехи прочих учениц, и никогда у нее даже в мыслях не возникало как-либо их выделить, подчеркнув тем самым их происхождение. Впрочем, одну девушку благородной крови — юную ирландскую баронессу, леди Катрин ***, — очень любила, но лишь за чистую порывистость души, светлый ум, одаренность и щедрость натуры, а отнюдь не за титул и состояние.

Вторую половину дня я также проводил в коллеже, исключая тот час, когда супруга с нетерпением ожидала меня в своей школе, где я проводил уроки по литературе, и эти ежедневные мои посещения представлялись ей просто необходимыми. Она считала, что я должен какое-то время находиться среди ее воспитанниц, дабы лучше их знать и быть в курсе всего происходящего в пансионе и дабы в трудную минуту я мог подать ей добрый совет.

Фрэнсис стремилась, чтобы во мне не угас интерес к ее делу, и без моего согласия и одобрения не осуществляла никаких преобразований. Когда я давал урок, она обыкновенно сидела рядом, сложив руки на коленях и, казалось, была внимательнейшей слушательницей. В классе

она редко со мною заговаривала, а если и обращалась, то всегда с подчеркнутым уважением; ей было приятно и радостно везде и во всем держаться со мною как с Учителем.

В шесть часов пополудни каждодневные мои труды завершались, и я спешил домой, ибо дом мой был поистине раем. Стоило мне ступить в гостиную, как леди директриса исчезала прямо у меня на глазах, и в объятиях волшебным образом оказывалась Фрэнсис Анри, моя маленькая кружевница. Как расстроилась бы она, если б ее учитель не явился на это свидание столь же пунктуально, сколь она, и если б в ответ на тихое «Bonsoir, Monsieur» не последовал мой горячий поцелуй.

Она любила говорить со мною по-французски и за это свое упрямство нередко наказывалась — хотя, пожалуй, способы наказания избирались мною весьма неблагоприятно, поскольку вместо того, чтобы исправить провинившуюся, они лишь поощряли ее на дальнейшие проступки в этом же роде.

Вечера наши целиком принадлежали нам, и этот отдых замечательно восстанавливал силы для будничных трудов. Мы часто проводили вечера за разговорами, и моя швейцарка — к тому времени совсем привыкшая к своему учителю и любившая так сильно, что больше уже меня не боялась, — оказывала мне доверие столь безграничное, что, разговаривая с ней, я словно общался напрямик с ее душой. В эти часы, счастливая, как весенняя птичка, она раскрывала передо мною все, что было оригинального, полного жизни и света в ее богатой натуре.

Ей нравилось также шутить со мною и всячески поддразнивать; она частенько подтрунивала над тем, что называла моими «bizareries anglaises»,^[163] моими «caprices insulaires»,^[164] и делала это с таким безудержным и остроумным озорством, что превращалась в сущего демона, впрочем совершенно безобидного. Продолжалось это обычно недолго; измученный ее атаками — ведь язычок Фрэнсис всегда воздавал должное силе, колоритности и утонченности ее родного французского, — я нападал на досаждавшего мне проказника-эльфа. И что же? Стоило мне схватить его, как эльф исчезал — хитрой насмешливости в выразительных карих глазах как не бывало, и из-под полуприкрытых век уже струилось мягкое сияние, а в руках я

обнаруживал беззащитную и покорную маленькую смертную женщину.

Тогда, в виде наказания, я заставлял ее взять книгу и часок почитать мне что-нибудь по-английски. Так, я время от времени назначал ей Вордсворта, и, надо заметить, Вордсворт быстро ее остепенял; Фрэнсис испытывала немалое затруднение в постижении его глубокого, ясного и светлого ума, язык его также не был для нее легок, и потому ей приходилось обращаться ко мне за объяснениями, задавать всевозможные вопросы, быть послушной ученицей и признавать меня своим наставником и господином.

Интуиция ее легко проникала в творения авторов, более страстных, наделенных ярчайшим воображением; ее всегда захватывал Байрон, она любила Скотта — но Вордсворт повергал ее в недоумение, Фрэнсис лишь изумлялась ему и не решалась высказать свое впечатление от его поэзии.

Однако, что бы Фрэнсис ни делала — читала ли мне или беседовала со мною, дразнила меня по-французски или молила о пощаде по-английски, остроумно меня высмеивала или почтительно о чем-либо расспрашивала, увлеченно что-нибудь рассказывала или внимала моим словам, улыбалась мне ласково или же насмешливо, — ровно в девять меня оставляли в одиночестве. Фрэнсис высвобождалась из моих объятий, брала в руки лампу и уходила на верхний этаж; иногда я отправлялся вслед за ней.

Первым делом Фрэнсис открывала дверь дортуара и бесшумно скользила меж двумя длинными рядами белых постелей, оглядывая каждого спящего; если какая-нибудь из воспитанниц не могла заснуть от накатившей тоски по дому, Фрэнсис говорила с ней и утешала; потом она ненадолго останавливалась у дверей, чтобы еще раз убедиться, что все тихо и безмятежно, заправляла ночник, до утра мягко освещавший помещение, затем неслышно выходила в коридор и закрывала дверь.

Проделав все это, Фрэнсис возвращалась в наши апартаменты и уходила в дальнюю комнатку; там тоже стояла кроватка — всего одна и очень маленькая.

Как-то раз я прошел туда следом за Фрэнсис и понаблюдал за ней.

Лицо Фрэнсис вмиг преобразилось, едва она оказалась возле крохотного ложа: строгое выражение лица сделалось благоговейным; с

лампой в одной руке и другой приглушая свет, Фрэнсис склонилась над спящим ребенком.

Сон его казался чист и светел, ни слезинка не увлажняла его темных ресниц, на круглых щечках не горел жаркий румянец, никакое мрачное видение не искажало милых, многообещающих черт.

Фрэнсис не отрываясь смотрела на дитя; она не улыбалась, но лицо озарено было глубочайшим восхищением, и бесконечное блаженство виделось во всем ее облике, все так же недвижимом. Грудь ее мерно вздымалась, дыхание было слегка учащенным, губы — чуть приоткрыты; дитя заулыбалось во сне, и мать тоже улыбнулась и тихо молвила: «Благослови, Господь, моего малыша!»

Она нагнулась к ребенку, коснулась его лобика нежнейшим поцелуем, на мгновение накрыла ладонью его крохотные ручки и удалилась.

Я вернулся в гостиную, опередив Фрэнсис. Войдя через пару минут, она поставила на стол уже погашенную лампу и произнесла:

— Виктор сладко спит и улыбается во сне. У него ваша улыбка, Monsieur.

Упомянутый Виктор, как вы догадались, был наш ребенок, родившийся на третий год супружества; нарекли его так в честь г-на Ванденгутена, доброго и горячо любимого друга нашей семьи.

Фрэнсис была для меня хорошей и преданной женой, я же был для нее хорошим, заботливым и верным мужем.

Что бы с ней случилось, выйди она за человека грубого, ревнивого, безответственного, за распутника, мота, пьяницу или тирана? Как-то раз я задал ей этот вопрос. Поразмыслив немного, Фрэнсис ответила:

— Какое-то время я пыталась бы сносить зло или устранять его; но, осознав однажды, что оно и невыносимо, и неискоренимо, я бы решительно покинула своего мучителя.

— А если б законом или силой тебя принудили вернуться?

— Что?! К пьянице, распутнику, к себялюбивому расточителю, к ревнивому глупцу?

— Да.

— Я бы снова ушла. Сначала я, конечно, выяснила бы, нельзя ли избавиться от его порока и моего несчастья, и если нет — ушла бы снова.

— А если б снова тебя заставили вернуться и терпеть его выходы?

— Не знаю, — быстро ответила она. — Почему вы об этом спрашиваете, Monsieur?

Я пожелал все-таки услышать ответ, ибо заметил в глазах Фрэнсис огонек воодушевления.

— Monsieur, если женщина по природе своей не приемлет характер мужчины, с которым она связана супружескими узами, брак неминуемо превращается в рабство. Против рабства восстают само естество и разум. И пусть борьба будет стоить многих мук — на муки эти надо отважиться; пускай единственный путь к свободе проляжет через ворота смерти — ворота эти надо пройти, ибо без свободы жить невыносимо. Так что, Monsieur, я боролась бы до последних сил и потом, когда силы б мои иссякли, я уверовала бы в последнее прибежище. Смерть, несомненно, защитила б меня и от скверных законов, и от их последствий.

— Значит, самоубийство, Фрэнсис?

— Нет, Monsieur. У меня достало бы мужества пережить все уготованные мне страдания и до конца бороться за справедливость и свободу.

— Ну а, предположим, тебе выпала бы участь старой девы — что тогда? Как бы тебе понравилось это безбрачие?

— Не очень, разумеется. Жизнь старой девы скучна и бессодержательна, душа ее томится от этой неестественности и пустоты. Если б я осталась старой девой, я всю жизнь потратила б на то, чтобы заполнить пустоту и тем самым утишить боль. Возможно, мне бы это не удалось и я умерла бы усталой и разочарованной, презираемой и ничтожной, как многие одинокие женщины. Однако я не старая дева, — добавила она, — впрочем, непременно бы ею стала, если б не мой учитель. Я не устроила бы ни одного мужчину, кроме Учителя Кримсворта. Ни один джентльмен — француз, англичанин или бельгиец — не посчитал бы меня достаточно добронравной и красивой, да сомневаюсь, что и я была бы равнодушна к расположению других мужчин, если б его и обнаружила. Уже восемь лет, как я являюсь супругой Учителя Кримсворта, — и по-прежнему он видится мне благородным, красивым... — Тут голос ее оборвался, на глаза внезапно навернулись слезы.

Мы стояли с нею совсем рядом; Фрэнсис обхватила меня и порывисто, горячо прижалась к груди; необычайная внутренняя энергия охватила все ее существо, засветилась в темных глазах, показавшихся мне еще огромнее, запылала на разгоряченных щеках; во взгляде Фрэнсис, в этом порывистом движении ощущалось некое страстное, сильное волнение духа.

Спустя полчаса, когда Фрэнсис совершенно успокоилась, я спросил, куда же скрылась та необузданная сила, что так внезапно преобразила ее, наполнив взгляд таким жаром и вызвав столь сильный и молниеносный жест.

Фрэнсис опустила голову и, улыбаясь мягко, кротко, отвечала:

— Я не могу сказать точно, откуда она и где скрылась, — знаю только, что если она вдруг востребуется, то снова вернется.

Теперь, читатель, уже десять лет, как мы с Фрэнсис вместе, абсолютно свободные и обеспеченные. Что мы так быстро этого достигли, имеет три причины: во-первых, мы трудились не жалея сил, во-вторых, ничто особо не препятствовало нашему успеху; в-третьих, как только мы обзавелись некоторым капиталом, два практичных человека — один в Бельгии, другой в Англии, а именно: Ванденгутен и Хансден, — помогли нам советом насчет того, куда его лучше поместить. Предложение их я счел вполне разумным и, не мешкая взявшись за дело, добился немалой прибыли (какой конкретно, я думаю, нет надобности здесь уточнять, во все подробности я посвятил только Ванденгутена и Хансдена, больше же это никому не интересно).

Разобравшись наконец со всеми своими делами, развязавшись со всеми обязанностями, мы с Фрэнсис сошлись на том, что, поскольку Богатство нам не божество и в служении ему мы не хотели бы провести всю жизнь, поскольку желания наши умеренны и запросы достаточно скромны, состояния нашего вполне хватит на то, чтобы взрастить сына и самим неплохо прожить, притом всегда имея некоторый излишек, чтобы, занявшись филантропией, положить и свою монету утешения в руку Нищеты.

Решив обосноваться в Англии, мы без особых хлопот благополучно туда переехали — так Фрэнсис осуществила мечту своей жизни. Все лето и осень мы путешествовали по Британии, после чего

зиму провели в Лондоне. Тогда мы решили, что настала пора где-нибудь прочно осесть.

Меня потянуло на родину, в ***шир — где теперь я и живу и где в библиотеке собственного дома пишу эти воспоминания. Дом стоит уединенно посреди холмистой местности в тридцати милях от К***, там, где зелень не отравлена фабричной копотью, где бегут чистые, прозрачные воды, где поросшие вереском возвышенности словно охраняют лежащие меж ними узкие лощины в их первозданной красоте, с их пышным мхом, папоротниками, колокольчиками, с запахами тростника и вереска, с вольными и свежими ветрами.

Дом наш представляет собою живописное и не слишком громоздкое строение с невысокими, широкими окнами, с зарешеченным и скрытым зеленью балконом над парадной дверью, который сейчас, в этот летний вечер, похож на увитую розами и плющом беседку. Сад расположен у самой подошвы отлогого холма с невысокой и удивительно мягкой травой и необыкновенными цветами, которые, подобно крохотным звездочкам, будто вкраплены изящным украшением в богатую зеленую ткань. В самом конце сада есть калитка, что выводит на узкую аллею, очень длинную, тенистую и безлюдную; вдоль этой аллеи всегда по весне появляются первые маргаритки, отчего и названо было это место Дейзи-Лейн, ^[165] равно как и все наше имение.

Упирается эта аллея в обширный лес с пышно разросшимися деревьями — преимущественно дубами и буками, — за которым стоит очень старое строение, еще елизаветинских времен; оно значительно массивнее и древнее Дейзи-Лейна и является собственностью и резиденцией человека, знакомого как мне, так и читателю. Да, в Хансден-Вуде — ибо таково название всей этой земли и огромного серого дома с множеством коньков и труб — все так же живет Йорк Хансден, по-прежнему холостой, так и не нашедший, судя по всему, своего идеала, хотя я знал, что по крайней мере два десятка юных леди на сорок миль вокруг были бы не прочь облегчить его поиски.

Имение перешло к нему пять лет назад после кончины отца; с коммерцией Хансден расстался, как только, сколотив достаточное состояние, сумел рассчитаться с некоторыми стародавними долгами, обременявшими их род. Я сказал, что Хансден там живет, — однако, думаю, пребывает он в своем имении не больше пяти месяцев в году;

он разъезжает по разным землям, зимой же какое-то время проводит в городе. Возвращаясь в ***шир, он часто привозит гостей, большей частью иностранцев — был у него один немецкий метафизик, был французский ученый, гостил также один беспокойный, свирепого вида итальянец, который не умел ни петь, ни играть и, как утверждала Фрэнсис, имел «tout l'air d'un conspirateur». ^[166]

Английскими же гостями Хансдена бывают, как правило, фабриканты из Бирмингема и Манчестера — люди довольно мрачные, которые словно сосредоточены на одной мысли и которые говорят преимущественно о свободной торговле. Иностранные гости любят порассуждать о политике; предмет их дискуссий значительно шире — европейский прогресс, — и насчет континента они высказывают весьма вольнодумные суждения; такие слова, как «Россия», «Австрия», «Папа Римский», будто начертаны красными чернилами на их умонастроениях.

Мне доводилось слышать сильные, пламенные речи многих из них — я бывал время от времени на многоязычных собраниях в старинной, отделанной дубом столовой Хансден-Вуда, — весьма категорически иной раз выражалось уважение, питаемое этими беспокойными умами к старым жестким порядкам севера Англии и особой религиозности юга; выслушал я также немало пустых разговоров, останавливаясь на которых не буду. Что ж касается хозяина, то Хансден едва терпел этих несших всякий вздор теоретиков — и, напротив, с людьми деловыми держался как союзник и друг.

Когда Хансден остается в своем имении один (что, впрочем, случается довольно редко), он обычно два-три раза в неделю наведывается в Дейзи-Лейн. У него есть для этого одна благотворительная цель — летним вечером выкурить сигару на нашем балконе; он утверждает, что делает это исключительно для того, чтобы уничтожить в розах ухверток, и что, если б не его великодушное окуривание, от насекомых этих спасу бы не было.

В ненастные дни мы также всегда ожидаем его визита; по его же словам, он скоро доведет меня до умопомешательства, наступая мне на любимые «интеллектуальные мозоли», или разоблачит в миссис Кримсворт драконью природу, оскорбляя память Хофера^{22} и Телля.

Мы с Фрэнсис, в свою очередь, бываем в Хансден-Вуде и всякий раз получаем безмерное удовольствие от этих визитов. Если там есть

другие гости — за ними интересно понаблюдать, речи их всегда необычны и волнующи; благодаря полному отсутствию локальности мировосприятия как в хозяине, так и в избранном его кругу разговоры их носят почти космополитический характер.

Хансден, будучи гостеприимным хозяином, обладает к тому же удивительными и неисчерпаемыми способностями развлекать других, когда пребывает в соответствующем расположении духа. Да и сам дом его весьма занятен; в залах и коридорах словно живут старинные предания и легенды; комнаты с низкими потолками, с множеством разноцветных окон кажутся едва ли не обиталищем привидений. В путешествиях Хансден собрал целую коллекцию оружия и разных редкостей, которые теперь со вкусом развешаны по стенам, обшитым деревом или обитым гобеленами; видел я там несколько картин и статуэток, что вызвали бы зависть у многих ценителей-аристократов.

Когда мы с Фрэнсис остаемся у Хансдена обедать и проводим с ним весь вечер, он любит пройтись с нами по своим владениям. Лес у него огромный, и некоторые деревья настолько древние, что достигают в обхват невероятных размеров. Есть там много извилистых тропинок, что бегут по полянам и чащам, и, если по ним возвращаться в Дейзи-Лейн, путь окажется куда длиннее обычного.

Много раз прогуливались мы по этим тропам, когда сияла луна, когда ночь была тихой и благодатной, когда заливался соловей и ручеек, спрятавшись в ольшанике, словно аккомпанировал певцу мягкими, нежными звуками, — и отпускал нас властитель леса незадолго до того, как в дальнем селении, за десять миль отсюда, церковный колокол возвещал полночь.

Легко и непринужденно текли наши беседы в эти часы и были гораздо спокойнее, душевнее, нежели днем, при скоплении гостей. Тогда Хансден забывал политику и споры и говорил о былых временах своего дома, об истории рода, о себе и своих чувствах — и каждая тема имела особую изюминку и была поистине уникальна.

Как-то раз (был тогда чудесный июньский вечер) я поддел Хансдена насчет его идеальной невесты и полюбопытствовал, когда же наконец она придет и привьет свою иноземную красоту старому хансденовскому дубу.

— Вы считаете ее призрачным идеалом, — неожиданно резко ответил он. — Смотрите: вот здесь ее тень, а тени не может быть от

предмета воображаемого.

Он вывел нас змеистой тропкой на поляну, вокруг которой, словно расступившись и открыв ее небу, стояли буковые деревья; луна из безоблачной глубины беспрепятственно проливала свое сияние, и Хансден протянул под ее лучи миниатюрный портрет, выполненный на слоновой кости.

Фрэнсис с любопытством взяла его в руки и, разглядев, передала мне, пытаясь прочесть в моих глазах, какое впечатление произведет портрет.

Изображено на нем было весьма, на мой взгляд, красивое и своеобразное женское лицо, смуглое, с чертами, как некогда выразился Хансден, «яркими и правильными». Волосы цвета воронова крыла оставляли открытыми лоб и виски, будучи небрежно отброшены назад, словно такая красота не только не нуждалась в особом убранстве, но и презирала его. Итальянского типа глаза смотрели прямо и независимо, рот был тверд и вместе с тем изящен, равно как и подбородок. На обороте миниатюры золотом было выведено: «Лючия».

— Прекрасная головка, — заключил я. Хансден улыбнулся.

— Согласен, — ответил он. — В Лючии все было прекрасно.

— И как раз на ней вы и хотели жениться, но не смогли?

— Разумеется, я хотел на ней жениться, и то, что я этого *не* сделал, подтверждает, что я *не* смог этого сделать.

Он забрал миниатюру, оказавшуюся снова у Фрэнсис, и спрятал во внутренний карман.

— А каково ваше мнение? — спросил он мою жену, застегнув сюртук.

— Я уверена, некогда Лючия была окована цепями и потом разбила их, — последовал довольно странный ответ. — Я имею в виду отнюдь не цепи супружества, — поспешно прибавила она, опасаясь быть неверно понятой, — но некоторого рода социальные цепи. Это лицо человека, который сделал попытку — причем увенчавшуюся успехом — выволить свой сильный, исключительный талант из-под тягостного гнета, и, когда талант Лючии обрел наконец свободу, он, несомненно, простер широкие крыла и вознес ее выше, чем... — Фрэнсис запнулась в нерешительности.

— Чем что? — потребовал Хансден.

Чем «les convenances»^[167] могли позволить вам последовать за ней.

— Похоже, вы становитесь злой и дерзкой.

— Лючия шагнула на определенную ступень, — продолжала Фрэнсис. — Вы никогда всерьез не помышляли о браке с ней; вы признавали ее оригинальность, бесстрашие, бьющую через край энергию — и физическую и духовную; вы восхищались ее талантом, в какой бы области он ни проявлялся — в пении, танцах или актерском искусстве; вы поклонялись ее красоте, которая полностью удовлетворяла ваш вкус, — но, уверена, Лючия была из того круга, из которого вы никогда не избрали бы невесту.

— Оригинальный ответ, — заключил Хансден, — а уж точен он или нет — вопрос другой. Кстати, не кажется ли вам, что ваш светильничек духа очень тускл рядом с таким канделябром, как у Лючии?

— Согласна.

— Искренне, по крайней мере; не будет ли Учитель ваш в скором времени неудовлетворен тем бледным светом, что вы испускаете?

— Что скажете, Monsieur?

— У меня всегда было слишком слабое зрение, чтобы выносить ослепительный свет, Фрэнсис, — ответил я.

Так, за разговором, мы добрались до нашей калитки.

Как я уже отметил, тогда был чудесный летний вечер; до сих пор стоят эти благословенные деньки — и сегодняшний, пожалуй, самый восхитительный; сено с моего луга только убрали, и воздух весь наполнен его ароматом.

Фрэнсис предложила устроить чай на лужайке, и вот уже под буком установлен круглый стол и накрыт к чаепитию; ждем Хансдена — вот я слышу, как он идет, и вскоре голос его, полный внушительных, властных ноток, уже разносится над лужайкой. Фрэнсис что-то ему отвечает — она, как всегда, с ним спорит. Говорят они о Викторе, по поводу которого Хансден утверждает, что мать делает из ребенка «тюрю». Миссис Кримсворт выдвигает встречное обвинение: дескать, в сто раз лучше, если он станет «тюрей», нежели тем, кого Хансден назвал бы «славным малым»; более того, она говорит, что, если Хансден намерен прочно обосноваться по соседству, а не наезжать время от времени, — точно как комета, которая появляется и уносится

так быстро, что никто и удивиться не успеет, — она вся изведется, пока наконец не отправит Виктора в школу, что за сто миль отсюда, ибо со своими бунтарскими идеями и далекими от жизни представлениями Хансден погубит любого ребенка.

Прежде чем завершить сию рукопись, скажу несколько слов и о Викторе — однако я должен быть краток: уже слышно, как на лужайке звякает серебро по фарфору.

Виктор столь же милый, очаровательный ребенок, сколь я — красивый, видный мужчина, а его матушка — хорошенькая женщина; он бледный и худощавый, с глазами большими и темными, как у Фрэнсис, и глубоко посаженными, как у меня. Телосложение его достаточно пропорциональное, но фигурка чрезмерно щуплая, — впрочем, здоровье у мальчика неплохое. Никогда не доводилось мне видеть ребенка, который бы так мало улыбался и с таким серьезным, солидным видом сидел, погруженный в книгу, или слушал истории об опасных приключениях и сказки, что рассказывали ему Фрэнсис, Хансден или я. Он молчалив, но не печален, серьезен, но отнюдь не замкнут; он восприимчив и способен на сильные, глубокие чувства, которые порою доходят до пылкости.

Грамоте он начал учиться рано, причем старым, проверенным способом — по азбуке, разложенной у матери на коленях; успехи его по этой методе были неимоверно быстры, так что Фрэнсис даже не считала необходимым купить ему костяную азбуку или другую подобную приманку к учению, без чего не обходятся многие родители. Освоив чтение, Виктор сделался истым книгоедом, кем остается и поныне.

Игрушек у него мало, и он никогда их много не требовал. К тем же нескольким игрушкам, которыми он обладает, Виктор питает, похоже, сильную привязанность, если даже не любовь. Но особенно он любит обитающих у нас в доме животных, и чувство это близко к обожанию.

Однажды м-р Хансден подарил ему щенка мастифа, которого называли Йорком в честь дарителя; щенок этот вырос в превосходного пса, свирепость которого была в значительной степени умерена дружеским обхождением и ласками юного хозяина. Мальчик никуда не ходил и ничего не делал без Йорка; Йорк лежал у Виктора в ногах, когда тот учил уроки, он играл с ним в саду и сопровождал во всех

прогулках по окрестностям, сидел у его кресла, когда семья собиралась за столом, принимал пищу исключительно из его рук и был всегда первым, кого Виктор видел, проснувшись, и последним, с кем тот прощался перед сном.

Как-то раз Йорк отправился с Хансденом в К*** и был покусан на улице бешеной собакой. Когда же Хансден привез его домой и сообщил мне о случившемся, я вышел во двор, где пес зализывал раны, и пристрелил его. Я стоял позади него, так что Йорк не видел, как наводили ружье; в мгновение он был мертв.

Я вернулся в дом, но не прошло и десяти минут, как слуха моего достигли отчаянные рыдания. Я снова отправился во двор, поскольку плач этот доносился именно оттуда. Виктор в неизменной скорби стоял на коленях, склонившись над мертвым мастифом и обняв его могучую шею. Увидев меня, он закричал:

— Папа! Я никогда вас не прощу! Никогда! Вы убили Йорка — я видел из окна. Я не знал, что вы такой жестокий! Я больше не смогу вас любить!

Я принялся объяснять ему — спокойным, выдержанным тоном — суровую необходимость этого деяния, но Виктор все равно плакал так горько и безутешно, что у меня сжималось сердце.

— Его можно было вылечить, — говорил он сквозь слезы, — вы должны были хотя бы попытаться! Надо было прижечь рану каленым железом или приложить едкую примочку. А теперь уже поздно, он мертв!

И он снова приткнулся к безжизненному телу своего любимца. Я долго и терпеливо ждал, пока горестный плач несколько утихнет, затем взял мальчика на руки и отнес к матери, уверенный, что ей лучше удастся его утешить.

Фрэнсис видела всю эту сцену из окна; она не вышла к нам сразу, опасаясь своими эмоциями поставить меня в еще более затруднительное положение, но теперь она готова была принять у меня Виктора. Она усадила его к себе на колени и нежно обняла; сначала она утешала его лишь поцелуями, взглядом и мягким материнским объятием; когда же мальчик перестал плакать, Фрэнсис сказала, что Йорк умер без малейших страданий, но что, если бы ему дали умереть своей смертью, конец его был бы ужасен; далее она стала уверять Виктора, что я вовсе не жесток (а эта мысль, казалось, причиняла

особую боль бедному мальчику), что, напротив, именно из любви к Йорку и к нему я так поступил и теперь у меня сердце разрывается, оттого что мой сын так горько плачет.

Виктор не был бы истинным сыном своего отца, если б эти объяснения и доводы, произнесенные с такой проникновенной нежностью, сопровождаемые ласками столь мягкими и взорами, исполненными сочувствия, не произвели на него ожидаемого эффекта. Все это в самом деле подействовало на Виктора: он успокоился и, положив голову на плечо матери, некоторое время тихо сидел, прижавшись к ней. Затем, неожиданно подняв голову и заглянув матери в глаза, он попросил повторить, что Йорк действительно даже не почувствовал боли и что я не был с ним жесток; Фрэнсис исполнила его просьбу, и Виктор, снова успокоившись, прильнул щечкой к ее груди и затих.

Через пару часов он пришел ко мне в библиотеку, спросил, прощен ли он, и выразил желание помириться. Я притянул мальчика к себе и, приобняв, долго разговаривал с ним; в продолжение этой беседы я открыл для себя такие мысли и чувства в своем сыне, которые мог только поощрять. Увидел я в нем, кстати, и некоторые признаки хансденовского «славного парня» — искорки того духа, что может выплеснуться через край, как шипучее игристое вино, и который способен разжечь чувства до всеразрушающего пламени страстей; однако в глубине души его я отыскал и здоровые, развивающиеся зародыши сострадания, любви, преданности. Я обнаружил в саду его внутреннего мира пышную поросль достойных качеств — рассудительности, чувства справедливости, силы духа, — которые, ежели не погибнут, непременно дадут в будущем богатый урожай. Потому я с удовлетворением и гордостью запечатлел поцелуй на широком, открытом лбу его и на щеке, все еще бледной от переживаний и слез, и отпустил Виктора окончательно успокоенным.

Тем не менее на следующий день я видел, как Виктор лежал на могиле Йорка, закрыв лицо руками; не один месяц он пребывал в тоске и меланхолии и больше года не хотел и слышать о том, чтобы завести другую собаку.

Учение дается Виктору очень легко. В скором времени он отправится в Итон, и, подозреваю, первые два года будут для него невыносимо тяжелыми: разлука со мной, с матерью, с родным домом

будет терзать его сердце мучительно щемящей болью; затем вряд ли придется ему по душе принятая там подчиненность младших учеников старшим. Впрочем, жажда знаний, соперничество в учении, стремление к успехам и победы сумеют расшевелить его и со временем щедро вознаградят.

Между тем меня преследует сильное искушение задержать тот час, что оторвет от меня единственное дитя, мою единственную ветвь и посадит далеко от меня, и когда я говорю об этом Фрэнсис, то вижу в ней столько страдания, будто речь идет о каком-то чрезвычайно опасном предприятии, при одной мысли о котором все существо ее содрогается, но от которого воля не позволит отступить.

Как бы то ни было, шаг этот должен быть и будет сделан, потому что Фрэнсис хотя и не сделает из сына «тюрю», но, безусловно, приучит его к исключительной деликатности, снисходительности, бездонной нежности — ко всему тому, чего он не встретит по отношению к себе ни от кого другого. Мы оба видим в Викторе нечто поразительно пылкое и мощное, что то и дело выбрасывает наружу злоеущие искры; Хансен называет это духом и утверждает, что обуздать его никак не удастся. Я же склоняюсь к тому, что это отголосок первородного греха, и что если из Виктора это не выбить, то, несомненно, можно эту силу усмирить, а любые физические или моральные страдания будут тому способствовать, ибо постепенно укрепят в мальчике самообладание.

Фрэнсис никак не называет это «нечто», так отличающее характер сына, но когда оно проявляется порою в диком блеске глаз, в скрежете зубовном, в яростном восстании чувств против разочарования, неудачи, обиды или мнимой несправедливости, Фрэнсис прижимает мальчика к груди или уводит куда-нибудь поговорить наедине; она рассуждает с ним, как заправский философ, а Виктор всегда податлив на резонные доводы; убедив сына, она устремляет на него взгляд, исполненный любви и нежности, чем Виктора можно покорить окончательно.

Но явятся ли мягкое урезонивание и любовь тем оружием, каким в будущем мир встретит неистовство его порывов? О нет! За этот огонь в черных глазах, за грозовые тучи на его красивом лбу, за твердость на сжатых губах сын наш когда-нибудь получит тычки вместо уговоров и вместо поцелуев — пинки; и тогда немая ярость и боль будут терзать

его душу и плоть, доводя до умопомрачения, тогда он претерпит суровые, но благородные и достойные испытания, из которых, я верю, выйдет мудрее и выше.

Сейчас я вижу его из окна — Виктор стоит рядом с Хансденом, который восседает на стуле под буком и, возложив длань на плечо отрока, Бог знает какие вливает в него мысли и наставления. Виктор улыбается и внимает Хансдену с явным интересом — когда лицо его озаряется улыбкой, он больше чем когда-либо походит на мать, но, к сожалению, сияние это пробивается так редко!

Виктор относится к Хансдену с уважением и явным предпочтением, весьма глубоким и сильным и определенно куда более категорическим, чем я когда-либо питал к этой личности. Фрэнсис с немалой тревогой наблюдает развитие их отношений; в то время как сын ее опирается на хансденовские колени или придерживается за его плечо, Фрэнсис кружит вокруг них, как голубка, защищающая своего птенца от парящего над ними ястреба; она говорит, что лучше б у Хансдена были свои дети — тогда бы он почувствовал, сколь опасно пробуждать в них гордыню и потворствовать слабостям.

Вот Фрэнсис подходит к окну в моей библиотеке и, отстранив заглядывающую в него ветку жимолости, сообщает, что чай готов; видя, однако, что я и не думаю прерываться, она приходит ко мне и, приблизившись сзади, тихо кладет руку мне на плечо:

— Monsieur est trop appliqué. [\[168\]](#)

— Скоро освобожусь.

Фрэнсис придвигает стул и, устроившись на нем, терпеливо ждет, пока я закончу; присутствие ее отрадно для меня, как запах свежего сена и пряный аромат цветов, как переливы зари и летняя умиротворяющая тишина вечернего часа.

Но вот я слышу шаги Хансдена; он возникает в окне, бесцеремонно отодвинув от него жимолость и потревожив при этом пару пчел и бабочку.

— Кримсворт! Я повторяю: Кримсворт! Миссис, заберите у него перо и заставьте поднять голову.

— А, Хансен? Я слышал, вы...

— Вчера был в К***. Ваш братец делается богаче Креза за счет спекуляций железнодорожными акциями; еще я узнал от Брауна, что мсье и мадам Ванденгутены и Жан Батист намерены приехать

повидать вас в следующем месяце. Пишет он также и о мсье и мадам Пеле: мол, союз их в смысле супружеской гармонии не самый лучший в мире, но в деле своем они «он не реут mieux»,^[169] каковое обстоятельство, он заключает, будет достаточным утешением для обоих и компенсацией за все семейные невзгоды. Кстати, почему бы вам не пригласить чету Пеле в ***шир, Кримсворт? Мне бы так хотелось увидеть вашу первую пассию Зораиду. Миссис Кримсворт, не ревнуйте слишком, но он любил эту особу до безумия — я знаю это как факт. Браун сообщает, что теперь она весит где-то двенадцать стоунов, — вы понимаете, что вы упустили, мистер Учитель! Ну, а теперь, господа, если вы не собираетесь идти к столу, мы с Виктором приступим к чаю и без вас.

— Папа, пойдете!

notes

Примечания

1

Вздернутый, курносый (фр.).

Пансион для девиц (*фр.*).

3

Приходящие ученицы (*фр.*).

Fin — тонкий, изысканный; spirituel — остроумный, умный (*фр.*).

Господа, приготовьте книги для чтения (фр.).

6

На английском или французском, мсье? (фр.)

На английском (фр.).

8

Начинайте! (фр.)

Здесь: достаточно! (фр.)

10

Какой ужас! (фр.)

Слушайте, господа! (фр.)

На сегодня все, господа; завтра мы возобновим чтение и, надеюсь, все будет хорошо (фр.).

Хорошо! Очень хорошо!.. Я вижу, у мсье есть талант; мне это нравится, ибо в учительском деле талант столь же ценим, как и ученость (фр.).

Комнату (фр.).

Забитое окно выходит в сад женского пансиона, и приличия требуют... словом, вы понимаете, не правда ли, мсье? (фр.)

16

Да, да (фр.).

Уже в ребенке заложены черты взрослого человека (англ.).

Они ж фламандцы! (*фр.*)

Прекрасного пола (*фр.*).

Полдник (*фр.*).

Извините? (фр.)

Фермершей (фр.).

Хозяйкой гостиницы (фр.).

Рюмочке (*фр.*).

Только б вы были благоразумны... а с виду-то вы именно такой (фр.).

Какой очаровательный молодой человек! (*фр.*)

Зораида во всем как королева, и она замечательная
руководительница (*фр.*).

В точности как мой сын! (*фр.*)

Как! вы уж уходите?.. Скушайте еще что-нибудь, мсье: печеное яблочко, бисквиты, еще чашку кофе? (*фр.*)

Благодарю, благодарю вас, мадам, — до свидания (*фр.*).

Мсье Кримсворт, не так ли? (*фр.*)

Хладнокровие (*фр.*).

Впрочем (*фр.*).

О, как все англичане! (*фр.*)

Какой лучезарный у вас вид!.. Таким оживленным я вас еще не видел. Что-нибудь произошло? (*фр.*)

По-видимому, мне на пользу перемены (*фр.*).

О! понимаю — это верно; только будьте благоразумны. Вы слишком молоды — чересчур молоды для той роли, которую собираетесь играть; вам следует остерегаться, вы знаете? (*фр.*)

Но в чем возможна опасность? (*фр.*)

Не знаю, но не позволяйте себе глубоких впечатлений — только и всего (*фр.*).

Наставницы (*фр.*).

Достаньте тетради для диктантов (*фр.*).

Элалия, я сейчас умру со смеху! (фр.)

Как он покраснел, когда говорил! (*фр.*)

Да он совсем молокосос (*фр.*).

Тише ты, Гортензия, — он нас слышит (*фр.*).

Изображение Девы (фр.).

Для начала подиктуйте нам что-нибудь попроще, мсье (*фр.*).

В своей манере (*фр.*).

- Как по-английски «точка с запятой», мсье?
- Semi-colon, мадемуазель.
- Semi-collong? Ах, как забавно! (*фр.*)

У меня такое плохое перо — писать невозможно! (*фр.*)

Но, мсье, я за вами не успеваю — вы так спешите! (*фр.*)

Я ничего не понимаю! (*фр.*)

Тихо (*фр.*).

Трудный этот английский! (*фр.*)

Ненавижу диктовки! (фр.)

Какая тоска писать то, чего не понимаешь! (*фр,*)

Дайте мне вашу тетрадь (*фр.*).

И вы, мадемуазель, — дайте мне и вашу (*фр.*).

Стыдно! (фр.)

Хорошо; я вами доволен (*фр.*).

Столовая (*фр.*).

Застекленный шкаф (*фр.*).

И три девицы с первой скамьи? (*фр.*)

О! Как нельзя лучше! (*фр.*)

Морковного супа-пюре (*фр.*).

Ну-с, негодник!.. Где это вы ходите? Являетесь в столовую так поздно, что я вас вынужден побранить (*фр.*).

Большая ответственность — присматривать за ними (*фр.*).

Простите?.. (*фр.*)

Вьючные животные, вьючные животные (*фр.*).

Угощайтесь сами, мой мальчик (*фр.*).

Хорошенькое дельце (фр.).

Стыдно заподозрить в этом что-либо дурное (фр.).

Я, видите ли, несколько знаком со своей маленькой соседкой (фр.).

Сын мой; она еще молода, хотя и постарше вас, но лишь настолько, чтобы сочетать в себе нежность молодой матери с любовью преданной супруги; разве для вас это не самое лучшее? (фр.)

И скажите мне, не видите ли в ней в одном случае что-то от кошки и от лисы — в другом (фр.).

Бархатной лапки (фр.).

Не обнаружили ли вы, сколь чудны эти юные головки? (фр.)

Я их знаю!.. Они всегда впереди в церкви и на прогулке; пышная блондинка, прекрасная брюнетка и одна прехорошенькая шалунья (фр.).

Изящной словесности (фр.).

Юная девица (фр.).

Продавщицами (фр.).

Ботинок со шнуровкой (фр.).

Большой зал (фр.).

В [состоянии] мятежа (фр.).

Неприлично (фр.).

Запретная аллея (фр.).

Решетчатый ставень (фр.).

Окон (фр.).

Когда же день нашей свадьбы, мой милый друг? (фр.)

Но, Франсуа, ты ведь прекрасно понимаешь, я не могу обвенчаться до каникул (фр.).

Мальчишкой, молокососом (фр.).

Сынок (фр).

Не правда ли, мсье? (*фр.*)

Дневная молитва (фр.).

Отче наш, сущий на небесах (фр.).

Пресвятая Дева, Царица ангелов, Золотой Чертог, Башня из
слоновой кости! (фр.)

Настоятеля францисканского монастыря (англ.).

Хорошо (фр.).

Довольно, дружочек; я не хочу вас долее задерживать (фр.).

100

Самолюбие (фр.).

Но... (фр.)

Мама умерла десять лет назад (фр.).

Это так сложно, мсье, когда утерян навык (фр.).

Верно, мсье (фр).

Нет еще, мсье, — через месяц мне исполнится девятнадцать (фр.).

Все же у меня есть один план (фр.).

Мадемуазель Анри, я думаю, сейчас пойдет дождь; вам лучше, дружок, не мешкая отправиться домой (фр.).

Как вы его зовете? (фр.)

Но, мсье, вы меня понимаете (фр.).

М-ль Анри, м-ль Рюте просит вас оказать любезность, отвести домой крошку де Дулодо, она ждет в комнате привратницы Розалии; видите ли, горничная не пришла ее забрать (фр.).

Вот как! Значит, я вместо ее горничной? (фр.)

Любой ценой (фр.).

Где же м-ль Анри? (фр.)

Она уехала, мсье (фр.).

Уехала! И надолго? (фр.)

Она навсегда уехала, мсье; сюда она больше не вернется (фр.).

Вы абсолютно в этом уверены, Сильвия? (фр.)

Да, да, мсье; сама мадемуазель директриса нам это сказала два или три дня назад (фр.).

Очень славном, очень чистеньком, посреди лесов и нив; сколько прелести в сельской жизни! Не правда ли, мсье? (фр.)

Смотря по обстоятельствам, мадемуазель (фр.).

Какой чудный, свежий ветерок! (фр.)

Ну, господин учитель, садитесь; я хочу преподать вам один маленький урок на предмет вашего учительского звания (фр.).

123

Шедевр (фр.).

Какой-то маленький посыльный, мсье (фр.).

Ничего (фр).

Мой учитель! (фр.)

Бедной тетушки Джулианы (фр.).

Хлебцы (фр.).

Кот тетушки Джулианы (фр.).

Проклятого англичанина Кримсворта (*фр.*).

Глупой и корыстной женщиной (фр.).

Нрав Катона, она говорит, — дура! (фр.)

Как идет ему высокомерие!..Когда он так улыбается, он красив, как Аполлон (фр.).

И по-моему...когда он в очках, то напоминает сову (фр.).

«Спальня мадам» и «гостиная мадам» (фр.).

Пруды (фр.).

Вафель (фр.).

День свадьбы (фр.).

Урожденной (фр.).

Жилец (фр.).

141

Очков (фр.).

Да будет так (фр.).

Мсье, вы делаете мне больно; пожалуйста, отпустите хоть немного мою правую руку (фр.).

Учитель мой, очень хорошо (фр.).

Мсье желает узнать, согласна ли я... словом, хочу ли я стать его женой? (фр.)

Будет ли мсье столь же хорошим супругом, сколь он хороший учитель? (фр.)

Одновременно лукавой и застенчивой (фр.).

Это значит, что мсье всегда будет немного упрямым, взыскательным, своевольным... (фр.)

Конечно, и вы сами это прекрасно знаете (фр.).

Разумеется, вы сделались для меня лучшим другом (фр.).

Вашей преданной ученицей, что любит вас всем сердцем (фр.).

Мсье благоразумен, не так ли? (фр.)

Не в этом дело (фр.).

Беззубой, полуслепой, прыщавой и горбатой (фр.).

Французского сыра (фр.).

Вольнодумец (фр.).

Боже мой!.. Он мне делает комплименты! Вот уж не ожидала!
(фр.)

Работнице (фр.).

Девушкой (нем.).

Тщедушной (фр.).

Здесь: не слишком выдающимся (фр.).

Милой мордашкой (фр.).

Английскими причудами (фр.).

Капризами островитянина (фр.).

Аллея маргариток (с англ.).

Совершенно заговорщицкий вид (фр.).

Приличия (*фр.*).

Мсье чересчур трудолюбив (фр.).

169

Как нельзя лучше (фр.).

comments

Комментарии

Райдинг — административная единица графства Йоркшир.

Джаггернаут — в индийской мифологии божество, воплощающее неумолимый рок; изображается восседающим в колеснице.

Марон — беглый раб-негр в Вест-Индии и Гвиане.

Паулина Боргезе (1780–1825) — прекраснейшая из сестер Наполеона Бонапарта, во втором браке супруга принца Камилло Боргезе, герцогиня Гуастальская с 1806 г. Известна скульптура А. Кановы «Паулина Боргезе в образе Венеры».

Лукреция Борджиа (1480–1519) — дочь испанского кардинала Родриго Борджиа, позднее ставшего папой Александром VI, который трижды с политическими целями выдавал ее замуж.

Александр VI (1431–1503) (Родриго Борджиа) — Римский Папа с 1492 по 1503 г. Не гнушаясь ни какими средствами, стремился со своим сыном Чезаре Борджиа создать в Средней Италии большое государство, в котором Чезаре пользовался бы неограниченной властью; известно, что политических противников устранял с помощью яда и кинжала.

Галаадский бальзам (библ.) — перен.: утешение, исцеление; бальзам, якобы исцелявший от всех болезней, готовился из сока кустарника, росшего в окрестностях Галаада (Книга Пророка Иеремии, 8, 22).

Альфред Великий (ок. 849–899) — король англосаксонского королевства Уэссекс (с 871 г.), получивший ок. 886 г. после продолжительной борьбы с датчанами власть над юго-западом Англии и объединивший ряд англосаксонских королевств. Предание о том, как крестьянка отчитывает Альфреда за сгоревшие лепешки, за которыми ему велено было присматривать, записано было в XI в.

Гутрум (?—890) — предводитель датчан во время нашествия на англосаксонские королевства в 865—878 гг.

...нрав Катона... — Имеется в виду Марк Порций Катон Младший (Утический) (95–46 гг. до н. э.), римский политический деятель, противник триумвиров и Цезаря, стремившийся к созданию свободной республики и с победой Цезаря покончивший самоубийством. В исторической поэме «Фарсалия» Лукана представлен воплощением добродетели и бескорыстия.

«...*питаясь туком... земли...*» — зд.: «живя в роскоши, среди изобилия». «И возьмите отца вашего и семейства ваши, и придите ко мне; я дам вам лучшее в земле Египетской, и вы будете есть тук земли» (Бытие, 45, 18).

«...у котлов с мясом в земле Египетской...» — «И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта!..» (Исход, 16, 3).

Левит — служитель религиозного культа у евреев.

«Отпускай хлеб твой по водам...» — Книга Екклесиаста, 11, 1.

Ермон — высочайшая вершина на восточном побережье Средиземного моря; «Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Аморреи называют его Сениром...» (Второзаконие, 3,9). Гора эта явилась северо-восточным пределом завоеваний израильтян под предводительством Моисея и Иисуса Навина; упоминание ее нередко в древнееврейской поэзии.

«...и *пробуждение мое было подобно пробуждению Иова*» —
Здесь автором допущена неточность: приводимые далее фрагменты
библейского текста взяты из речи друга Иова, Елифаза (Книга Иова, 4,
12–16, 21).

Лорд Стэнли — Эдуард Джефри Смит Дерби (1799–1869), граф; до 30-х гг. виг, затем тори. В 1840–1844 гг. был премьер-министром колоний, позднее стал премьер-министром Великобритании.

Кобден, Ричард (1804–1865) — фабрикант, лидер фритредеров, идеолог промышленной буржуазии.

Веллингтон, Артур Уэлсли (1769–1852) — английский фельдмаршал, в войнах против наполеоновской Франции командовал союзными войсками на Пиренейском п-ове (1808–1813) и англо-голландской армией при Ватерлоо (1815).

Гельвеция — латинское название Швейцарии (Helvetia).

«...точно сэр Чарлз Грандисон к ручке Харриет Байрон» — главный герой и его невеста в романе С. Ричардсона «История сэра Чарлза Грандисона» (1754).

Хофер (Гофер), Андреас (1767–1810) — руководитель вооруженной борьбы крестьян Тироля против баварских властей и французских оккупантов в 1809 г. Казнен после подавления восстания французскими войсками.